

# ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ ШТРАФНИКОВ



Сергей  
МИХЕЕНКОВ

- [Сергей Егорович Михеенков](#)
- [Встречный бой штрафников](#)
- [Аннотация](#)
- 
- [Сергей Михеенков](#)
- [Встречный бой штрафников](#)
- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Глава двадцать вторая](#)
- [Глава двадцать третья](#)
- [Глава двадцать четвертая](#)
- [Глава двадцать пятая](#)
- [Глава двадцать шестая](#)
- [Глава двадцать седьмая](#)
- [Глава двадцать восьмая](#)
- [Глава двадцать девятая](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)



**Сергей Егорович Михеенков**

## Встречный бой штрафников



«Встречный бой штрафников »: Яуза: Эксмо; Москва; 2011  
ISBN 978-5-699-46720-4

## Аннотация

Новая книга от автора бестселлеров «Высота смертников», «В бой идут одни штрафники» и «Из штрафников в гвардейцы. Искупившие кровью». Продолжение боевого пути штрафной роты, отличившейся на Курской дуге и включенной в состав гвардейского батальона. Теперь они – рота прорыва, хотя от перемены названия суть не меняется, смертники остаются смертниками, и, как гласит горькая фронтовая мудрость, «штрафная рота бывшей не бывает». Их по-прежнему бросают на самые опасные участки фронта. Их вновь и вновь отправляют в самоубийственные разведки боем. От них требуют исполнения невыполнимых приказов любой ценой, не считаясь с потерями. Они идут на запад по трупам врагов и телам павших товарищей. В канун операции «Багратион» они должны прорвать мощную немецкую оборону и разгромить в кровавом встречном бою резервы противника. Вот только после этого боя, не раз переходящего в рукопашную, от всей роты в строю останется меньше взвода...

**Сергей Михеенков**

## Встречный бой штрафников

Я взял судьбу моего поколения на себя, не спрашивая, добрая она или злая, несет ли она славу или уничтожение.

*Готфрид Бенн*

Воин, что ушел воевать, полон своей любимой.

*Антуан де Сент-Экзюпери*



## Глава первая

Остаток металлической ленты короткими ритмичными рывками вошел в приемник трофейного МГ, и пулемет умолк, сделав последнюю короткую, как отчаянный крик, очередь. Воронцов отбросил от плеча короткий рог приклада и какое-то мгновение, будто преодолевая оцепенение, смотрел, как дымится под мокрым снегом пылающий перегретый ствол и как на дырчатом сизом кожухе с шипением появляются и тут же бесследно исчезают темные пятна, оставляемые снежинками. Потом толкнул в плечо лежавшего рядом младшего лейтенанта и сказал, как говорят о неизбежном:

– Давай, Малец, своим ребятам наши координаты. Пусть лупанут по траншее. Только постарайся не опоздать. И не торопись. Надо, чтобы подошли еще немного...

Воронцов пристально смотрел за бруствер, по привычке, как в последнее время делал это перед атакой, прикусив конец сыромятного ремешка каски. Ремешок имел вкус – кисловато-горький, как будто его измазали дегтем. Этот вкус ему что-то напоминал...

Немецкая цепь, порядком поредевшая и уже не такая ровная, как несколько минут назад, когда она только появилась из березняка, не залегла. Она миновала линию минометных взрывов и несокрушимо приближалась к траншее Восьмой роты. До нее оставалось около сорока метров. Еще пять-десять шагов – и атакующие забросают их траншеей гранатами. Уже видно было, как немцы нагибаются, на ходу выдергивают из-за широких голенищ длинные штоковые гранаты и отвинчивают колпачки взрывателей.

Через минуту-другую произойдет то, чего Воронцов боялся больше всего – рукопашная в их траншее. Рота конечно же отобьется. Но что от нее останется? И вряд ли немцы бросили на убой одну цепь. Где гарантия того, что, когда завяжется рукопашная, из березняка не поднимется вторая волна атакующих, которая и прикончит их, последних, прямо в траншее. Отводить роту на промежуточную позицию тоже поздно. Если они встанут, то отойти организованно, вместе с ранеными, вряд ли удастся. Их отход тут же превратится в бег. Но побегут те, кто может. А кто не может? Переколотых штыками раненых в траншее, оставленной на полчаса, Воронцов видел не раз. Да и бегущих расстреляют в спину за несколько минут.

Младший лейтенант Малец срывающимся голосом быстро передал координаты, потом, уже спокойнее, повторил их и отдал команду:

– Давай, Никушкин! Беглым из всех стволов! Мин не жалеи! Огонь!

Воронцов выждал, когда в тылу, в ложине, которую они прикрывали, родился тонкий характерный свист, приблизился с нарастанием и завершился первым пристрелочным: «Грак!» Снял с предохранителя «ТТ» с полным магазином, сунул его за пазуху и лег на дно траншеи. Теперь оставалась одна надежда, что минометная батарея младшего лейтенанта Мальца сделает свое дело.

«Грак! Грак!» – хрюскали вокруг мины, будто отыскивая окоп, на дне которого лежали, скорчившись, два лейтенанта. Минам все равно, свои или чужие окопы им перепаживать, отыскивая спрятавшихся там людей, кто бы они ни были.

Земля вокруг дрожала, и мерзлые стенки окопа начали трескаться и осыпаться.

Взрывы начали скатываться по склону левее, к сосняку, ко второму и первому взводам. Но осколки долетали и сюда. С упругим свистом и фырчанием они проносились над окопом.

В какой-то момент Воронцов услышал за бруствером топот шагов и кто-то в мокрой мерзлой шинели обвалился в их окоп. Видимо, Численко прислал связного, подумал Воронцов и увидел сапоги с ровными рядами гвоздиков на толстой подошве. Так и есть, прибежал Дикуленок. Воронцов узнал его трофейные сапоги. Туго, видать, приходится второму взводу. Воронцов толкнул ногой связного. Но тот подобрал ноги и затих в противоположном углу. Окоп все еще вздрагивал, подпрыгивал, как ненадежный, прохудившийся ящик.

– Что там, Дикуленок? – крикнул он связному, но и сам не услышал своего голоса. Мины снова начали крушить пространство вблизи их окопа. Теперь они медленно сдвигались вправо вдоль траншеи, в третий взвод. Что и говорить, минометчики у Мальца были опытные. Ближние мины ложились с недолетом, шагах в пяти от бруствера.

Связной продолжал лежать неподвижно. Не ранен ли он, подумал Воронцов и поднял голову. Дикуленок лежал, свернувшись калачиком, и сжимал винтовку. Откуда у Дикуленка трофейный «маузер», мелькнула беспокойная мысль. В это время за бруствером послышалась команда на немецком языке и свисток.

– Ротный! Немцы! – вскочил на колени Малец.

Воронцов свалил с плеча тяжелую глыбу мерзлой глины и увидел, как над ним, как копье, прошел штык и, пробив выброшенную вперед руку

командира минометной батареи, вошел в растрескавшуюся стенку траншеи. Младший лейтенант кричал что было сил, ухватившись здоровой рукой за ствол немецкой винтовки.

И только теперь Воронцов понял, что никакой это не связной из второго взвода. Он выхватил из-за пазухи «ТТ» и дважды выстрелил в распахнутую над его головой шинель. Но, видимо, промахнулся. Мерзлые полы шинели скребанули по лицу и, словно перепуганная огромная птица, вылетели из окопа и мгновенно исчезли за бруствером.

– Быстро отсюда! – крикнул Воронцов и первым выскочил из укрытия. Окоп был наполовину разрушен.

Следом за ним – Малец. И как только они покинули окоп, туда скатилась граната с длинной ручкой.

Немцы все же прорвались к окопам Восьмой роты старшего лейтенанта Воронцова. Но прорвавшихся оказалось слишком мало, чтобы продолжать атаку, и, переждав минометный обстрел, они тут же начали отходить. Рукопашная могла сложиться не в их пользу, и они ее не приняли.

Во втором взводе небольшая группа немцев все же добралась до окопов. Они спрыгнули в траншею, расправились с расчетом ручного пулемета и двинулись по ходу сообщения в сторону лощины, откуда вели огонь минометчики. Их догнал старший сержант Численко с отделением. Бойцы забросали их гранатами. Двоих, раненых, захватили живыми.

– Слышь, ротный. – Младший лейтенант Малец старался не отставать от Воронцова. – Хоть не рассказывай, в какую историю мы попали. А? С немцем в одном окопе лежали. Чуть штыком нас не переколол.

Малец придерживал пробитую левую ладонь под мышкой, завязав ее носовым платком. Лицо его было бледным, осунувшимся. Видимо, сказывалась потеря крови. Он все чаще и чаще спотыкался.

– Веретеницына! – окликнул Воронцов санинструктора, которая, выскочив им навстречу из-за изгиба траншеи, остановилась, прижавшись спиной к штабелю ящиков и поправляя съехавшую на глаза каску. – Быстро перевяжи младшего лейтенанта!

– Да своих еще не всех перевязала! – ответила та, но в глазах ее Воронцов уловил искорку радости. Чему она радуется?

– А какого черта тогда бегаешь по траншее, если раненым не оказана первая помощь!

– Я не бегаю, товарищ старший лейтенант, – как ни в чем не бывало ответила Веретеницына. – Я к ним и иду.

– Перевяжи, я сказал, младшего лейтенанта Мальца!

Веретеницына метнула вслед ротному злой взгляд, подбежала к

Мальцу и, прижав его к стенке окопа, начала обрабатывать рану.

– Где это вас? Рана-то колотая? – спросила она Мальца.

– Да здесь неподалеку, – отшутился он.

– Что, мутит? – Она внимательно смотрела ему в глаза. – Подождите, укол сделаю. А то, чего доброго, свалитесь, тащить придется. – В голосе санинструктора младший лейтенант почувствовал едва скрытую насмешку.

Если бы не артдивизион и не минометчики, остатки своей роты Воронцов сейчас бы собирал где-нибудь в километре отсюда, в тылу, в лесу. Переругивался бы со взводными и спрашивал: где этот, где тот, да почему бросили пулеметы и раненых...

Три немецких танка догорали внизу, среди заграждений, изорванных взрывами снарядов и мин. Два левее его НП. Один прямо напротив. Этот, третий, подошел особенно близко. Но ему и досталось больше всех. Воронцов видел, как его подбили. Бронебойные болванки, не причиняя «Т-IV» никакого существенного вреда, а лишь со скрежетом срывая надстройки, несколько раз отлетали от приземистой башни и лобовой брони. Потом сверкнула настильная трасса, ударила рядом с орудийной маской, обдав броню снопом ярких искр, словно электросварка огромной мощности, и танк сразу потерял управление. Он медленно развернулся и пополз вдоль траншеи. Тут-то его и добились сразу несколькими бронебойными. Люки танка так и не открылись. Он медленно разгорался, пока не взорвался боекомплект. Во время взрыва башню сорвало с погонов, приподняло и сдвинуло набок. Огонь полыхал прямо из чрева. Другие два танка были легкие, какой-то незнакомой конструкции, с короткоствольными орудиями небольшого калибра. Один из них, с перебитой гусеницей, еще долго стрелял по окопам второго взвода. Вот почему там оказалось больше всего потерь. Особенно среди пополнения. Автоматическая пушка подбитого танка вела огонь очень точно.

Воронцов выслал на фланги связных и приказал, чтобы взводные не медля прибыли на НП. Он выбрался на бруствер, окинул взглядом траншею и только теперь увидел еще один горящий танк. «Пантера» горела напротив окопов первого взвода, который держал оборону вдоль сосняка на стыке с соседней седьмой ротой. Значит, немцы атаковали всерьез, не пожалели и «пантеру», сунув ее под огонь ПТО.

Первым, как всегда, пришел старший сержант Численко. Мельком взглянул на догорающий танк, махнул дрожащей ладонью:

– Четверо убитых, трое раненых. Всех троих пришлось отправить в тыл. Царапины не считаю. Гранаты кончились. Всего шесть штук на весь взвод. Пулемет повредило. И жрать нечего.

– Что с пулеметом?  
– В затворную раму осколок попал. Чинят.  
– Сами справятся?  
– Справятся. С этим справятся.  
– А кашу сейчас подвезут. Ты там ребят успокой. С минуты на минуту Зыбин должен прибыть. За ним уже пошли.

– Вечно его разыскивать надо. Спрятался куда-нибудь в лес, загнал с перепугу коня, а теперь дороги назад не найдет. – Численко матерился, угрюмо смотрел по сторонам, словно искал, на ком бы сорвать злость. Потери во взводе всегда действовали на него угнетающе.

Ну конечно, спрятался, решил пересидеть контратаку немцев где-нибудь в глухом овраге, а теперь плутает. Но лучшего кашевара, чем Зыбин, не было во всем батальоне. Зыбин воевал с лета сорок второго, имел ранение. Под сорок лет. Дома четверо детей. Призван Шарьинским райвоенкоматом Костромской области. До войны работал в сельпо кем-то по снабжению. Был и пекарем. Под Чаусами, когда третий батальон двумя ротами неожиданно оказался в окружении, и, прорываясь в сторону Мстиславля, к основным силам полка, потерял почти весь гужевой состав и обозы, пропал и ротный кашевар. Солдаты третьего взвода нашли только кухню с пробитым котлом и остатками каши. Вот тогда-то, пересчитывая вышедших, Воронцов обратил внимание на пожилого бойца, который взялся залатать котел вышедшей из строя полевой кухни. Бойцы сидели на земле, курили, оглядывались на лес, откуда больше никто уже не появлялся. Все угнетенно переживали только что случившееся с ротой. А этот возился с кухней.

– Как фамилия? – спросил он солдата. Тот был из пополнения, прибывшего как раз перед началом наступления. Да и сам Воронцов только что принял роту и всех не успел узнать как следует.

– Рядовой первого отделения, второго взвода Восьмой стрелковой роты Зыбин! – бойко представился солдат, мягко округляя костромское «о».

– Стряпать умеешь?

– Дело нехитрое, – ответил тот тоном человека, который знает некий секрет, которого не знает никто из окружающих и которым он готов воспользоваться исключительно на общее благо. Этим он чем-то напоминал старшину Гиршмана, и Воронцов сразу понял, что они сработаются.

Он позвал старшину:

– Гиршман, вот тебе и кашевар.

Старшина Гиршман окинул взглядом рядового Зыбина и тут же

выразил недоверие:

– Кто, товарищ старший лейтенант? – Гиршман вскинул густые брови. – И этот человек, как вы говорите, будет готовить нам кушать? С такими руками? Да он не мыл их со времен исхода из Египта!

– Мы, костромские, по Египтам не шлялись, – с усмешкой отгрызнулся Зыбин.

Слушая перепалку уязвленного старшины и пожилого бойца из костромских, Воронцов понял, что цену себе тот знает и что в кашевары такой, пожалуй, годится как никто другой из всей роты.

– Ничего, Гиршман, руки он отмоет. Принимай под свою команду. Обеспечь всем необходимым. В первую очередь выдай кусок мыла и чистое полотенце. Спрошу с обоих.

– Ему еще мыло и чистое полотенце! – застонал Гиршман, вскидывая над головой руки.

И вот теперь они ждали обоих, и Зыбина с его запропастившейся кухней, и старшину Гиршмана. Старые петухи подружились.

Лейтенант Петров и младший лейтенант Одинцов пришли одновременно.

В первом взводе двое убитых, четверо раненых. В третьем трое убитых и столько же раненых.

– Одинцов, почему не стреляли ваши бронебойки? В чем дело? Не стрелял только ваш взвод.

Младший лейтенант Одинцов нахмурился и сказал:

– Так вон они, мои бронебойщики. В яме лежат. Все трое. Можете проверить. Самоходка... Они стреляли до последнего.

Так вот по ком была самоходка, только теперь понял Воронцов, и ему на мгновение стало неловко за свой поспешный выговор командиру третьего взвода. Сколько потерь... Сколько потерь...

– И Мансур?

– Нет, сержант Зиянбаев жив. Контужен. Лежит в землянке. В санчасть идти не согласился.

Когда танки и пехота уже вышли на рубеж атаки, из ельника, пряча в ветвистой балке свое приземистое горбатое тело, появилась самоходка. Двигалась она осторожно. Вперед не совалась. Маневрировала почти на одном месте, оставаясь за порядками атакующих. Именно от ее прицельного огня досталось артдивизиону. Она же смела и бронебойщиков третьего взвода. Выкрашенная в белый зимний камуфляж, она долгое время оставалась совершенно незаметной. Но вскоре артиллеристы ее все же засекли. К тому времени она разбила несколько орудий, потрепала третий

взвод и, как только ее начали нащупывать снаряды уцелевших ПТО, так же осторожно, не желая с ними вступать в поединок, уползла в глубину балки. А вот «пантеру» немцы почему-то не пожалели.

Численко докладывал коротко, самую суть. Всегда старался сгустить, особенно насчет снабжения. Его манеру докладывать Воронцов хорошо знал. Численко командовал вторым взводом с ноября, когда под Чаусами во время бомбежки погиб лейтенант Сливко. С тех пор на взвод так никого и не прислали. Прибыл только замполит, младший лейтенант Каретников, но и его вскоре забрали в штаб полка на должность комсорга.

Петров после Чаусов не расставался с трофейным «МР40». Невысокого роста, с бычьей шеей и покатыми плечами штангиста, он всегда, даже выслушивая приказание, переступал с ноги на ногу, шевелил плечами и кулаками, при этом все дальше под мышку загоняя немецкий автомат, словно пряча неуставное оружие от глаз начальства. Слушал внимательно, сомкнув тонкие губы, и почти никогда не уточнял и не переспрашивал. Он знал, что это сделают другие взводные, так что себе оставлял обязанность внимательно и терпеливо слушать все, что скажет начальство. В бою совершенно преображался. В цепи шел рядом со своими бойцами. Мог в любой момент лечь за пулемет, за бронебойку. Когда выходили на Мстиславль и рота неожиданно выскочила на дот с двумя пулеметами, он сам пополз с гранатами к доту. Вызвались трое. Дополз он один. Забросил связку в бойницу и потом, лежа возле входа, из «ТТ» добивал раненых пулеметчиков, которые, оглушенные и обожженные, выползали из своего укрытия. Там и подобрал автомат. За взорванный дот через неделю после выхода получил медаль «За отвагу», хотя комбат, вручая медаль, с недоумением признался, что представление подавал на орден Красной Звезды. В вышестоящих штабах, как всегда, пайку для окопников урезали. Хорошо хоть медаль дошла. Потому и обмывали ее всем батальоном.

Младший лейтенант Одинцов прибыл на фронт после ускоренных курсов «смертников». Одно дело армейские курсы младших лейтенантов, где офицерские звания получали солдаты, сержанты и старшины, уже порядком повоевавшие, иногда прибывшие из госпиталей, как правило, бывшие командиры отделений и расчетов. Для них возвращение на передовую было возвращением в привычную обстановку, в обстоятельства, в которых они прекрасно ориентировались, заранее зная, что к чему. А эти, вчерашние школьники двадцать третьего и двадцать четвертого года рождения, действительно были смертниками. Но Одинцов пережил первые бои и теперь, побывав и в окружении, и под бомбежкой, и водивший взвод

в атаку, считался в роте человеком своим, бывалым. До лейтенантских курсов он окончил два курса педагогического техникума в Калуге. Дома, в деревне на Оке под Калугой, у него осталась семья: жена и дочь.

– Когда ж ты успел, Андрюха? – сказал ему однажды Петров. – Я вот постарше тебя, а еще неженатый!

– Мы вместе учились, – коротко пояснил Одинцов и больше к этой теме никого не допускал. Даже о письмах от жены никому не говорил. Молча прочитывал и прятал в полевую сумку.

Одинцов сразу понял, кто в роте хозяин. Внимательно выслушивал Воронцова. Если было что-то неясно, переспрашивал, уточнял до деталей. И потом, после разговора с ротным, советовался с Численко. Его не уязвляло, что он, офицер, пытается ума у сержанта и всего лишь исполняющего обязанности командира второго взвода. Может, потому, что не до конца чувствовал себя военным, тем более офицером, и будущее свое со службой в армии не связывал. Мечтал после войны поступить в университет на географический факультет. Но форму носил так, как будто надел ее лет пять назад. По утрам взводный-3 раздевался до пояса и обтирался снегом. В любую погоду. До войны занимался спортом, имел разряд по лыжам, бегу и стрельбе из малокалиберной винтовки.

Взводные в Восьмой роте подобрались хорошие, и Воронцов этим обстоятельством дорожил. Но взводный не патрон, который можно выщелкнуть из обоймы и перед боем заменить другим. Воронцов знал, что в обойме у него всего лишь три патрона. Заменять их нечем.

По траншее, от ячейки к ячейке, от землянки к землянке, пронесся радостный ветер солдатских возгласов, среди которых попадался и легкий матерок, и подковыристые шутки, но общий тон ни с чем спутать было нельзя. Воронцов, не оборачиваясь в сторону отростка тылового хода сообщения, понял: Гиршман прибыл, с кухней и ящиком с продуктами.

– Вот что, ребята, – сказал Воронцов взводным, – кормите людей. Раздайте гранаты и патроны. А сейчас – связных ко мне. Я на левый фланг. Посмотрю, что там. Убитых сложите в одну воронку. Похороним вечером. И не забудьте списки по форме БП.

Все поняли: ротный решил навестить своего друга, командира Седьмой роты старшего лейтенанта Нелюбина. Воронцов еще раз окинул взглядом свою незаменимую обойму и сказал:

– Все. Можете быть свободными.



## Глава вторая

В лесу под Могилевом Балька зачислили в небольшую команду и тут же, на грузовике «Опель-Блиц» направили на передовую.

– Смотри! Смотри! Какое дерьмо! – закричал кто-то из сидевших впереди.

Грузовик ехал по лесному проселку. Из таких проселков и состояли дороги в России. Вскоре их грузовик въехал под арку, сбитую из досок и жердей и увитую еловыми лапками и дубовыми ветвями. На арке красовалась надпись, на белом фоне черными готическими буквами: «Мы рождены, чтобы умереть».

– Что и говорить, эти слова заметно прибавляют радости, – проворчал пожилой солдат с черным значком «За ранение» и значком «За рукопашный бой».

Свою винтовку папаша держал так, как держал бы лопату крестьянин, всю жизнь возделывавший свой земельный надел.

– Ты прибыл сюда не для того, чтобы радоваться, – хмуро заметил ему другой ветеран. – А в этих словах хотя бы нет брехни, от которой уже тошнит.

– Да, это верно. Тем и отличается Россия от Германии. Хотя бы по эту сторону фронта.

– Чепуха. Смерть здесь, в России, не самое худшее, что нас может ожидать впереди. Радуйтесь войне и всему ее дерьму, которое она распространяет вокруг себя, мир будет ужасен!

Эту поговорку Бальк слышал все чаще и чаще. И каждый раз, когда кто-нибудь произносил ее, Бальк невольно оглядывался по сторонам. Не из страха присутствия посторонних и нежелательных ушей, нет. Он словно желал убедиться, так ли это.

Через несколько часов дороги они прибыли в расположение полка. В штабе полка Бальк выяснил, где находится его рота. Дальше предстояло идти пешком. Пешком так пешком. Он закинул за плечо винтовку, поправил ранец и зашагал по заснеженному проселку. Чувствовалось, что снег только-только выпал. Он еще не накрыл землю основательно, и оттого дорога казалась только что проложенной по серой неухоженной земле, незавершенной. Здесь все выглядело таким: либо незавершенным, либо сделанным наспех.

В России зима наступает рано. Однажды выбираешься из теплого

блиндажа, чтобы отлить где-нибудь неподалеку, пока нет никого из унтеров, и вдруг видишь, что все пространство вокруг, до самых русских окопов, завалено снегом. И снег похрустывает под ногами, искрится в лучах осветительных ракет. Когда выпадает снег, рота занята тем, что красит в белый цвет шлемы и оружие. Иваны – отличные снайперы. Темно-зеленые каски над белым бруствером – первая мишень для снайпера.

Вскоре Бальку встретила пароконная санитарная повозка. Она была буквально переполнена ранеными, так что их руки и ноги свисали через боковые борта.

– Из какой роты, приятель? – окликнул Бальк ездового, нахлестывавшего низкорослых тощих монгольских лошадей.

Раненые лежали неподвижно. Некоторые из них стонали. Досталось им крепко.

– Из Десятой, – хмуро ответил санитар.

– Что у вас тут? Наступление?

– А ты что, из отпуска? – покосился на него санитар. – Наступление. Только наступаем не мы, а русские. Вчера кинулись с танками. Вот, видишь, третий рейс делаю. Госпиталь переполнен. Возможно, придется везти дальше. Значит, довезу не всех.

– Тогда поспеши, – сказал ему Бальк и обошел повозку, заглядывая в бледные землистые лица раненых. Впавшие щеки под трехдневной щетиной, тяжелый запах старых бинтов, стоны. – Я возвращаюсь из отпуска. Отпуск по ранению.

Раненые были укрыты серыми солдатскими одеялами. Лица незнакомые. Кое-кого из Десятой он знал. Но здесь его знакомых не оказалось.

– Откуда родом?

– Из Шварцвальда.

– Да? А разговариваешь как берлинец. Шварцвальд. Вы ведь там наполовину французы, а наполовину швейцарцы. Швабский акцент я за милю слышу. Моя жена оттуда. Ты – берлинец.

– Я из Баденвейлера.

– Из Баденвейлера? Курортное местечко. Говорят, вы там нигде не работаете. Только отдыхаете. А? – И санитар засмеялся. – Женат?

– Нет.

– А девочку поимел?

Бальк засмеялся и сказал:

– Давай, давай, поспеши.

– Так поимел или нет? Чертов ты счастливчик! А мне два раза уже

отменяли отпуск. И сейчас снова. Сейчас отменили все отпуска. Русские давят день и ночь. Тебя когда ранило?

– Летом. В начале июля. Под Жиздрой.

– Тогда мы еще наступали. А теперь, как говорят наши чертовы ослы, отводим наши силы с целью выбора наиболее выгодной позиции для развития нового широкомасштабного наступления. Ты что-нибудь понял из того, что я только что сказал?

– Почему этот не укрыт, как остальные? – И Бальк указал на одного из раненых, который лежал сзади на соломе в одном мундире с перевязанной головой и прибинтованными к туловищу руками. Поддерживать разговор, начатый санитаром, ему не хотелось. Человеку отменили в очередной раз отпуск. Конечно, он озлоблен, и ничего хорошего от него не услышишь.

– Это старина Визе. Никто во всей Десятой роте не умел так поджарить на костре курочку, как Курт Визе. Ему теперь не нужны ни одеяло, ни курятина. Попал под обстрел батальонных минометов. У иванов теперь этих минометов чертова прорва. Их мины взрываются, едва коснувшись сучка. От них не укрыться даже в лесу. – И санитар кивнул на окоченевший труп Курта Визе. – Ты его разве не знал?

– Нет, – ответил Бальк.

– В недобрый час ты прибыл назад, парень, – сказал вдруг санитар, поглядывая на его тяжелый ранец. – Точно тебе говорю, скверные наступают дни для нашего полка. А может, и всей армии. А может... – И он указал кнутовищем в небо.

– Помолчи. Выполняй то, что должен делать, – сказал Бальк и плотно сжал рот, как если бы на нем были нашивки фельдфебеля, а перед ним стоял какой-нибудь недотепа-новобранец.

– Ты что, швабец, нацист? Тогда почему не в СС? Доложишь, да? А мне плевать! Мне дважды уже отменяли отпуск. И это – за мою безупречную службу! Я здесь уже вторую зиму! Опять эти проклятые снега! Ты здесь, в России, хоть раз зимовал?

Бальк повернулся и зашагал в сторону леса. Он не хотел больше слушать санитаря, смотреть на осунувшиеся, полумертвые лица раненых и думать о том, что, быть может, скоро, на этой же телеге, повезут в тыл и его и что, видимо, это не худший вариант из всех возможных. Хотя какие еще варианты здесь возможны? Выжить или не выжить. Вот и все, чем располагает для них Восточный фронт. Бальк тут же вспомнил готическую надпись на арке.

Он шел и думал о том, что еще полгода назад такие разговоры здесь, на Русском фронте, были невозможны. С тех пор многое изменилось. Да,

очень многое. Даже санитарная повозка выглядит по-иному. Даже снег под колесами похрустывает и поскрипывает иначе. Теперь это – похоронный марш для обреченных. Лейл Андерсен своим милым голосом уже не внушает солдатам армии, которая до этого только наступала, уверенность в том, что они, исполнив свой долг, в конце концов увидят своих любимых и обнимут их. Нет, даже она была теперь всего лишь голосом из их прекрасного прошлого.

– Ты вернулся, сынок. Очень вовремя. – Такими словами встретил его командир роты. Старый рубака, произведенный в офицерский чин из унтер-офицеров еще в конце великой войны, он принадлежал к почти исчезнувшей в вермахте касте старой прусской породы. Он поощрял в своих солдатах выправку и дисциплину, но при этом умел затронуть в подчиненных и иные струны, неподвластные уставу.

Как хорошо, что Одиннадцатой фузилерной ротой по-прежнему командовал гауптман Фитц. Так что кое-что из прежнего здесь все же осталось. Старик явно пребывал в скверном расположении духа, но его, Балька, встретил хорошо. Во-первых – пополнение. В то время, когда батальон нес большие потери. Раненых Бальк встретил по дороге, а ровный квадрат березовых крестов, увенчанных касками, на которых лежал снег, свидетельствовал о большем.

Гауптман Фитц расспросил его о Германии. О том, как он попал под налет английских штурмовиков, Бальк вначале промолчал. Но тот вдруг спросил:

– Баденвейлер часто бомбят?

– Нет, герр гауптман. – Бальк сделал паузу и уточнил: – Время от времени.

– Ну да, – хмуро кивнул ротный, – так же, как и нас. Время от времени. И есть разрушения?

– Да, герр гауптман.

– И убитые?

– Да, герр гауптман. Гражданские совсем не умеют прятаться во время бомбежки. К тому же не все бомбоубежища выдерживают прямые попадания тяжелых бомб.

– Значит, есть раненые и искалеченные среди гражданских. Так ведь?

– Так точно, герр гауптман, есть и такие.

– Вот что ужасно. Искалеченного войной солдата я еще могу представить. А вот искалеченных детей и женщин... Впрочем, их можно увидеть в любой русской деревне. Мы, солдаты германской армии, наивно полагали, что авианалеты и падающие бомбы – это несчастье Польши,

России, но не Германии.

– Я полностью разделяю ваши чувства, герр гауптман, – сказал Бальк.

Гауптман Фитц внимательно посмотрел на своего фузилера. И спросил:

– Чьи самолеты чаще всего налетают? Американцы или англичане? А может, русские?

– Нет, русских там нет.

– Британцы?

– Да, британцы.

– Негодяи. Эти не пожалеют ни наших женщин, ни детей, ни стариков. – Ротный в задумчивости покачал головой и вдруг сказал: – Можно себе представить, что будет, когда до нас доберутся русские.

– Что вы сказали, герр гауптман? – притворился Бальк, изображая простодушного дурачка, каким, кажется, и любил его старик.

– Ничего, – тут же спохватился ротный. – Ты, должно быть, слышал о готовящемся широкомасштабном летнем наступлении? Весь Восточный фронт перейдет в атаку.

– Да, герр гауптман, в Германии только об этом и говорят. Нам только выстоять эту зиму, а там мы опрокинем русских и снова пойдем вперед.

– Вот именно, сынок! Так и будет! А о том, что я тебе тут наболтал, забудь. Никакого разговора между нами не было. Или ты считаешь иначе?

– Никак нет, герр гауптман! Никакого разговора между нами не было.

– Вот именно. – И ротный улыбнулся. Обветренные на морозе губы его скупой дернулись, но глаза по-прежнему выражали крайнюю озабоченность и еще что-то, что носили в себе все воевавшие на русском фронте. Некую тоску, которая, как вошь, поселялась однажды совершенно незаметно, потом осваивалась, плодилась, разрасталась и вскоре становилась уже частью человека.

Старик распорядился, чтобы Балька поставили на все виды довольствия, а также выдали зимнее обмундирование. Пожал ему руку и отпустил.

Лицо ротного все же изменилось. И теперь, расставшись с ним и перебирая в памяти его слова и жесты, Бальк понял, что именно изменилось в нем. Гауптман Фитц имел лицо пьющего человека. Обветренная пористая кожа, тяжелые мешки под глазами, нервное подергивание рта и часто меняющиеся гримасы, которые порой замирали на несколько минут, как у сумрачного каменного божка.

Зимнее обмундирование. Вот это было здорово!

Хорошенько поев, Бальк отправился напрямик на склад, где ему

выдали все, что положено: шерстяные кальсоны, толстые стеганные штаны на ватине, почти точно такие же, какие он иногда видел на убитых иванах, белые маскировочные штаны, которые можно было надевать поверх обычных. Еще он получил куртку на ватине, к которой пристегивалась белая маскировочная куртка-накидка, меховые трехпалые перчатки и вязаную из шерсти шапочку-подшлемник. Сапоги он тут же поменял на просторные русские валенки без подошвы. Если учесть толстый шерстяной свитер, который он привез из дому, то теперь морозы Балька мало беспокоили. Правда, он еще не знал, что такое минус двадцать пять на ветру в траншее. Наступившая зима была для него первой, которую ему предстояло пережить на Восточном фронте.

Он почти бежал в свой взвод. Взвод занимал оборону в соседней деревне. Часовой возле штабной избы пояснил, что это в километре отсюда. Бальк сразу сообразил, насколько плохи здесь дела. Еще летом такой участок фронта занимала бы рота. Полносоставная рота в сто двадцать человек с четырьмя пулеметами, с усилением в виде штурмового орудия или батареи ПТО, минометного взвода или нескольких легких полевых гаубиц калибра 75 мм. А теперь он шел по расчищенной дороге и не видел никаких траншей и даже одиночных ячеек. Открытые места он старался перебежать пригнувшись.

Да есть ли здесь вообще фронт, подумал он и беспокойно оглянулся. Снег лепил прямо в глаза, сек по каске. В какое-то мгновение ему показалось, что в лесу, среди елей и сосен, он не один. Бальк снял с плеча винтовку и втолкнул затвором в патронник патрон. Нет, все тихо. Только снег шуршит, и ветер со скрипом и стоном раскачивает старые деревья. И все же какие-то посторонние тени снова мелькнули в глубине просеки, и хрустнула ветка под ногой. Бальк зашагал быстрее. Лес, к счастью, вскоре кончился. Когда он вышел из ельника в поле, с облегчением вздохнул и несколько раз оглянулся. Хотя какое-то время все еще казалось: вот-вот из-за деревьев, оставшихся позади, прогремит выстрел. Нет, обошлось. Людей в лесу на просеке он все же видел. Теперь он это знал точно. Возможно, это была русская разведка.

За полем виднелась деревня. Оттуда сразу отделилась разляпистая серая точка и понеслась прямо навстречу Бальку. Послышалось урчание мотора. Мотоцикл! К нему мчался мотоцикл. Судя по посадке и пулемету в коляске – свои.

Это был патруль. Никого из старых знакомых среди солдат, сидевших на «BMW», Бальк не увидел. Он назвал пароль.

– Бальк? – спросил его простуженным голосом укутанный в разное

тряпье, совершенно не имевшее отношение к полевой одежде солдата вермахта, нахохленный пулеметчик.

– Так точно, шютце Бальк! – И Бальк вскинул к каске руку в меховой перчатке, полагая, что перед ним, по меньшей мере, фенрих<sup>[1]</sup>.

Пулеметчик осклабился и сказал:

– Вольно.

После чего мотоцикл резко взревел мотором, развернулся на пятачке и, обдавая Балька выхлопными газами и ошметками грязного снега, помчался обратно к деревне. Черт бы их побрал, стиснул зубы Бальк, кто это такие? Ведут себя как «цепные псы». Но горжетов полевой жандармерии на их одежде он не увидел. Артиллеристы из усиления? Тогда откуда им известно его имя?

На околице его встретили двое: фельдфебель Гейнце и пулеметчик из третьего отделения Пауль Брокельт.

Как часто в последние дни отпуска и в дороге сюда, в Россию, он думал о своих товарищах! Он по-настоящему о них тосковал, как тоскуют о родных и близких людях, когда судьба и обстоятельства неожиданно разлучают тебя с ними.

Они обнялись. Гейнце и Брокельт тут же повели Балька в белый кирпичный дом с опрятной изгородью и калиткой к высокому крыльцу с резными столбами и перилами. И Бальк понял, что все это, в том числе и мотоцикл в поле, были частью церемонии встречи старых боевых товарищей.

– Старик сообщил по рации, что ты прибыл. – И взводный, сияя улыбкой, хлопнул его по плечу. – Как тебя подштопали, дружище? Все в порядке?

Теперь фельдфебель Гейнце обращался к нему как к равному. Видимо, им здесь действительно несладко.

– Да, – ответил он, – готов выполнять свои обязанности в полном объеме и на любом участке.

– Вот и отлично.

Крестьянский дом, который занимал Гейнце, по обыкновению состоял из двух горниц – кухни и светлицы. Светлица, комната побольше, и была оборудована под КП. На столе стояла переносная радиостанция «Петрикс». Рядом лежала карта. На стене висел «МП40». Окна занавешены черной материей, которая сейчас наподобие портьер была отведена в стороны, и в комнату с улицы лился матовый свет отраженных снегов. Под потолком висела керосиновая лампа.

Гейнце и Брокельт принялись расспрашивать о Германии, о девушках,

о том, какие песни поют на родине.

– «Лили Марлен», – ответил Бальк. – А где Зоммер? – И он внимательно посмотрел на взводного.

Курт Зоммер всегда возился возле своего портативного «Петрикса». Обеспечивал бесперебойную связь с командным пунктом управления Одиннадцатой роты. Через него старик Фитц передавал во взвод свои распоряжения. Очень часто он упрашивал Курта послушать по его «Петриксу» музыку. «Твой любимый Чайковский в Германии запрещен!» – возмущался Курт и тут же настраивал волну на Москву, откуда заплывали в их вонючий блиндаж звуки Шестой симфонии. «Но ведь мы не в Германии, Курт, и здесь официальный запрет не действует», – отвечал он. И Курта это развлекало. Он начинал перечислять и другие запреты, введенные Третим рейхом, которыми здесь, в России, можно было пренебречь.

Фельдфебель Гейнце пропустил вопрос Балька мимо ушей. Это было его манерой – не слышать незначительное, на что не стоило тратить драгоценного времени. Но сейчас его молчание показалось Бальку слишком неестественным. Похоже, что вопрос Балька что-то задел в нем. Что-то такое, о чем долго молчать было невозможно.

– Как поживает Виттманн? Отрабатывает очередной наряд? Или строчит жене длиннющее письмо?

Взводный помалкивал, будто вопросы Балька его и не касались. Пауль Брокельт тоже отвернулся к окну и, пока они разговаривали, не поворачивал головы в их сторону.

– В чем дело? – Бальк вскочил с деревянной скамьи, стоявшей возле жарко натопленной печи, куда его гостеприимно усадили с дороги.

– Мы даже не всех смогли похоронить, Арним. – И взводный похлопал Балька по плечу.

– Вот так, приятель, – наконец оторвал от окна свой пристальный взгляд Брокельт, – от летнего состава нашего взвода остались только мы. Да еще помощник адвоката. Возможно, кто-то еще вернется из госпиталя. Францу Роту осколком оторвало ногу. Выше колена. Эрих Биндер тоже не вернется. Ему ампутировали кисти обеих рук. Горн, Шнайдер, Герменс и Лехнер пропали без вести еще в июле, когда русские прорвались на Хотынец, и мы лесами выбирались из окружения. Рейнальтера, Хольцера, Вильда и лейтенанта Шнейдербауера похоронили в начале октября. Русские снова атаковали крупными силами, пытались прорвать фронт. Нас бросили их остановить. Заварушка, скажу я тебе, была такая, что в роте больше не вспоминали бои под Хотынцом.

– Так что, Бальк, теперь наша очередь, – мрачно усмехнулся Гейнце.



– Мужики!<sup>[2]</sup> А не выпить ли нам по этому поводу? – И Брокельт вытащил из-под деревянной кровати гранатный ящик и распахнул его. Блеснули зеленым мутноватым стеклом бутылки.

В тот вечер ветераны взвода устроили в его честь настоящую пирушку, на которую пригласили даже нескольких девушек из местных. По очереди играли на аккордеоне и хором пели «Лили Марлен». Если бы об этом узнали в штабе батальона или даже гауптман Фитц, Гейнце, как командир опорного участка, вряд ли бы избежал сурового наказания. Самое маленькое, его бы на время отстранили от командования взводом. На время, потому что лучшего командира взвода, чем фельдфебель Гейнце, не было во всем батальоне.

А утром Гейнце назначил Балька первым номером в расчет МГ-42.

На восточной окраине деревни, видимо, еще до морозов, прямо в землю был врыт сруб примерно три на три метра с глубокой узкой амбразурой, обращенной в сторону леса. Бальк отвел ствол Schpandeu, установленного на станке, и выглянул в тщательно замаскированную узкую щель амбразуры. Отсюда прекрасно просматривался склон с восточной, юго-восточной стороны и край поля с северо-западной стороны деревни. Вдобавок ко всему в лесу, который начинался метрах в трехстах от крайних дворов, были сделаны просеки. Они расходились лучами и, таким образом, пулеметный расчет вполне мог контролировать ближайший участок леса.

– Надо посматривать за лесом, – сказал Бальк второму и третьему номерам.

Снегопад вскоре прекратился, и Бальк увидел извилистую ленту дороги. Именно по ней он пришел сюда. Значит, на дороге в лесу вполне могли быть русские.

Третьим номером в расчете был тот самый пулеметчик, восседавший в коляске, которому Бальк по ошибке, а больше всего на радостях, что наконец-то прибыл в свой взвод, отдал честь. В конце концов, он отдал честь не этому незнакомому мордовороту, с добродушной улыбкой, а своему славному взводу и всем тем, кого уже нет. Третьего номера звали Эрвин Пачиньски. Эрвин и в действительности оказался добродушным увальнем. Говорил на мягком силезском диалекте. Мать его была наполовину полька, наполовину бессарабка, а отец немец. Эрвин родился и вырос в деревне. До призыва в армию работал на ферме, принадлежавшей его родителям. Эрвин простодушно признался, что после победоносного польского похода, когда все юноши в его деревне буквально грезили военной формой, он хотел было вступить в гитлерюгенд.

– Ты рассказываешь об этом уже девятнадцатый раз, Эрвин! – заорал,

багровея, второй номер Вилли Буллерт. – Сколько мы здесь гнием? Четыре с половиной месяца! А это значит – восемнадцать недель! Восемнадцать, Эрвин! А не девятнадцать! Ты начинаешь рассказывать свою историю слишком часто! Не чаще одного раза в месяц! Иначе мы поссоримся.

Буллерт не на шутку злился. И надо было его остановить. Но Бальк решил помалкивать и слушать. Во взводе все же многое изменилось. Дисциплина здесь, в России, решала не все. Нужно было понять, кто есть кто в подразделении.

– Ты что, до сих пор жалеешь, что тебя не зачислили в эту кровавую свору конченных ублюдков?! – не унимался Буллерт, но на губах его вздрогнула усмешка. – Переживаешь, что не попал в СС?! Не сделал карьеру!

– Ни о чем я не жалею. Просто стало неприятно, что меня сочли в какой-то мере неполноценным немцем.

– Расово неполноценным, ты это хотел сказать?

– Да.

– А скажи, Эрвин, тебя твоя жена таковым не считает? В смысле полноценности.

– Да вроде бы нет. У нас с ней полная гармония.

– Ну вот. Чего тебе еще надо? Твоя жена умнее всех этих недоносков с золотыми партийными значками и их теориями. По их теории иваны и вовсе недочеловеки. Но что-то я до сих пор не видел ни одного из них с каменным топором. Посмотри, как они воюют! И оружие у них хоть куда! Отличные автоматы. Прицельная дальность стрельбы больше, чем у наших МР40. А какие танки!

– У нас теперь танки тоже хорошие.

– Да. Но их мало.

– Моя просьба была отклонена по формальной причине, – продолжал свою историю третий номер, – но я-то понял, что все дело в моей матери, в ее польском происхождении. Особенно переживал отец.

– Ты знаешь, что сказал о поляках наш взводный? – Помощник адвоката решил, видимо, подступить к несостоявшемуся члену гитлерюгенда с другого бока.

И Бальк, и Пачиньски вопросительно посмотрели на Буллерта.

– Гейнце сказал, что поляки – самый скверный народ, живущий в Европе, что они ничуть не лучше, чем мы, немцы. И взводный прав! Не обижайся, Эрвин. Я не хотел обидеть твою мать. Прости. Но Гейнце все же прав.

– По поводу поляков?

– Да.

– Может быть. Потому что по поводу полек он ничего плохого не говорил. Наоборот, он не раз упоминал об их некоторых прелестях.

– Заткнись, Вилли. Посмотри в поле. Иваны пожаловали.

– Без артподготовки?

– Подожди...

И тут взвизгнула первая пристрелочная мина и рванула землю, смешивая ее с серым снегом, перед самым срубом. Мины им были не страшны. Сруб, основательно врытый в землю, имел толстый, в три наката, потолок, на накатнике метровый слой земли. Землей были засыпаны и стены. Единственное, что могла натворить мина, так это попасть в вентиляционное отверстие. Но и оно имело колено – на случай, если иваны подберутся совсем близко, в «мертвое» пространство, и вздумают забросать ДОТ ручными гранатами. Прямое попадание мины батальонного миномета вентиляционная отдушина тоже вполне выдержит. Стоило опасаться только тяжелых гаубиц. Только они могли пробить их укрытие своими мощными снарядами. Но гаубиц у русских на этом участке не было. Во всяком случае, пока данные о них отсутствовали.

## Глава третья

Санинструктор гвардии старшина медицинской службы Веретеницына была единственным человеком в роте, с которым Воронцов никак не мог найти общего языка.

В роту она прибыла из санбата как раз перед наступлением, из которого батальон выбирался несколько суток, потеряв многое и многих. Когда дивизию перебросили севернее и на марше пополнили личным составом, Воронцов попытался отправить ее назад, в тыл. Как раз нашлась подходящая замена: из маршевой роты прислали отделение, с солдатами прибыл бывший сельский фельдшер из-под Ельни. В личном деле его оказался некий изъясн, который и определил его место на фронте. Прошлой зимой на оккупированной территории он поступил на службу в самообхрану. Через два месяца рота, сформированная из «зятьков» и местных жителей призывного возраста, полным составом с оружием и имуществом, включая конный обоз и два грузовика, ушла из казармы в лес к партизанам. А осенью местность освободили. Фильтрационный лагерь. Проверка. Все прошло благополучно. Но на передовую послали с винтовкой. Обычная история.

– Екименков, обязанности санинструктора роты знаете? – спросил его Воронцов.

Тот пожал плечами:

– Если надо...

– Надо.

– А старшина Веретеницына?

– Война – дело мужское. В том числе и раненых таскать. – Он говорил то, во что сам не верил.

– Оно так, – ответил Екименков и неопределенно покачал головой, то ли одобряя решение ротного в отношении старшины Веретеницыной, то ли выражая таким образом благодарность за доверие ему, направленному на фронт простым рядовым стрелком.

А вечером в землянке у него с санинструктором состоялся нелегкий разговор, после которого свой рапорт на имя капитана Солодовникова Воронцову пришлось порвать.

– За что вы меня возненавидели, товарищ старший лейтенант? – Веретеницына сидела напротив, отодвинув в сторону кружку с остывшим чаем. Глаза ее уже блестели. И Воронцов знал причину этих ее близких

слез.

Еще перед наступлением, когда батальон ждал своей участи во втором эшелоне, она сошлась с лейтенантом Сливко. Что и говорить, они были друг другу под стать. Сливко в бою всегда впереди. Солдат поднимал в атаку прикладом автомата. Не дай бог, если обнаружит кого в траншее после того, как взвод покидал ее. Тогда рукопашная происходила прямо на месте. Кулаки у Сливко были пудовые. Под такие гири лучше не попадать. ПППШ в его ручищах выглядел игрушкой. Кашу ему приносили сразу в двух котелках. Веретеницына тоже раненых таскала на себе. Однажды, когда второй взвод отошел, не выдержав танковой контратаки и впереди, в траншее, остались пулеметчики, она схватила санитарную сумку и поползла к ним. Где-то в траншее остался и Сливко. Все тогда подумали: за ним. Через час вернулась назад, притащила на плащ-палатке раненого в бедро навывлет первого номера и замок от «максима». А Сливко со связным, когда стемнело, пришел совсем с другой стороны.

Лейтенанта Сливко и еще шестерых из разных взводов они похоронили у дороги, наскоро прикопав в воронке, которую немного расширили саперными лопатками. Кто-то из стариков невесело заметил:

– В сорок первом так хоронили.

Хорошо, хоть похоронили.

На следующий день Веретеницына развела в котелке остатки спирта и напилась. Ее везли в санитарной подводе. Через три дня история со спиртом повторилась. На этот раз она устроила настоящую пьянку, в которой участвовали кашевар Зыбин, старшина Гиршман и еще двое солдат из обоза. Воронцов докладывать о случившемся не стал, но уже тогда решил: выберемся к своим, Веретеницына пусть убирается из роты к чертовой матери! Пусть возвращается в санбат или в какой-нибудь тыловой госпиталь. Он готов был сплавить ее куда угодно, только бы поскорее выпроводить из роты.

И вот сидела теперь перед ним и сморкалась в марлевый платочек, отороченный цветными нитками. Точно такими нитками, вспомнил Воронцов, его сестры вышивали на наволочках и подзорах цветы и ягоды. Что с ней делать? Уходить из роты в санбат она ни в какую не соглашалась. Что-то, видать, и там у нее произошло. Не просто же так она из тыла убежала на передовую. А может, к Сливко? Но лейтенанта Сливко теперь нет. Что и говорить, мало еще он знал своих подчиненных.

Упорство Веретеницыной объяснить он не мог.

– Конечно, теперь, когда Олега нет, кто за меня слово замолвит? – словно читая его мысли, сказала она.

Воронцов молчал. Веретеницына, хоть и старшина медицинской службы, хоть и человек в погонах и при штатной должности, хоть и его непосредственная подчиненная, а все же, с какой стороны ни подступись, в первую очередь женщина. На такого старшину не прикрикнешь, не накажешь так, как можно наказать любого из подчиненных, хоть бы даже Гиршмана, будь он четырежды незаменимым.

– Быстро же вы, товарищ старший лейтенант, своего боевого товарища забыли, – сморкалась в марлевый платочек Веретеницына.

Сразу несколько лиц вспыхнули в его сознании и задержались на короткое мгновение, вполне достаточное, чтобы он успел их узнать. Курсант Селиванов, Степан Смирнов, Кудряшов, Владимир Максимович Турчин, лейтенант Бельский... Так падают звезды августовскими ночами. Вот одна обозначится в черном пространстве, вот другая, третья... Взгляд не успевает ухватить ее отличительных черт и запомнить. Но в сердце отпечаталось все отчетливо, на всю глубину. Четвертая, пятая...

– Ну, хватит, Веретеницына. А то вы сейчас тут наговорите...

После того разговора отношения их на время вроде бы и наладились. Веретеницына отбила для себя кое-какие вольности, на которые Воронцов мог закрывать глаза без ущерба для общей дисциплины и порядка в роте. Обязанности свои старшина медицинской службы исполняла исправно и в полном объеме. А во время боя, когда надо было перевязывать и вывозить в тыл раненых, в помощь ей и санитарам Воронцов все же отряжал своего связного, фельдшера Екименкова. Фельдшер обзавелся набором трофейных медицинских инструментов, необходимых при оказании первой помощи. Воронцов не раз наблюдал его в бою – тот действовал не хуже Веретеницыной. После боя солдаты зазывали его то в одну землянку, то в другую, угощали табачком. Это говорило о многом.

И вот Воронцов стал замечать, что санинструктор зачастила к нему в землянку. Дело без дела, а забежит и забежит. То спросить о чем, что ей вполне мог бы довести Гиршман, а заодно снабдить и обеспечить всем, что имеется в ротном обозе для медицинской части. То, наоборот, принесет чего к чаю. Как будто ему офицерского пайка не хватает. Нет, наконец решил он, от этой бабы надо избавляться поскорее.

В штабной землянке иногда засиживались взводные. Служба есть служба, и она была главным, что их объединяло, что свело в единую семью здесь, в лесах на Витебском направлении. Но наступала минута, когда потрепанные карты убирались в полевые сумки и связист Добрушин снимал с раскаленного кирпича «буржуйки» посапывающий чайник и разливал по кружкам густой, как вино, морковный чай. Вот уж что умел

Добрушин мастерски, так это заваривать чай. Именно морковный, свойский. Так что слава о морковном чае Восьмой роты была известна во всем батальоне. Пили морковный чай и в окопах.

Все они, и взводные и он, командир роты, и младший лейтенант Малец, прибившийся к их компании, были примерно одного возраста. Им было о чем поговорить. Старшина Гиршман и связист Добрушин, забрав со стола свои кружки, вскоре перебирались поближе к «буржуйке». Что им молодежь? У них, людей семейных, были свои разговоры. У Гиршмана в Москве остались трое детей. У Добрушина – большая семья под Брянском.

После боя с немецкими танками Воронцов выговорил Гиршману. Предупредил, что теперь тыл для старшины – не глубже трех километров от ротных окопов. Хитроватый старшина выслушал выговор терпеливо и сказал:

– Очень даже вас понял, товарищ старший лейтенант.

Со старшиной роты Воронцову повезло. В Восьмую роту Гиршман прибыл старшим сержантом в должности помкомвзвода. Когда во время бомбежки тяжело ранило старшину Толоконникова, Воронцов назначил исполнять обязанности его. Хозяйственный, прижимистый, он тут же обзавелся знакомствами во многих тыловых службах и на складах и вскоре обеспечил Восьмую всем необходимым. Но, при всех своих достоинствах, Гиршман имел один существенный недостаток – побаивался передовой и использовал малейший повод, чтобы снова улизнуть в тыл, хотя бы в относительную его глубину, километра на три от окопов.

– Я, товарищ старший лейтенант, как тот старый коняка, который боится стрельбы. Болезнь такая. Организм не позволяет. Вы уж поймите меня правильно. – Так объяснил Воронцову как-то в землянке, когда они остались одни, свои особые обстоятельства Гиршман.

Если бы такое случилось с кем-нибудь из его солдат, сержантов или взводных, Воронцов тут же ходатайствовал бы о переводе такого гореваяки в нестроевую часть. Но старшине в бой не ходить. А снабженцем он был хорошим. И в батальоне, зная оборотистый характер Гиршмана, его умение любое дело выкрутить в свою пользу, а следовательно, в пользу Восьмой роты, Воронцову откровенно завидовали.

Иногда на морковный чай из объемистого пятилитрового чайника связиста Добрушина попадала и санинструктор Веретеницына. Тогда разговор за столом получался несколько иным, не то чтобы совсем уж сдержанным, но все же с поправкой на присутствие женского контингента, как заметил однажды младший лейтенант Малец.

Когда случалось продолжительное затишье, к Воронцову приходил

Иванок. Чаще всего – вместе с Кондратием Герасимовичем Нелюбиным. То письмо из дому принесет, то какую-нибудь весть из разведотдела полка. Однажды похвастался:

- Снайперскую винтовку обещали выдать.
- Не нужна она тебе, – настороженно заметил ему Воронцов.
- Это теперь тебе она без надобности, – усмехнулся Иванок. – Ты теперь на роте. Большое начальство. На нейтралку с винтовкой не поползешь. А мне в самый раз.

Вспомнился разговор с Радовским. Георгий Алексеевич человек наблюдательный. Сказал однажды на озере:

- Смотрю на Иванка. Хороший человек из него может получиться. После войны. А может и не получиться. Иванок, как и я, – порождение войны. Но он все же другой. Со мной все ясно. А вот парня надо спасать. Нельзя ему больше на войну. Он не должен убивать. Очень опасный возраст.

- Вы же знаете, его уже не удержать.
- И все же попробуй. Ты для него очень много значишь. Тебя он может послушать.

- Иванок для себя все уже определил.
- Если он окажется на передовой, у него три пути. Два основных, наиболее реальных. Третий – возможный. Первый: погибнет. Второй: вернется с войны законченным негодяем, для которого убить человека – плевое дело. Даже вне войны. Эта преграда рушится легко. Но есть и третий: он сделает карьеру, развивая в себе именно эти качества – хладнокровие, расчет, отсутствие брезгливости там, где другого скрутит всеми судорогами. Беспощадная жестокость к себе и другим. Я же вижу, как он реагирует на след Кличени. Как только почувствовал, что Кличеня здесь, и он уже сам не свой. Такие, как Иванок, убивают неосознанно, испытывая при этом такие сложные чувства, что, если бы мы, люди пожившие, заглянули в это время в их души, то ужаснулись.

- Чему? Тому, что это допустили?
- В том числе. Мы воспринимаем войну, смерть на войне, от пули или штыка, как жестокую необходимость на пути к миру и гармонии. При этом совершенно определенно осознаем, что когда-нибудь все это закончится. И в сущности-то и убиваем, чтобы поскорее все закончилось. Как ни чудовищно это может прозвучать. Таким же, как Иванок, важен процесс. Они живут сегодняшним. Они не обременены мыслью о том, что сегодняшняя кровь – это плата за мир, который будет потом, после окончания этой бойни. Они более раскованны, чем мы. Вот откуда взялась



мечта Наполеона: дайте мне армию пятнадцатилетних, и я покорю весь мир. Он это знал, их беспощадность и раскованность.

– Иванок мстит за сестру. У него есть мечта. Вызволить сестру. Вернуть ее домой, в Прудки. Он воюет за сестру.

– Возможно.

И вот буквально перед самой атакой, когда комбат собрал ротных на НП Седьмой роты, чтобы увязать взаимодействие во время наступления на Дебрики, Кондратий Герасимович сказал, что в операции участвует полковая разведка и что в траншее видел Иванка со снайперской винтовкой. Значит, все-таки дорвался волк до ягнят...

Перед началом атаки соседей Воронцов перебрался в левофланговый взвод. Лейтенант Петров в сосняке оборудовал наблюдательный пункт, откуда неплохо просматривались Дебрики. И атаку, и выход роты из атаки Воронцов наблюдал в бинокль. Артобстрел, последовавший сразу после того, как Седьмая вернулась на исходные, свидетельствовал о том, что операция вступала в новую фазу. Более того, в характере обороны их батальона начало что-то происходить.

Противник, основательно потревоженный перед фронтом Седьмой роты, открыл беспокоящий огонь из пулеметов и на участке Восьмой. Но здесь, на сосне, пуль с той стороны можно было не опасаться. Пулеметчики первого взвода затащили на дерево щит от немецкой 37-мм пушки с закрылками, основательно укрепили его, замаскировали сосновыми лапками. Снегопад, продолжавшийся вот уже третьи сутки, положил на маскировку последние, завершающие штрихи. Огня со своей позиции пулеметчики пока не вели, используя ее как пункт наблюдения, все работы, включая и маскировку, проводили ночами, и немцы ее, похоже, еще не обнаружили. Воронцову, прежде чем подняться на сосну, тоже пришлось надеть на себя белый маскировочный халат с капюшоном.

– Кажись, наши боги войны куда-то попали, – сказал лейтенант Петров; он сидел на корточках рядом, тоже наблюдая за происходящим на левом фланге в бинокль. Если глянуть со стороны, то бинокля в его красных от мороза ладонях увидеть было невозможно, вниз свисал только потертый узкий ремешок. Под мышкой висел трофейный МР40. – Вон как разгорается.

– Хаты не трогают. Аккуратно работают. Без корректировщика так не смогли бы.

– Точно-точно, Александр Григорьевич. Слишком кучно выкладывают. Прямо как на шахматной доске. Забегали... Ну, видать, крепко им досталось. Как бы не осерчали всерьез.

– А это да, – подал голос пулеметчик. – Раздразним. Пустит танки. Как в прошлый раз. Насилу вон отбились.

Пулеметчика из первого взвода Воронцов запомнил по окружению. Темников. Лет тридцати пяти, с густыми усами, которые он тщательно подбрасывал. В такой же опрятности содержал и свой пулемет.

– Бойтесь танков, Темников? – спросил он, разглядывая в бинокль поле между Дебриками и лесом, где проходила первая линия окопов Седьмой роты и где, должно быть, метался сейчас по ходам сообщения Кондратий Герасимович, подсчитывая свои потери.

– Кто их не боится, танков. – И тут же спохватился: – Мое дело – пехота. А по танкам пускай артиллерия получше стреляет. Не допускает до окопов.

– Ты, Егорыч, за своим делом следи. – Лейтенант Петров ворохнул плечом, недовольно покосился на пулеметчика. – А то сами деру дали. Артиллеристы им виноваты...

– Ничего мы, товарищ лейтенант, не драпали. Поменяли позицию, вот и все.

– Без приказа.

– Решили не обнаруживать, так сказать, выгодную позицию. Отошли на запасную. Три диска расстрелял. К нашим окопам они не подошли. Ни одной гранаты не долетело.

– Не долетело...

– Какая-то странная атака. Пошли и вернулись. – Воронцов повел биноклем вдоль обороны Седьмой роты. Нет, танков с нашей стороны не видать. И комбат ничего не сказал о возможной танковой атаке. Значит, действительно, цель атаки достигнута.

– Я ж говорю, корректировщика оставили, – подтвердил его догадку Петров. – Вон как гаубицы точно бьют.

– Не по своим, и то ладно, – проворчал пулеметчик.

– А ты бы, Егорыч, помолчал.

– Да мне тут одному скучно, товарищ лейтенант. Днями напролет... Посиди-ка. Да на ветру, на морозе.

– Вас тут трое. Меняйтесь.

– Меняемся.

– Что ж, Седьмая сходила, – сказал лейтенант Петров. И Воронцов понял его.

Они сейчас думали об одном и том же. В последнее время так сложилось, что атаки, проводимые на участке фронта, занимаемом их гвардейским полком, заканчивались очередными потерями. Вперед

продвинуться не удавалось. Оперативный отдел нового командира полка разрабатывал очередную операцию то на одном участке, то на другом, то захватить высоту, то овладеть населенным пунктом, то оседлать рокадную дорогу. Майор Лавренев бросал в атаку то один батальон, то другой. Иногда удавалось ворваться в какую-нибудь деревню, но немцы тут же организовывали мощную контратаку и буквально через несколько часов восстанавливали свои позиции, отбивали окопы и дома. Никому не хотелось зимовать в поле. Так что, можно сказать, воевали за зимовья, за насиженные места. В штабах, конечно, цели и задачи ставили иные. Но приказы выполняли солдаты. А солдатам надо было где-то зимовать. И на той, и на другой стороне фронта в избах уцелевших деревень и в блиндажах, оборудованных железными самодельными печками, надеялись, что фронт до весны не сдвинется, что гигантская огненная дуга между Курском и Орлом, а потом битва на берегах Днепра истощили все силы противоборствующих сторон и обе стороны теперь будут зализывать раны, накапливать людской и материальный ресурс, по крайней мере, до весны, и если здесь, в центре для одних Восточного, а для других Западного фронта что-то и начнется, то не раньше мая следующего года, когда просохнут дороги.

В батальонах и ротах понимали: майору Лавреневу, недавно назначенному на должность командира полка, хочется отличиться, засветиться в сводках по дивизии и армии, а возможно, и всему Западному фронту. Фронт продолжал стоять неподвижно. Положительных результатов не наблюдалось. Хотя генерал Соколовский, вступивший в командование Западным фронтом, толкал вперед все свои пять армий. Особенно сильные бои развернулись на Оршанском и Витебском направлениях. Среди офицеров ходили невеселые разговоры о том, что не повезло им и с командующим фронтом, и с командармом. Комфронта из бывших штабных работников, и первые же операции показали, что полководец он, мягко говоря, никудышный. Армии наступали каждая на своем направлении. Концентрированного удара согласованными силами у фронта не получалось. Словно это и не входило в планы штаба фронта. Командарм-33 был из тех генералов, которые готовы были положить под немецкие танки любое количество своих солдат, если они были в наличии, лишь бы остановить движение гусениц, застопорить их и, таким образом, выполнить приказ вышестоящего начальства. Война уже вступила в другую фазу своего движения и развития. После Орловско-Курской дуги и битвы за Днепр многое изменилось. В войска пришли другие солдаты и офицеры, сменив погибших и искалеченных. Управлять дивизиями, корпусами и

армиями нового состава нужно было уже по-иному. Но не всем генералам хватало ума и чести понять это, не всем хватало и способностей воевать не числом, а умением.

33-й армией командовал генерал Гордов 1.

Но генералы сидели высоко. А штаб полка был рядом, всего в нескольких километрах от передовых линий траншей. Это чувствовали и батальоны, и роты.

– Неплохо было бы оборудовать наблюдательный пункт там, под «пантерой». – И Воронцов указал на сгоревший танк, уже прикрытый шапкой снега. Присмотрелся: от окопов первого взвода к нему вел одинокий след. Не то человеческий, не то звериный.

– Наши ребята туда уже ходили. – Петров снова ворохнул плечом и переступил с ноги на ногу. – Все выгорело. Видимость в ту сторону плохая. Но наш фланг и все правое крыло просматривается хорошо. До самого леса.

– Выставь охранение. На ночь. С пулеметом.

– Я уже думал.

– Только надежных подбери. А то уволокут ночью...

– Да вон, Егорыча с его бригадой и пошлю, – подмигнул Воронцову взводный и переступил с ноги на ногу. Снег буквально взвизгивал под его огромными валенками. – Он и сам не уснет, и другим спать не даст.

Темников в ответ только усмехнулся, видать, угадав в словах лейтенанта шутку. Но погода все же высказался:

– Многовато для одного-то расчета. Днем сосонку караулить, а ночью «пантеру». – И вдруг крикнул и хлопнул рукавицами по полам маскхалата, под которым угадывался полушубок. – А и ловко ж артиллеристы эту чертову «пантеру» расшлепали! Говорили, что у ней броня – во! Непробиваемая! Смазали и ей колеса. Так что и этот коршун с вороньими перьями.

Настроение пулеметчика Темникова лейтенантам понравилось. Они даже переглянулись.

– Но вот танкистов, Егорыч, вы все же упустили. – Петров продул снег в намушнике своего трофея и закинул автомат за спину.

– Весь взвод стрелял. Никто не попал. Быстро бежали! Вы ж видели, как они понеслись назад! Небось до войны так бегать не умели. – Пулеметчик своему лейтенанту ни в какую не уступал, стоял на своем.

Такие, как Темников, и делают из взвода войско, подумал Воронцов, слушая реплики пулеметчика. Хороший солдат. Скромный, нетребовательный, без показного геройства. Но и в обиду себя не даст.

Сколько раз ему уже приходилось менять состав вначале взвода, а теперь роты, привыкать к новым людям, к их характерам и особенностям поведения в бою, потом свыкаться с их потерей, писать родным письма о том, как все произошло. Будут ли вознаграждены когда-нибудь *их* усилия и страдания?

– Стрелки... Целый экипаж упустили. Гитлер им другой танк даст, и завтра же они из оврага на новой «пантере» выкатят.

Воронцов тем временем продолжал наблюдать за артобстрелом Дебриков, за нейтральной полосой. В какой-то момент ему показалось, что там, за подбитой бронемашинной или сгоревшим грузовиком шевельнулась фигура человека в белом камуфляже. И подумал: опытный снайпер никогда не выбрал бы эту позицию – слишком приметна, слишком явный ориентир. Иванок это должен знать. Но, по всей вероятности, там командует не он.

## Глава четвертая

Радовский отыскал Юнкерна в одной из деревень километрах в десяти от Шайковского аэродрома. Деревня та была скорее хутором или выселками, остатками плодов столыпинской реформы, до которых чудом не добралась колхозная власть советов.

Три двора в окружении зарослей вишен и сирени. Обширные надворные постройки в одной связи с глухим забором. Усадьбы, оставшиеся от прежнего крестьянского уклада, когда на хуторах не теснились, отстояли одна от другой на том расстоянии, которое соизмерялось достоинством и тем извечным стремлением к воле, которую может дать человеку только земля и русский простор. В деревнях это чувство соразмерности и достоинства сельской жизни были утрачены, подавлены теснотой, скудостью и бедностью. Три дома хутора, словно три равнозначных купола венчали однообразие пространства луга, неглубокого оврага, заросшего раkitами, с ручьем на дне, края поля, уходящего под уклон и поднимающегося к горизонту уже вдалеке, возле леса на самом окоеме сизого горизонта.

Зная методы работы диверсантов из «Черного тумана» и других спецподразделений абвера, а также принципы выбора маршрутов движения, в том числе и выхода назад после проведения очередной операции, Радовский без особого труда мог найти след Юнкерна.

Полдня Радовский провел на опушке леса, наблюдая за выселками. И сразу обнаружил чужого. Чужой сидел на короткой лавочке возле колодца и что-то тесал топориком. Потом он рассмотрел, что в руках его был вовсе не топор, а саперная лопатка.

Не таится, подумал Радовский. Странно. Как будто кого-то ждет.

На Юнкерне была гражданская одежда, поношенная красноармейская шапка без звездочки. Похоже, приготовился к переходу линии фронта. Возможно, здесь, на выселках, у него есть свой человек. Оставленный связник, агент или даже резидент. Место вполне подходящее, тихое. Юнкерн был бодр, двигался уверенно, никаких признаков ранения не заметно. Значит, там, в лесу, он ловко имитировал ранение. Вполне в его духе. Идти на выселки нельзя. Во-первых, возможно, Юнкерн наблюдал бойню в лагере и, следовательно, мог узнать Радовского. Во-вторых, неизвестно, кому подставишь спину. В-третьих, Юнкерн мгновенно сообразит, кто идет по его следу, и тут же станет очевидным весь

предыдущий сюжет. Ничего не оставалось, как ждать его в лесу. Но когда он выйдет? А вдруг, решит просидеть на высылках еще сутки-другие? Ждать. В любом случае – ждать.

Юнкерн покинул высылки ровно через три часа, когда начало темнеть. Один. Никто его не провожал. Никто, кроме Радовского, не ждал его в лесу. Вышел дорогой на юго-восток. В лесу огляделся, прислушался, сошел с проселка в березняк и повернул на запад. За спиной торчала простая дорожная котомка. Видимо, с запасом еды. И, похоже, никакого оружия. Значит, решил переходить линию фронта. Что ж, пусть уходит. Лишь бы ушел. Лишь бы подальше от озера и хутора. Подальше от Прудков и его семьи. Трогать его не надо. Иначе пришлют новую группу для поисков и проверки. А это – новая опасность для хуторян.

Радовский тоже решил возвращаться. Пора. Возможно, его уже считают погибшим. Или попавшим в руки Смерша. Будут проверять. Конечно, будут. Что ж, пусть проверяют. Версия у него уже готова. Тем более что подобную будет излагать и Юнкерн, когда явится в свой штаб. Нужно, чтобы их версии сошлись в главном. Большевики усилили охрану своих объектов. Патрули, Смерш. Теперь многие абвергруппы, засылаемые в советский тыл, будут сталкиваться с большими трудностями. Когда Радовский окончательно убедился в том, что Юнкерн идет к фронту, когда определился маршрут выхода, он решил, что лучше будет, если Юнкерн выйдет следом за ним, а не наоборот. В донесении потом все придется указать, в том числе квадрат перехода линии фронта и точное время. Немецкий патруль, на который они неминуемо выйдут, тоже зафиксирует время.

Он шел и думал о своей дальнейшей судьбе. И вдруг понял, что это не имеет смысла. Что лучше не искушать себя, не терзать остатков того, что необходимо было сохранить. Там, в глубине души, куда не заглянет никакая проверка.

Вспомнился разговор с Воронцовым. Воронцов... Мальчишка. Его романтические помыслы столкнулись с жестокой реальностью войны. Война разорвала не только территорию, где четко определены позиции и линии сторон: тут – свои, там – противник. Война расколола и своих. Радовский это хорошо наблюдал на примере своей абвершколы. Постоянное напряжение двух полюсов, которые в любой момент готовы схватиться и перервать друг другу глотки. Конечно же понял непростую суть войны и Воронцов. Во всяком случае, начал понимать. И не знает теперь, что делать с тем, что видит и чувствует. Поделиться, похоже, не с кем. Опасно. На внутреннюю смуту накладывается усталость. Чудовищная

усталость, которую способен выдержать не каждый.

И все же Курсант счастливый человек. Путь его ясен. И война его ясна. Он носит погоны армии, которая защищает свою землю, свой народ. Сталин объявил войну Отечественной. Великой Отечественной. Для русского сердца сразу появилась благодатная пища. Пахнуло славной историей. 1812 годом. Изгнанием Наполеона из России. Совпадают даже детали. Московский пожар уже позади. Позади Бородино, Тарутино и Малоярославец, в том числе и буквально, географически. Что впереди? Впереди, как известно любому школьнику, Березина. Что ж, Сталин попал в точку. Он чувствует свой народ. И прекрасно видит своего врага. Он уже предугадывает дальнейшие шаги и жесты Гитлера. Немцы предсказуемы. А Сталин хитер, если не сказать большего – мудр. Кто бы мог подумать, что из этого грузинского боевика выйдет такой мудрый и хитрый политик.

Об этом они тоже разговаривали с Курсантом. Вначале тот упорно молчал. Потом разговорился. Рухнула наконец та преграда, которая разделяла их. Потому что, по большому счету, объединяло их гораздо большее. Радовский знал, что подобные разговоры идут и в его боевой группе, и среди курсантов школы. Подонков и приспособленцев и в его роте хватало, но их было все же значительно меньше, чем тех, кто хотел воевать за новую Россию. За Россию без большевиков и без немцев.

И все же Курсант четко определил черту, за которую старался не заступать ни сам, ни пускать за нее кого-либо другого. Радовский сразу ее почувствовал, ту явно ощутимую грань между людьми, которую лучше не заступать. В противном случае человек мгновенно закроется для тебя и отдалится. И будет уже иначе воспринимать и твои слова, и поступки. С годами он научился принимать в людях многое.

Вскоре Курсант снова заговорил о возможности для Радовского остаться по эту сторону фронта, о том, что штрафная рота – не самый худший путь назад, домой. Он так и сказал: «Домой». Произнес это слово после паузы, во время которой, очевидно, решал, уместным ли будет оно в их разговоре. Бывают слова среди множества слов, которые обязывают ко многому и которые имеют гораздо больший смысл, чем это можно предположить даже во время разговора посвященных.

И тогда Радовский довольно резко ответил:

– Нет, Александр Григорьевич, за еврейский рай я воевать не буду.

– Я вас, Георгий Алексеевич, не понимаю. В Красной Армии воюют все национальности и все народы нашей страны. В том числе и евреи. И гибнут так же, как и другие солдаты. И в братских могилах лежат рядом. – В какое-то мгновение Воронцов понял, что говорит неубедительно, как



незнакомый замполит в чужом подразделении.

– Да-да... – Радовский покачал головой. Он даже не взглянул на Курсанта. Между ними снова обозначилась черта. Поднялась, словно из листьев искусной маскировки, та незримая железобетонная грань. И он отвернулся от нее.

Он все для себя решил. Вот только Аннушка и Алеша оставались где-то за пределами того, что он для себя определил как нечто, похожее на будущее. Возможно, самое ближайшее. Потому что дальше заглядывать бессмысленно. И глупо, и опасно. Он уже смирился с тем, что будущее у него и у его семьи может оказаться разным. У жены и сына – свое. У него, если таковое вообще возможно, – свое. Возвращение на родину оказалось невозможным. *И никто не может помочь безысходной моей тоске...*

В остальном все складывалось так, как он и задумывал, исходя из всех потерь и невозможностей. Выпало только одно – он не смог побывать на могилах отца и матери. Хотел попрощаться с ними. С дубами над мощеной дорогой. С руинами дома и усадьбы. С заросшим прудом. Со всем тем, что составляло лучшую часть прошлого. И когда он понял, что в усадьбе он побывать не сможет, закрыл глаза и мысленно вышел на дорогу, на тот до боли знакомый проселок, который с годами совершенно не изменился, – Радовский это знал! – прошел до дома, до крыльца, но в дом не вошел, а свернул в глубину парка. Вскоре под ногами почувствовал твердость булыжников. Над головой смыкались ветви вековых дубов. Ветер гулял в них и шуршал остатками терракотовой листвы. Какие-то поздние птички, возможно, из тех, самых верных и невзыскательных, что остаются зимовать здесь, в России, перелетали с ветки на ветку, осыпали вниз, к его ногам, кусочки отмершей коры и лишайника, в которых выискивали для себя пропитание. Впереди показалась церковь. Но и туда он не пошел. Наверняка там хранится какой-нибудь колхозный инвентарь. Или жалкие остатки его после очередного грабежа. Что еще могла устроить в божьем храме безбожная власть? Странно, Радовский никогда не испытывал ненависти к людям, которые жили и теперь живут вокруг усадьбы. Хотя наверняка многие из них приложили руку к тому, чтобы и дом, и службы, и парк оказались в таком жалком состоянии. Когда-то двадцать лет назад местные жители растаскивали по своим дворам колхозное добро. С беспощадным ожесточением. Но теперь не надо думать и об этом. Нет, не надо, заклинал он себя. Только – о прошлом. Только – о самом дорогом. Он свернул на стезьку. Летом она всегда сырая. Только в самую жару высыхает и становится ослепительно-белой, почти меловой. Теперь же она скована морозцем и покрыта снегом. Да-да, ведь уже выпал снег. Снег хрустит под

ногами. Удивительные звуки, как будто живые, зримые. Где он мог слышать их? Пожалуй, нигде больше. И никогда больше. Только там, на родине. Здесь, на родине, поправил он себя. И только тогда. А вот и родные холмики. Тщательно отшлифованные массивные камни-надгробия с надписями. Здесь лежат все. Весь род Радовских. Камни покрылись дымчато-зеленым лишаем и мохом. Это уже не просто годы, а десятилетия, времена... Он попрощался с родителями, с дедами и прадедами и замер. Замер в ожидании: что скажут ему они, когда решение уже принято? Нет ни звука, ни шепота. Тишина. Запах пожухлой листвы, тронутый медленным тленом. Так пахнут все кладбища мира. Так пахнут века. *Откуда я пришел, не знаю... Не знаю я, куда уйду...* [3]

Вот и все. Ему больше ничего не надо от судьбы. И временного возвращения домой, если оно невозможно в полной мере. Все, чего он желал, произошло. Он резко открыл глаза, и мир ослепительно ворвался в него всеми своими красками и звуками. Но уже через мгновение реальность погасила и то и другое. Вокруг него стоял, сдержанно постанывая старыми дуплистыми вязами, лес. *Земля забудет обиды всех воинов, всех купцов...*

И Радовский пошел дальше, держа на запад, на запад, на запад. *Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка...*

Какая чушь, подумал он после того, как несколько часов кряду твердил эти строки любимого поэта, как твердят молитву. Какая химера! ... *мореплавателя и стрелка...* Но он уже знал, что это только минутная слабость. Нечто похожее на приступ голода, который тоже можно подавить.

Он снова вспомнил Курсанта. И позавидовал ему. Как хотел бы он стать сейчас старшим лейтенантом! С каким священным трепетом он надел бы на свои плечи русского покроя шинель с погонами штабс-капитана... пусть даже так – старшего лейтенанта... Боже, как жестока судьба, подумал он. Как несправедлива к нему родина! Родина, которую он так любит! За которую он дрался и не раз был ранен!

Радовский вдруг понял, что его пребывание здесь, на родине, потеряло всякий смысл. Ту сокровенную тайну, с которой он шел сюда с чужой оккупационной армией. Прав, трижды прав оказался барон Сиверс, когда однажды в Смоленске, в ресторане, в подпитии, а значит, откровенно, сказал, что немцы не способны нести другому народу освобождение. Ни вермахт, ни, тем более, СС по природе своей, а уж по идеологии, тем более, не могут стать армией-освободительницей. От большевизма, от комиссаров-жидов, от райкомов и политруков. Они пришли сюда властвовать, брать то, что им не принадлежит. Захватывать, поработать.

Сеять насилие, страх. Освободить народ могут только те, кто приходит как братья. Но и он, Радовский, и Вадим Зимин, и Сиверс, и Штрикфельд – все они пришли с чужой армией. И чужая армия приняла его и повысила в чине до майора. А теперь он с радостью освободился бы от этой формы, сорвал бы с себя погоны, которые не могут вызывать в нем священного трепета, и стал бы дезертиром. Если бы целью его стало выживание на этой войне. Если бы он хотел просто выжить, то, не раздумывая, остался бы на хуторе. Чтобы рядом всегда были Аннушка и сын.

А ведь еще можно вернуться...

Но он уходит. Значит, ему важнее другое. И на собственную жизнь ему уже наплевать. *Когда я кончу наконец игру в cache-cache* <sup>[4]</sup> *со смертью хмурой...* Немцы покидают Россию. Ее просторы и ее солдаты, ее бездорожье и ее оружие оказались не по зубам нации господ. Вместе с ними вынужден уйти и он, Радовский. Так что *игра со смертью хмурой* для него когда-нибудь кончится. Возможно, очень скоро. И возможно, очень плохо для него. Но об этом, тем более сейчас, лучше не думать.

Сейчас надо думать о том, чтобы перебраться через линию фронта хотя бы на несколько часов раньше Юнкерна.

Уже отчетливо слышались впереди удары тяжелой артиллерии. Несколько раз Радовский выходил на позиции советских артиллеристов. Тяжелые гаубицы, развернутые длинными стволами на северо-запад, методично вели огонь по невидимым целям. Пирамиды стреляных гильз возвышались между станин, парили в морозном воздухе синеватым маревом сгоревшего пороха. Год назад, под Москвой, они испытывали острую нехватку боеприпасов для своей артиллерии. А теперь гвоздят без пауз, не жалея ни зарядов, ни стволов. Возможно, каждый выпущенный снаряд – это отнятая жизнь немецкого солдата. Маятник войны качнулся в противоположную сторону, и теперь снарядов не жалеет другая сторона.

Начинался ближний тыл. Здесь нужно идти с особой осторожностью. Он это знал. Гибель его диверсионных и разведывательных групп, которые успешно переправлялись в тыл противника для выполнения различных заданий, чаще всего проистекала из ошибки, допущенной именно в ближнем тылу советских войск, на выходе. Именно здесь погибали и попадали в плен его лучшие курсанты. Впрочем, самые лучшие все же возвращались.

Радовский решил дождаться наступления ночи в лесу. Переходить передовые линии лучше ночью. А еще лучше перед рассветом, часа в четыре утра. Когда теряют бдительность даже самые стойкие часовые. И на этой, и на той стороне. Иногда просто засыпают. Не выдерживают

физической нагрузки, и усталость смыкает их веки. Юнкерн тоже это знает. Так что все решат часы. Но Юнкерн не торопится, его ничто не гонит как можно скорее пересечь линию фронта и выйти к немецкому патрулю. Он не знает, что параллельным маршрутом возвращается коллега Радовский.

Он вышел на лесную поляну и осмотрелся. Нигде ни следа. Выпавший прошлой ночью снег прикрыл затоптанную траву и изрытую землю неглубоким и хрупким слоем. В лесу же еще царила осень с ее приглушенными красками поздней поры, когда опавшая листва тускнеет, а зелень темнеет и словно исчезает, чтобы не раздражать графику суровой поры.

Радовский обошел поляну. След оставлять ни к чему. Спустился в траншею. Судя по брустверу, обращенному на восток и добротности ячеек, укрепленных кольями и заплетенными ивовыми прутьями, это была немецкая траншея. Вот пробитый в висок чуть выше серебряного орла стальной шлем, россыпь медных гильз в широком пулеметном окопе. Чуть дальше, из отвода, уходящего в тыл, пахло отхожим местом. Вскоре Радовский нашел то, что искал. Блиндаж.

Блиндаж был врыт в землю метра на три. Вход буквой «г», чтобы в проем не влетели ни снаряд, ни граната. Деревянная, видимо, принесенная из ближайшей деревни, дверь. Он толкнул ее стволом автомата. Внутри выстужено. Но все же значительно теплее, чем снаружи. Пахло препаратом от вшей. Химическая, ни с чем несравнимая вонь, хуже и навязчивее которой только разве что трупный запах. Радовский знал, что порошок от вшей назывался Russla и что солдаты вермахта называют его кормом для вшей. Немцы притерпелись к этой воню, видимо, потому, что страх заразиться тифом от насекомых был сильнее отвращения от неприятного запаха препарата. В конце концов, пищу можно принимать и не в блиндаже, а в траншее, на чистом воздухе.

Он лег на нары. Из-под подстилки с торопливым шорохом и писком выскочили мыши. Две или три. Они как живые горошины брызнули к стене и мгновенно провалились вниз, где ими были предусмотрительно вырыты норы. Радовский усмехнулся и заглянул под дощатый настил. Мыши нагнали целые горы земли. Похоже, они все там перекопали. Что ж, подумал он, устало опуская веки, они хорошие солдаты. Во всяком случае, его вторжение не застало их врасплох.

## Глава пятая

Бальк встал к пулемету сам. Schpandeu был установлен настолько удобно, что можно было вести огонь, стоя на коленях на земляном выступе, вырезанном лопатами на необходимой высоте.

Первые же очереди пулеметов, оборонявших опорный пункт, заставили иванов залечь. А когда в дело вступили легкие противотанковые орудия, те начали откатываться.

– Они научились воевать, – сказал Бальк, прервав длинную очередь. Некоторое время он смотрел поверх пулемета в поле. Кожух нагрелся, и над ним плавало марево, совсем как летом, когда воздух здесь нагревался до тридцати, так что серые крыши деревенских домов, крытых дранкой, если пристально посмотреть на них издали, казалось, плавилась.

– Еще бы, – отозвался Буллерт. – Смотри, мы ни одного не прихлопнули, а они взяли и отошли. Наверняка что-то задумали.

Цепи иванов исчезли в лесу так же быстро, как и появились.

– Они просто греются, – сказал Пачиньски. Во время стрельбы он придерживал ленту, чтобы шла в приемник ровно и не захлестывала. – А заодно издеваются над нами.

– Греются... Сейчас и нас согреют.

Бальк осторожно потрогал кожух пулемета. Он все еще пылал.

– Это хорошо, – заметил его беспокойство Буллерт. – Смазка не застынет.

– Вилли, ты кем был до призыва? – спросил он второго номера.

– Помощником адвоката. Я же тебе об этом рассказывал. Ты, что, Арним?

– Извини. Просто я хотел узнать, не забыл ли ты об этом?

– Иди ты к черту! Мы все здесь контуженые! Но не до такой же степени!

Все засмеялись.

И в это время тяжелый снаряд вспорол пригорок перед крайними деревенскими дворами правее их сруба.

– Мать твою! – по-русски выругался Буллерт и начал снимать пулемет со станка. – А ну-ка, Эрвин, помоги. Эти «чемоданы» разрываются на осколки по пять килограммов каждый!

Второй снаряд лег немного глубже. Но деревню русская артиллерия не трогала. Снаряды рвались вокруг второго ДОТа, который был сооружен

метрах в ста пятидесяти правее их позиции. Соседний ДОТ был значительно больше. Во время отражения атаки русских оттуда вели огонь сразу два пулемета, в том числе и крупнокалиберный. Кроме того, там стояло новенькое 50-мм ТПО. Оно сделало всего один выстрел. И это было большой ошибкой артиллеристов. Они обнаружили себя, хотя иваны атаковали вяло и без поддержки танков и самоходных орудий. Наверняка русские оставили в поле корректировщика. Так что атака – всего лишь маскировка. В поле лежало несколько неубранных трупов лошадей, остов сгоревшего грузовика и полугусеничного бронетранспортера. Следы неудачных атак русских недельной давности. Иваны добежали как раз до бронетранспортера и убитых лошадей.

Бальк настроил линзы бинокля и стал внимательно осматривать бронетранспортер. Развороченные прямым попаданием бронелисты наклонных бортов. Отброшенный в сторону мотор и передний мост. Свернутая набок рубка со щитом и выгнутым вверх стволом малокалиберной пушки. Судя по растрескиванию на конце, это была кустарным способом установленная вместо штатного крупнокалиберного пулемета 20-мм зенитка-автомат. Лоскуты какого-то тряпья на сухих палках чертополоха. Видимо, в бронетранспортер попала авиабомба. В какое-то мгновение в щели рубки что-то мелькнуло. Так и есть, корректировщик расположился в подбитом бронетранспортере.

– О, господи! Они попали! – Пачиньски стащил с головы стальной шлем и перекрестился.

– Что там? – спросил Бальк, не отрываясь от бинокля.

– Второе отделение накрыли. Прямое попадание. Посмотри, что творится. Вряд ли там кто уцелел.

– Да, теперь нас еще меньше.

На месте заснеженного ДОТа, казалось, надежно врытого в землю на юго-восточной окраине деревни, стоял высокий столб черного дыма. Вывернутые наружу бревна сруба и расщепленные взрывом доски с треском разгорались на ветру. Со стороны домов к воронке бежали санитары.

Бальк лишь минуту рассматривал результат прямого попадания тяжелого снаряда русских.

– Ребята, давайте сюда пулемет. Кажется, я обнаружил их корректировщика.

Ответом ему была тишина. Казалось, что ДОТ опустел, что никого, кроме него, Балька, здесь вовсе и не было. Он оглянулся. Его второй и третий номера сидели на лавке неподвижно.

– Что?! Уклонение от боя?! Берем пулемет! Быстро!

Он тщательно прицелился чуть выше свернутой набор орудийной рубки и нажал на спуск. Верный Schrandeu задрожал, удерживая на определенном уровне прицел. Трасса ушла в поле. И в это время сруб встряхнуло так, что часть бревен вдавило вовнутрь. Несколько осколков ударили в скошенные стенки амбразуры, один щелкнул по кожуху пулемета, отрекошетил куда-то в угол и замер там, будто мгновенно уснул. А ведь мог кому-нибудь из них вцепиться в лоб или запросто перерезать горло. Такие осколки острые, как бритва. Когда пыль осела, Бальк попытался выбраться наружу, но дверной присад перекосило и дверь зажалось. Сруб снова встряхнуло. Сверху посыпался не только песок, но и куски мерзлой глины. Запахло луковой вонью тротила.

– К пулемету! – опять закричал Бальк. Он вдруг понял, что первый поединок с русским корректировщиком они проиграли.

Гаубицы вели огонь с закрытых позиций, которые находились за лесом в нескольких километрах от передовой. Они были слепы без корректировщика.

– Буллерт! Держи ленту! Эрвин! Наблюдай в бинокль и докладывай обо всех изменениях. Цель – разбитый бронетранспортер!

Короткие пристрелочные. Прицел оказался сбит. Но вот трассирующие пули, заряженные через четыре на пятый, нащупали цель и начали вспыхивать на искореженной броне, на рубке. Если там еще кто-то остался живой, ему приходится несладко. Во всяком случае, ни о какой корректировке огня русский сейчас и подумать не смеет.

– Там что-то загорелось, – доложил Пачиньски.

Вот и отлично. Теперь русскому нужно либо затушить огонь, либо покинуть свое укрытие. Со ста пятидесяти метров он уложит его первой же очередью.

– Ты хорошо куда-то попал, Арним. Разгорается!

Теперь и Бальк видел дым. Дым густел с каждой минутой. Интересно, что там могло гореть. Какое-нибудь тряпье, пропитанное смазкой. Он прервал очередь. От кожуха веяло горячим ветерком и кузнечным запахом перегретого металла. Надо дать Schrandeu немного остыть, иначе ствол перегреется, его придется менять, и в результате они упустят русского. Пауза подтолкнет наблюдателя к каким-либо действиям. Если бы уцелела противотанковая пушка, она бы выкурила оттуда русского двумя-тремя осколочными. Но новенькая «пятидесятимиллиметровка» была разбита, и расчет ее погиб под бревнами и комьями мерзлой земли. Несколько солдат из второго отделения метались среди дыма и огня, пытались тушить пожар.

По ним начал молотить короткими прицельными очередями крупнокалиберный пулемет из русского леса. Конечно, далековато. Но когото, похоже, все же задело. Для ДШК триста метров – отличная дистанция. Если пулеметчик хороший. Санитары снова показались возле крайнего дома, они тащили тяжелые носилки. Еще одного раненого вели под руки.

«Чемоданы» теперь падали левее, крушили окопы первого отделения.

После такой артподготовки следовало ждать такой же основательной атаки. Но иваны почему-то не появились.

Бальк продолжал наблюдать за горящим бронетранспортером. Теперь по нему палили со всех сторон из винтовок. Русскому уже не уйти. Его заметили из деревни. Трассы Schpandeu, их направление, были хорошо видны и со стороны домов, и от окопов, которые, видимо, тоже заняты стрелками. Весь взвод сейчас палил по корректировщику.

Капитан Солодовников наблюдал за атакой Седьмой роты с НП, устроенного метрах в тридцати от опушки среди зарослей можжевельника. Кусты можжевельника хорошо маскировали блиндаж командира роты. Да и тепло было у Нелюбина, и стены забраны прочными березовыми бревнами, и накатник над головой тройной, с метровым слоем земли. Бывший председатель колхоза всегда старался устроиться основательно. Точно такие же землянки были отрыты во взводах. Не мерзли и пулеметчики. И вот Седьмая двумя взводами атаковала деревню Дебрики. Атака имела характер отвлекающего маневра. Но об этом здесь, на участке Седьмой роты, знал только ее командир старший лейтенант Нелюбин.

Утром, еще не рассвело, из штаба полка за подписью майора Лавренова поступило боевое распоряжение на атаку: наступать по фронту Седьмой роты направлением на Дебрики с целью отвлекающего маневра – расположить как можно ближе к опорному пункту немцев артиллерийского наблюдателя с прикрытием.

– Боком мне, ектыть, вылезут эти маневры! – нервничал старший лейтенант Нелюбин. – У них там три пулемета и одна противотанковая пушка. Калибр небольшой.

– Помолчи, Кондратий Герасимович, их не указывать надо, а уничтожить. Не сегодня завтра, чует мое сердце, нам придется брать эту чертову деревню. А? Как думаешь? – Капитан Солодовников не отрывался от бинокля.

– Мое дело не думать, а исполнять.

– Ну, тогда исполняй молча.

– Людей жалко. Хоть бы всерьез атаковали, а то, ектыть, какая-то пустая беготня по полю.



Нелюбин нервно ходил по траншее с засунутой за ремень трофейной ракетницей и ждал команды на отбой атаки, зло поглядывая на затылок капитана Солодовникова.

В ложную атаку на Дебрики он отправил два своих лучших взвода: первый и третий. Первый повел лейтенант Мороз. Третий – старшина Пересвятов. Второй взвод оставался в резерве. Пулеметные расчеты тоже остались в траншее. Немцев в Дебриках на вчерашний вечер было немного, до двух взводов, но за ночь они могли подвести резервы. И если контратакуют, то без пулеметов на заранее пристрелянных позициях роте не удержаться.

Когда немцы открыли огонь, Нелюбин сразу обратил внимание на ДОТ, расположенный левее дороги: пулеметчик в нем сменился. Все минувшие дни пулемет из того дота лупил длинными незамысловатыми очередями. А этот выкраивал так, будто Железный крест ему обещан.

Нелюбин напряженно следил за продвижением взводов. Его гвардейцы бежали, пригнувшись. Изредка палили из винтовок, подбадривали себя. Мороз и Пересвятов держали цепь, не давали отделениям сбиться в кучи. Правильно, правильно шли его гвардейцы. Но не радовал этот правильный строй душу ротного. Вот добежали до подбитого «гроба». Несколько человек сразу залегли. Двое сунулись под бронетранспортер. Видимо, один из них артиллерист, понял Нелюбин. И спросил комбата:

– Их что, двое?

– Да. Лейтенант из арtpолка и снайпер.

– Снайпер? Зачем ему снайпер?

– Для прикрытия.

Все. Взводы залегли под плотным огнем. Сразу три пулемета прижимали их к стерне.

– Давай ракеты, Кондратий Герасимович.

Красные ракеты одна за другой взлетели в хмурое небо.

Мороз отводил своих более организованно. Третий взвод возвращался толпами. Найдись на той стороне хороший снайпер, не одного бы уже повалил на стерню, при таком-то отходе. Пока никого вроде бы не потеряли.

– А знаешь, кто у него там в прикрытии? – Капитан Солодовников кивнул в поле. – Парень тот, бедовый. Из полковой разведки. Дружок твой. Как его...

– Иванок, что ль? – Так и зашло сердце у Кондратия Герасимовича и он выдохнул: – Нашли кого послать.

Взводы отошли. Пробежка до сгоревшего «гроба» прошла

благополучно. Двоих из взвода старшины Пересвятова приволокли в плащ-палатках. Нелюбин осмотрел их и приказал везти их в тыл, в санбат. У одного из раненых была перебита голень.

– Сержант Криницкий. Какой был хороший младший командир! – кивнул на удаляющуюся санитарную подводу Нелюбин. – Отнимут теперь ногу парню. И я остался без толкового командира. Вот тебе и маневры.

– Ничего, Кондратий Герасимович, – утешал Нелюбина капитан Солодовников, – считай, легко отделались. А сержант твой через пару месяцев вернется. Я тоже думал, что все, отвоевался. Подлатают, подкормят. Полежит в тепле и холе, на девок посмотрит.

Вскоре через позиции Седьмой роты с упругим шелестом пролетел тяжелый снаряд. И сразу стало понятно, что заработал корректировщик, оставленный на нейтральной полосе.

– Эх, ектыть! И хорошо ж лупцуют! Вот, Андрей Ильич, когда атаковать надо. Сейчас бы мы до деревни живо добежали, а там крайние дворы, вот они...

– Не спеши, Кондратий Герасимович, не уйдет от тебя твоя деревня.

Мощные фугасы начали крошить линию окопов перед Дебриками, расковыривать блиндажи и раскидывать накатники.

Если бы старшему лейтенанту Нелюбину отдали приказ взять Дебрики и обеспечили усилением, хотя бы минометами и несколькими противотанковыми пушками на случай, если придется выкуривать немцев из дотов, он бы давно этот приказ выполнил. Но штабу полка нужны были какие-то другие результаты. Ладно, начальству виднее, как всегда, когда приказы, исходящие из вышестоящих штабов, на его взгляд, противоречили здравому смыслу, решил для себя Нелюбин. Хорошо хоть все с поля вернулись. Так что прав Андрей Ильич: отделались-то и вправду легко.

Иванок лежал за обгорелым мотором бронетранспортера и наблюдал за тем, что происходило в деревне. Лейтенант делал свое дело, постоянно передавал по радиации координаты огневых точек.

Вот загромыхал из дота справа от дороги крупнокалиберный пулемет. Трасса ушла выше. Немецкие пулеметчики провожали отходящих красноармейцев. Их же, оставшихся возле сгоревшего бронетранспортера, пока не обнаружили.

Наконец-то Иванку нашли снайперскую винтовку. Не кто-нибудь, а лично командир полка майор Лавренов вручил ему новенькую «мосинку» с отличной усиленной оптикой.

Перед выходом на задание Иванок сходил в полковой госпиталь, разыскал Тоню и выпросил у нее старую простыню. Затем отбелил ее в

хлорке, порвал на полосы и тщательно обмотал бинтами и ствол, и приклад, и даже ремень. На каску тоже вырезал колпак и закрепил его бечевкой.

И вот теперь он лежал, слегка нарушив сугроб, наметенный к мотору с подветренной стороны, и наблюдал в «трубу» за тем, что происходит в деревне.

Гаубицы распахивали оборону немцев с такой силой, что даже здесь, в поле, шевелилась стерня и осколки с шипением падали то с недолетом, то с перелетом, то щелкали по рыжей броне «гроба» и отлетали, обессиленные, как битые черепки.

Лейтенант, видимо, испытывая азарт боя, какой испытывал бы и Иванок, если бы ему было разрешено сейчас открыть огонь по группе немцев, пробиравшихся к одному из ДОТов, выкрикивал поправки и снова выглядывал из-за покореженной бронированной рубки. Лейтенанта звали Леником. Он сам так назвал себя, впервые увидев в траншее Иванка и поняв, что именно он, ефрейтор Ермаченков, разведчик взвода конной разведки штаба полка, будет прикрывать его на нейтралке.

Снаряды все плотнее ложились вокруг белого холма дота, из которого, не переставая, бил крупнокалиберный пулемет. И вот наконец спаренный взрыв взметнул вверх бревна накатника. Что-то похожее на орудийные колеса и приземистый щит вывалилось наружу через широкий пролом.

– Порядок! Буря! Буря! Я – Ветер! Прямое попадание! – радостно выкрикивал лейтенант, придерживая дрожащими, красными от мороза пальцами ларингофон. – А теперь – цель номер два. Буря! Буря!»! Цель номер два! Сто метров левее предыдущей. Слушай поправку!..

Задача у Иванка была, как всегда, простая. Сидеть и наблюдать. Если обнаружит какую-либо серьезную цель, докладывать офицеру. Но самое главное – смотреть, чтобы незаметно не подобрался патруль противника, не обошел их, не отрезал отход. Огня не открывать до тех пор, пока не возникнет явная опасность. Во время завершения операции прикрывать отход офицера-наблюдателя.

С тех пор, как он вернулся в полк, в свой взвод, сопровождать наблюдателей на нейтральную полосу он ходил уже не раз. Но со снайперской винтовкой вышел впервые. Всегда брал с собой ППШ и три запасных диска, но ни разу не расстрелял ни одного.

Теперь он лежал за обгорелым мотором и разглядывал в прицел окраину деревни, где, то один за другим, с четкой последовательностью, то парами, рвались тяжелые снаряды. Похоже, что из второго ДОТа их обнаружили. Потому что уже вторая пулеметная очередь вспарывала снег и

рубила стерню вблизи их укрытия. Справа, слева, с недолетом... Но вот пули хлестнули по наклонному борту бронетранспортера, гулко, как по колоколам, зашлепали по выгоревшим скатам и каткам. Что ж, значит, Леника засекли из второго ДОТа. Слишком явно высывался, когда определял поправку. И теперь решалось, кто из них кого накроет. То ли очередной тяжелый гаубичный снаряд пробьет толстый слой земли и вытряхнет наружу и бревна накатника, и тесовую обшивку стен, и пулеметный расчет вместе с их снаряжением. То ли более удачливыми окажутся пулеметчики и подловят наконец артиллерийского наблюдателя, когда тот в очередной раз высунется из-за искореженного взрывом бронещита, чтобы уточнить поправку для следующего залпа.

– Товарищ лейтенант! – позвал Иванок артиллериста. – Я их вижу! В ДОТе! В амбразуре! Двое! Разрешите снять?

– Ни в коем случае! По вспышке выстрела они сразу поймут, где мы.

– Да они все уже поняли. Два выстрела, и дело будет сделано.

– Нас закидают минами. Смотри, боец, по сторонам, делай свое дело.

Свое дело... Боец... Он-то свое делает. А вот второй ДОТ все еще не подавлен. Конечно, самостоятельные решения он здесь принимать не имеет права. Но фигуры пулеметчиков в амбразуре – вот они. Через прицел можно разглядеть выражения лиц. Какая все же хорошая оптика на наших винтовках! Вот это подарок! Лучше медали.

По обшивке бронетранспортера прогремела еще одна очередь, и лейтенант вскрикнул от боли. Ну вот, поймал-таки свою...

Иванок медленно втянул голову, убрал винтовку и, оказавшись в полной безопасности за глыбой мотора, оглянулся на НП лейтенанта. Тот, скорчившись, сидел за бронещитом, с которого от попаданий облетела ржавчина. Из рта лейтенанта на рацию стекала красная слюна.

– Товарищ лейтенант! Леник! Ты что, ранен? – закричал Иванок.

Тот не отвечал. Кивал головой, судорожно хватал воздух.

Патрон уже был в патроннике. Иванок осторожно просунул винтовку между искореженными железками, выглянул. Двигался он медленно, осторожно. Пулеметчики по-прежнему маячили в узком окошке амбразуры. Теперь Иванка никто не мог остановить. Два выстрела. Нужно быстро успеть сделать два выстрела. Вначале в первого номера, а потом – во второго. Потом перевязать лейтенанта и попытаться его вытащить к своим окопам. Похоже, у него пулевое, в грудь, навывлет, и задеты легкие. Таиться уже бесполезно. Их НП немцы обнаружили. Вот уже палят и из винтовок. Гаубицы молотят по площадям, вслепую. В схватке с пулеметчиками Леник все же проиграл. Если сейчас, двумя-тремя выстрелами, поразить

пулеметчиков, то у них появится какое-то время, чтобы добраться до первых кустов, а там недалеко и лощинка. Лощинку Иванок приметил, когда бежали сюда. Лощинка хоть и неглубокая, но густо заросшая ивняком, и ведет она к стыку Седьмой и Восьмой рот, к пулеметному окопу.

Он придавил к плечу приклад винтовки. В перекрестье прицела появилась узкая горизонтальная щель бойницы, обрамленная белыми березовыми бревнами. Первый номер будто прилип к своему МГ. Пулемет наверняка закреплен на станке. Клочковатое белое пламя трепыхалось на дрожащем раструбе ствола в одном режиме. Значит, прицел постоянный. Пули шлепали по бронетранспортеру, сбивали с него остатки снега и ржавчины. Там, возле лейтенанта, что-то начало гореть. Но Иванок уже не позволял себе ни единого лишнего движения. Пулеметчики его пока не видели, и этим преимуществом, понял он, нужно воспользоваться. Мотор лежал метрах в пяти от корпуса «гроба», и сюда залетали только случайные пули.

Он прицелился чуть ниже каски. Палец потянул спуск. Но в какое-то мгновение Иванок передумал. Надо, решил он, вначале – второго. Второй номер вел себя более нервно. Он словно что-то почувствовал. Часто поворачивал голову, видимо, что-то кричал пулеметчику. Может, заметил за мотором его, снайпера. Значит, первым надо его. Если снять второго номера, пулеметчик не сразу поймет, что произошло. Наблюдение ведет именно второй номер. Или третий. Если он есть. Но если в ДОТе есть и третий номер, тогда их отход может осложниться. Третьего номера Иванок пока не видел. Он опустил перекрестье прицела чуть ниже каски правой фигуры и нажал на спуск. Приклад резко ударил в плечо. Запахло пороховым дымом. Он тут же передернул затвор. Выбросил на снег пустую гильзу и снова прижал приклад, ловя в перекрестье основную цель.

## Глава шестая

Пошел уже второй месяц, как Воронцов прибыл на передовую. Правда, непосредственно в окопах он находился все же чуть меньше. Пока ехал к фронту, пока разыскивал штаб своего полка. Пока ждал назначения.

В штабе узнал, что за умелые и удачные действия во время форсирования Днепра полку вручено гвардейское знамя, что полковник Колчин получил новое назначение и теперь командует их дивизией, что на его место назначен майор Лавренов.

Майора Лавренова Воронцов не знал. Кондратий Герасимович однажды верно заметил: когда часть в бою, в ней быстро все меняется, в том числе и личный состав. Личный состав – как патроны в подসумке: в бою кончаются очень быстро, но потом старшина выдает новый боекомплект, и о том, который израсходован, ты уже не вспоминаешь. Отчасти потому, что новые патроны точно такие же, как и те, которые ты грел своим телом месяц или два дня назад.

В первую очередь Воронцов выяснил, жив ли Нелюбин.

– Жив, – ответил ему начальник штаба майор Соловцов, которому Воронцов в отсутствие командира полка докладывал о прибытии. – А кем он вам доводится? Родня?

– Более чем.

Майор Соловцов, сухощавый, лет сорока, но стройный, как юноша, затянутый кавалерийскими ремнями, удивленно вскинул брови.

– Боевой товарищ. В отдельной штурмовой роте мы с ним взводами командовали.

– Когда и где действовала рота?

– Летом, на Хотынецком направлении. Меня ранило на Вытебети, в середине июля, во время прорыва. – Воронцов решил выложить начштаба все, чтобы тот поскорее получил о нем полное представление и назначил на первую же вакансию в один из батальонов. Потому что назначения в штабе полка ожидали еще несколько офицеров. Коротая тоску ожидания, чем-то похожую на вокзальную, с той лишь разницей, что ты не знаешь, когда придет твой поезд, они исполняли обязанности офицеров связи, а по сути дела состояли на побегушках у начальника штаба полка, а иногда и его заместителей.

– Жив ваш боевой товарищ. Воюет. В третьем батальоне ротой командует. На хорошем счету.

– Для меня это большая радость, товарищ майор. Нет ли в Третьем батальоне для меня подходящей вакансии? Готов пойти взводным. В роту Нелюбина.

– Зачем же взводным? Взводных мы и из числа младших командиров подберем. А вакансии есть. Для вас, я думаю, самая подходящая. На прошлой неделе выбыл командир Восьмой роты. Попал под минометный обстрел. Но это – компетенция командира полка майора Лавренова. Да и с комбатом-три согласовать необходимо. Кстати, капитан Солодовников тоже в прошлом из постоянного состава ОШР. – Кавалерийские ремни на плечах Соловцова выразительно скрипнули.

– Андрей Ильич Солодовников тоже вернулся?!

Майор снова вскинул брови:

– Неужто в роте Солодовникова служили?

– Именно в его роте и служил, товарищ майор!

Начштаба встал со скрипучей табуретки, походил по землянке. Закурил и сказал:

– После такого мне бы и направить вас в Третий батальон, на Восьмую. Но надо все же получить «добро» командира полка.

Воронцов ликовал. И майор Соловцов не мог этого не замечать.

– Ротой приходилось командовать? – спросил он, предложив Воронцову папиросу «Северной Пальмиры».

– Спасибо, товарищ майор, не курю. А ротой командовал. Правда, недолго. Чуть больше суток. После ранения Андрея Ильича как командир первого взвода и старший по званию принял командование ротой. Исполнял обязанности до момента вывода роты во второй эшелон.

– А до этого?

– С октября сорок первого командовал отделением, затем – партизанским отрядом и группой специального назначения числом до взвода. А потом – взводом числом до роты.

– Что это значит? Штат был такой?

– Нет. Штат был обычный, трехсоставный. В каждом взводе три отделения по десять человек. Но перед наступлением взводы пополняли сверх штата до семидесяти-восемидесяти человек.

– Значит, с сорок первого на фронте?

– Так точно, товарищ майор, с пятого октября. Первый бой под Юхновом на реке Извери.

– А почему все еще в старших лейтенантах ходите?

– Не успел закончить полного курса. – Воронцова подмывало рассказать майору Соловцову о том, что именно в штабе полка, из рук тогда

еще подполковника Колчина он получил кубари младшего лейтенанта и что последнее производство, досрочное, он выслужил в штрафной роте. Так что обижаться ему не на что, звезды на погоны ему не задерживали. Просто так сложилась судьба. Хотя, если бы не октябрь сорок первого, и не та неразбериха, в которую он тогда попал, ходил бы уже в капитанах. И сейчас бы ждал назначения на совсем другую должность. Если бы живой остался.

– Кстати, наш командир полка, майор Лавренов, тоже войну начал лейтенантом. А теперь – гвардии майор! Герой Советского Союза! Золотую Звезду получил за форсирование Днепра. Имейте это в виду, когда будете представляться. Скажите, что на фронте с сорок первого, что воевали с капитаном Солодовниковым. А там Восьмая, вакантная, сама собой выплывает.

Ночью Воронцова разбудил посыльный и сказал, что в штабе полка его ждет майор Лавренов. Он быстро оделся, выскочил из жарко натопленной землянки под яркие по-зимнему низкие звезды. Возле штабного блиндажа его остановил часовой.

– К командиру полка, – коротко пояснил он.

– Проходите. Товарищ майор только что прибыли. – Часовой усмехнулся, похлопал трехпальными рукавицами по полам белого полушубка и захрустел молодым снежком по утоптанной стежке в сторону соседнего блиндажа.

Воронцов потянул на себя обитую дерматином массивную дверь и в свете лампочки, подключенной к аккумуляторной батарее, увидел молодого майора и женщину в узких погонах старшего лейтенанта медицинской службы. Майор в расстегнутом кителе, без портупеи, стоял, наклонившись к старшему лейтенанту медицинской службы, держал ее руку и что-то тихо говорил на ухо. На губах его подрагивала улыбка бывалого хищника, который уже предвкушал победу. Ни адъютанта, ни связистов, ни офицеров оперативного отдела в штабном блиндаже не было. Мочка уха старшего лейтенанта медицинской службы сияла, как полудрагоценный, тщательно отшлифованный природой камень.

Майор вскинул голову и, увидев старшего лейтенанта, застегнутого на все пуговицы, туго, как курсант на плацу, перетянутого ремнем, невольно потянулся и к своему кителю. Но потом спохватился, сунул руки в карманы и, выслушав краткий доклад, небрежно кивнул на табуретку, на ту самую, на которой днем сидел начштаба:

– Вольно, старший лейтенант. Садись. Мне о тебе уже доложили. И, не скрою, мною, как пишут в романах, движет некоторое любопытство.

Майор Лавренов ногой подтолкнул к столу другую табуретку и сел



напротив. При этом взгляд его скользнул по лицу старшего лейтенанта медицинской службы. Та сидела молча, изредка отпивала из стакана в массивном подстаканнике горячий чай. Воронцову показалось, что она замерла, когда он вошел. Мочка ее уха все так же сияла.

– Говорят, с сорок первого воюешь? – спросил Лавренов по-простецки, на «ты».

То, что командир полка сразу перешел на «ты», Воронцова не смутило. Лишь бы не хамил, подумал он и внутренне напрягся. Такой тон старших по званию и значительно старших по должности Воронцова всегда настораживал. Никогда он не водил дружбы с большими начальниками и старался держаться подальше от них. А еще он знал, что первая встреча с начальством обычно и определяет характер всех дальнейших отношений. И тут, как он считал, следовало руководствоваться поучением Андрея Петровича Гринева из «Капитанской дочки», который говорил своему сыну, отправляя его на службу в дальний гарнизон: служи верно, кому присягнешь... слушайся начальников... за их лаской не гоняйся... на службу не напрашивайся... от службы не отговаривайся... Что ж, прав был Андрей Петрович, старый солдат.

– Так точно, – ответил Воронцов и встал с табуретки, ударом ладони машинально разгладив полу шинели.

– Да не вскакивай ты, как кукла парадная, – засмеялся майор Лавренов.

Воронцов побледнел. Майор Лавренов тут же заметил, как напряглись мышцы лица старшего лейтенанта. Воронцов мгновенно вспомнил и другое поучение, которым напутствовал его тогдашний ротный старший лейтенант Солодовников: не залупайся. Но ситуация требовала немедленной реакции. Как в бою. Иначе окажешься на земле. С пробитой головой или растоптанным, с расквашенным носом. Что на войне почти равнозначно. Во всяком случае, для него.

– Смею заметить, что я боевой офицер, а не парадная кукла, – выдавил он и напрягся, готовый ко всему, и вдруг почувствовал, как, должно быть, смешон он со стороны в своей щепетильности. Смешон не перед майором. Черт бы с ним. Перед женщиной в погонах старшего лейтенанта медицинской службы, молча наблюдавшей сцену представления младшего по званию старшему, от которого зависит многое.

Черт бы его побрал, этого героя Днепра, негодовал Воронцов. Если бы в штабном блиндаже не было женщины, он бы, может, и стерпел «парадную куклу».

Старший лейтенант медицинской службы встала, улыбнулась и

сказала:

– Дмитрий Вадимович, вы бы предложили молодому человеку для начала раздеться. – И тут же, повернувшись к Воронцову: – Давайте-ка вашу шинель, товарищ гвардии старший лейтенант.

Воронцов какое-то мгновение стоял неподвижно. Потом быстро расстегнулся, так же решительно, не дожидаясь, когда старший лейтенант медицинский службы начнет за ним ухаживать, повесил шинель на гвоздь рядом с шинелью с майорскими погонами. И подумал, мельком взглянув на нее: а она, пожалуй, умнее нас с майором вместе взятых.

Все это время она с любопытством следила за ним. Как только Воронцов застегнул на плече ремешок портупей, она налила крепкого чая в свободный стакан и поставила перед ним.

– Пейте. Угощайтесь. О службе потом.

Майор Лавренов усмехнулся и ничего не сказал. Загреб из эмалированной чашки горсть сушек и принялся допивать свой чай, который, похоже, уже остыл.

Старшего лейтенанта медицинской службы звали Верой Ивановной Игнатьевой. И находилась она в этот час в штабном помещении конечно же не по служебным делам.

Воронцов поблагодарил Веру Ивановну за чай. Чай действительно оказался вкусным. Свежесваренный, горячий. Настоящий. От такого он уже отвык. Вера Ивановна заботливо подкладывала ему сушки. Она угощала его на правах хозяйки. И это, похоже, особенно нравилось майору Лавренову. Он наблюдал за ней, как кот за голубкой. Правда, и голубка, по всей вероятности, была себе на уме, понимала, кто за ней наблюдает и с какой целью.

Поскорее бы покончить с этим делом, получить назначение и уйти отсюда подальше, думал Воронцов, допивая свой чай.

– В Восьмую роту просится, – наконец подал голос майор Лавренов и посмотрел на Воронцова.

– В Восьмую?

– Да. Ты же знаешь, Иванов тяжело ранен. Сама его вывозила. Вряд ли вернется. Ты какое училище заканчивал, Воронцов? – спросил вдруг майор.

– Подольское пехотно-пулеметное.

– Штабную работу знаешь?

– Нет, при штабе служить не приходилось.

– При штабе... Я тебе не при штабе предлагаю служить, а в штабе. Понял? Заместителем начальника оперативного отдела. Пока, разумеется, и. о. А потом посмотрим. Вижу, служить умеешь. Вон сколько орденов

нахватал!

Нахватал... Но на этот раз Воронцов стерпел, памятуя о наказе Солодовникова: не залупайся. И сказал:

– Я прошу доверить мне роту в батальоне капитана Солодовникова.

– Представляешь, Верочка, они вместе воевали. Он был у Солодовникова взводным. Но не в стрелковой роте, а «шуре». В «шуре»! Ты представляешь?!

– Вы воевали с капитаном Солодовниковым в штрафной роте? – В ее улыбке Воронцов читал удивление, но, кажется, иное удивление. Что-то женское мелькнуло в ее глазах.

Он тоже более пристально всмотрелся в ее лицо, пытаясь избавиться от сомнения: неужели они где-то виделись? Возможно. Очень даже возможно. Хотя у него хорошая память на лица. Москва? Академия? Но она же училась не на ветеринарном отделении. Общежитие? Студенческие вечеринки? Факультетские соревнования по легкой атлетике? На соревнованиях они любили разглядывать девчонок. Те выглядели великолепно. У нее вполне спортивная фигура. Нет, Вера Ивановна явно постарше его бывших сокурсниц. Он еще раз взглянул на нее, но ничего похожего на эту улыбку, на голос, на манеру говорить, по-московски растягивая «а», в своем студенческом прошлом отыскать так и не смог. И сказал, стараясь унять дрожь:

– Да. А что в этом удивительного?

Вера Ивановна не ожидала его вопроса. Он и сам пожалел, что задал его.

– Верочка имела в виду, что водить в бой преступников, всякое отребье...

– Преступники и отребье в штурмовой роте действительно были. Но были и просто бойцы. Хорошие солдаты, младшие командиры. Большинство составляли именно они.

Вера Ивановна беспокойно посмотрела на майора Лавренова, видимо, предполагая его возможную реакцию. Майор набычился, шумно втянул воздух и хлопнул ладонью по столу:

– Ты, я вижу, еще и вольнодумец? Ладно, Воронцов. Давай-ка эту тему замнем. Ты, я вижу, человек непростой. Характер имеешь. И послужной список у тебя, и наличность... – И он кивнул на награды и нашивки за ранения. – Все мы тут с характером. В Восьмой мне тоже рохла не нужен. Но скажу вот что: ты, я вижу, весь из клиньев, ну так особо не выпячивайся. Вбивай свои клинья там, где надо. Твой предшественник был слишком мягким командиром. Интеллигент, из бывших учителей.

Дисциплинку-то во вверенной ему роте и упустил. Так что там тебе твои клинья пригодятся. И еще заруби себе: говорю один раз. Сказано – сделано. После штрафной гвардейская рота раем не покажется, но все же кое-какие выгоды имеются. Ничего мне сейчас не говори, тем более в присутствии такой прекрасной женщины. – Майор манерно потряхнул головой в сторону Веры Ивановны, отчего его Золотая Звезда на кителе блеснула всеми своими гранями. – Давай выпьем. Повод есть. За твое возвращение в полк! А? На, наливай. Вере Ивановне тоже. Половинку. Поухаживай. Тебе по штату положено.

Бутылка была похожа на трофейную. Воронцов взял ее из рук майора. Так и есть.

– Не думай, не ром. Стал бы я такую прекрасную женщину, да еще в канун Нового года, угощать грубым мужским пойлом. Благородный коньяк! Так, кажется, пишут в романах. Французский! Французы, к сожалению, оказались плохими вояками. Но коньяки, смею заметить, делают превосходные!

– Только поставляют нам через Германию, – пошутил Воронцов и дважды стукнул донцем бутылки по бедру, после чего пробка на треть вылезла наружу. Теперь ее можно было с легкостью вытащить и без штопора.

– О, Вера Ивановна! Гусар! Посмотрим, как ротой командовать будет! А насчет французских поставок ты прав. Но, кому бы они ни поставляли свой божественный напиток, а он вот у нас на столе!

Судя по тому, как он распускает перед Игнатьевой хвост, как при этом метет своим веером, отношения у них только-только начали складываться в нечто, что солдаты потом брезгливо назовут ППЖ. Жаль, подумал Воронцов, у этой врачихи красивое и умное лицо. Видать, от тоски. На фронте все тоскуют. Мужчины по женщинам. Женщины, как оказывается, по мужчинам. Особенно в обороне.

Коньяк оказался действительно хорошим. «Надо же, – подумал Воронцов. – Шел на доклад, который к тому же оказался не совсем удачным, а в итоге сижу с командиром полка в компании его пассии и пью трофейный французский коньяк». Конечно, майор обмывает не его возвращение в полк. Кто он такой для него, майора, Героя Советского Союза? Ротный, обычный ротный, на которого к тому же еще не подписан приказ о назначении. Вторая ступень после ваньки взводного. Но с прежним командиром полка, тогда еще подполковником Ильей Митрофановичем Колчиным, Воронцов пил и будучи только-только произведенным в младшие лейтенанты. Но об этом сейчас лучше

помалкивать. Колчин другой человек. А этому, похоже, я попал в случайные шаферы. Только бы Вера Ивановна не увлеклась и все не испортила. Воронцов заметил, что она не сводит с него глаз. Неужели все-таки она узнала его и теперь ждет ответной реакции? Лавренов человек настроения, и если он заметит ее повышенное внимание не к нему, а кому-то другому, результаты этих посиделок могут быть непредсказуемыми. Поэтому, когда выпили по второй, за прекрасных дам, Воронцов встал и вежливо обратился к командиру полка разрешить ему отбыть в роту.

– В какую роту? – искренне удивился майор Лавренов.

– В Восьмую гвардейскую, товарищ майор, – с той же непосредственностью отрапортовал Воронцов. С непривычки коньяк уже шалил в голове, приятным вязким теплом расходился по всему телу. Но надо было уходить. Чтобы не портить майору вечер. Не зря же он услал из штабного блиндажа всех, даже связистов.

– Подожди. В Восьмую гвардейскую... Приказ о твоём назначении в Восьмую гвардейскую, товарищ старший лейтенант, заметь, еще даже не гвардии... – Майор Лавренов сделал паузу. – ... еще не подписан.

Игнатьева прыснула в ладонь, и Воронцов заметил, что у нее красивые руки. Красивые и ухоженные. Да, такое лицо, такая улыбка и такие руки могут свести с ума. Но надо уходить. Иначе неподписанное назначение так и останется не подписанным и завтра полетит вон в ту железную печь вместе с другими ненужными бумагами.

– А кто его должен подписать? – Майор Лавренов налил себе в рюмку коньяка и залпом выпил. И постучал себе пальцем в грудь. – Я. Могу подписать, а могу и не подписать. Я к тебе, Воронцов, еще должен присмотреться. Я тебя не знаю.

– Я в полку с зимы сорок второго, – сказал Воронцов.

– С зимы сорок второго... А сейчас зима сорок третьего.

Начинался пьяный бред. Наверняка майор Лавренов прибыл в штаб, уже хорошенько выпив. И эти три рюмки коньяка, как говорят в окопах, пошли уже не туда. «Но почему он не хочет меня отпускать, – недоумевал Воронцов. – Да и зачем вызвал среди ночи, когда у него в гостях красивая женщина?» И вдруг его осенило: значит, это ее условие – чтобы с ними за столом, в ночном блиндаже, был еще кто-то. Лучше незнакомый. Чтобы потом в полку не судачили. Старший лейтенант, прибывший из армейского офицерского резерва за назначением, для этого подходил идеально.

Воронцов не знал, как ему поступить. Если эта бутылка – последняя, то можно и остаться. А там все решится само собой, уступая самому себе, решил он и сел на табуретку. В то же время он проклинал и себя, и эту

врачиху: не окажись здесь ее, он давно бы улизнул из штабного блиндажа и уже давил бы ухо в землянке по соседству. Землянка уютная, натоплена жарко. И он позавидовал офицерам связи, которые преспокойно спали сейчас на тесовых полатах, смотрели свои заслуженные сны в ожидании своего поезда, который мог прибыть в любую минуту.

Когда французский коньяк кончился, майор Лавренов, солидно отдуваясь и поблескивая Золотой Звездой, извлек из стола бутылку рома. Оттуда же достал пакет с закуской: хлеб, шоколад, мясные и рыбные консервы, порядочный кусок холодной говядины. Говядина на майора Лавренова, видимо, произвела особенно сильное впечатление. Он усталился на нее и сказал:

– Почему я об этом раньше не знал. Ярощук, черт бы его побрал, никогда толком ничего не сделает. – И он принялся резать говядину широким охотничьим ножом.

– Воронцов, – спросил он вдруг, – ты, случаем, не охотник?

– Охотник, – признался Воронцов.

– Правда?! – Майор Лавренов даже нож опустил. – А, ну да, в батальоне Солодовникова все охотники. Лось? Кабан? Или так, по перу?

– Дед у меня охотник, – сказал Воронцов. – А я... Меня он просто брал с собой.

– Ну, Воронцов, ты это должен знать – натаска на охоте дело наиважнейшее. Кабана-то валил?

– Валил.

– Ну вот. Как-нибудь сходим. Ружья у меня есть. Ты, Воронцов, не представляешь, какие у меня ружья! Трофеи. Зауер и Сын, с маркой «Три кольца»! Стволы специальной крупповской стали. Левый – «чок», правый – «бор». Ты когда-нибудь встречал такое сочетание, Воронцов? «Чок»-«бор»! Хрен ты такое где видел! А у меня есть.

Станный человек, этот майор Лавренов. Воронцов слушал его, стараясь не смотреть в сторону Игнатьевой, которая, он это чувствовал виском, не сводила с него глаз, и не мог избавиться от чувства, что командир полка либо прощупывает его, либо просто провоцирует и готовит какой-то подвох. На фронте за два с половиной года он повидал всяких людей и всяких командиров.

## Глава седьмая

Это была первая зима без немцев, без внезапных наездов полицейских из Андреенок, без казачьих пьянок по вечерам в школе под визг гармошки и приезжих женщин. Впрочем, снег падал точно так же, как и в прошлую зиму, и как в первую военную, когда в Прудки пришел Курсант и остался у Пелагеи в примаках. Ох, сестрица, сестрица, горевала Зинаида, глядя на русые ребячьи затылки. Пелагеины сыновья за столом всегда выстраивались в ряд, по ранжиру и терпеливо ждали с ложками наготове.

– А что, доча, – сказал осенью Петр Федорович, перекладывая в угол обрезки половых досок, – стол-то наш маловат стал. Не сделать ли нам новый?

– Да надо бы, тятя, – обрадовалась Зинаида. – Только теперь уж надо делать большой!

– Знамо, что большой. Чтобы сразу, всем колхозом – к общему чугунку. – И Петр Федорович засмеялся. – На все десять душ! Вот какой стол надобен! А, доча?

В глазах отца играла какая-то искра, но сразу разглядеть ее Зинаида не смогла. Она на мгновение задумалась и возразила:

– На девять. Ребят-то – пятеро. И нас четверо. – И вопросительно, с ожиданием, посмотрела на отца.

– Тоже пятеро.

– Кто ж пятый? – улыбнулась Зинаида, сразу догадавшись о том, что имел в виду отец.

– А жених твой. Курсант. Топор! – И Петр Федорович, даже не оглянувшись на дочь, тут же, не откладывая, принялся вытаскивать из штабеля нужные доски.

– Он уже не курсант, тятя. Старший лейтенант.

– Да знаю-знаю. Ишь, загордилась. Как своим.

Старшие внуки помогали Петру Федоровичу. Прокопий строгал на верстаке доски и заготовки для ножек. Федя держал. Колюшка заметал обрезки и опилки. Улита и Алеша сидели на лавке у окна и играли со стружками.

Несколько дней заготовки лежали на печи, белели в головах у спящих детей, наполняя дом смолистым запахом леса и одновременно напоминая о сосновом боре на хуторе Сидоряты. Потом Петр Федорович снова разложил их на полу у окна. Дождлся из школы старших внуков. Пока

старуха кормила детей, снял с гвоздя фуганок, принес молоток и стамеску. Инструменты нуждались в заточке. Он выбил из фуганка широкую лезгу, достал из стола брусок, поплевал на него и принялся поправлять жало. Затем так же основательно поточил стамеску.

– А ну-ка, Прокошка, неси свой школьный карандаш, – приказал он старшему. – Будем размечать наши заготовки.

К вечеру, когда уже улеглись на печи младшие, Петр Федорович с помощью Прокопия и Анны Витальевны, которая к тому времени тоже вернулась из школы, поставил стол на ножки. Пахло столярным клеем и свежим деревом. Анна Витальевна втянула тонкими ноздрями воздух жарко натопленного жилья и сказала:

– Как хорошо у нас пахнет!

– Чем же? – добродушно усмехнулся Петр Федорович.

Она еще раз потянула ноздрями и сказала:

– Свежим, молодым деревом и спящими детьми. И хутором! – вдруг призналась она.

– Ну да. Так оно и есть. – Петр Федорович осторожно провел ладонью по гладкой, отшлифованной поверхности. – Вот я и думаю, красить его или не надо. Может, пускай таким останется?

– Конечно, пусть будет так, – живо согласилась Анна Витальевна. – Очень красиво.

– Вам нравится?

– Очень даже нравится! Так и хочется потрогать. А вы, Петр Федорович, оказывается, настоящий мастер! Прямо столяр-краснодеревщик!

– Завтра уже можно скатертью застилать. – И, посмотрев на Анну Витальевну, строго напомнил: – Про хутор и озеро всем нам лучше помалкивать. Даже в разговорах между собой. Пускай и дети забывают. Мало ли какой человек их может спросить. Так будет лучше всем нам. Вот так-то, Анна Витальевна.

Она ответила тем же пристальным взглядом, в котором было и понимание, и согласие, и молча кивнула.

Анна Витальевна работала в школе. Вела уроки русского языка и литературы, а в последнее время еще и географии, и немецкого языка. Занятия проводились в колхозном правлении, в тесных комнатухах. Но буквально на прошлой неделе пришло распоряжение: пилить лес в Красном лесу и хлыстами вытаскивать в Прудки, чтобы к весне сделать новый сруб для школы. Учителям, согласно этому документу, предписывалось принять в строительстве новой школы самое деятельное и непосредственное



участие и на первых порах отработать в лесу по десять дней безвозмездно. Уроки при этом не отменялись.

Петр Федорович собрал в правлении свой актив, стариков, плотников. Начали думать, как лучше поступить. То, что стены будущей школы надо вывести до начала весенних работ, обсуждению не подлежало. Но вот вытаскивать хлысты за несколько километров, по заметенным дорогам, а то и вовсе без дорог... Все понимали, что и коней так можно угробить, и люди вымотаются. Хромые да калеченые – какие работники? И тогда решили рубить колодец прямо в Красном лесу. Петр Федорович сразу прикинул, что, если так, то еще по снегу или сразу, как только подсохнут дороги, сруб они управятся вывезти в Прудки, а там за несколько дней набросают на фундамент. Фундамент они уже подправили. Знали, что рано или поздно школу придется ставить на прежнее место, по тем же углам. Петр Федорович как-то заметил, что из фундамента начали потихоньку выламывать, выбивать кирпичи. Там угол раскрошили, там целый ряд сняли. Если так и дальше пойдет, растаскают на печи все до основания, и спросить будет не с кого. В конце лета выкроил день, организовал воскресник. Намесили глины с песком и залатали дыры и проломы, закрыли ленту фундамента от дождей и снега старым железом и обломками шифера.

Петр Федорович смотрел на новый стол, на широкую, как дверное полотно, столешницу и тоже радовался тому, что все постепенно налаживается, что назавтра уже выдан наряд в лес, старики начнут валить сосны и расчищать место для того, чтобы во всю ширь, по нужному размеру разложить венцы. И сказал Анне Витальевне:

– Завтра в Красный лес поедем. Начнем школу вам рубить. За лето, глядишь, и поставим. Так что последнюю зиму вам тесниться, Анна Витальевна.

– Спасибо, – сказала она. – Дети будут рады. Я думаю, что в новых классах мы сможем повысить успеваемость.

Вскоре вернулась домой Зинаида. Устало повесила на гвоздь телогрейку и опустилась на лавку. Анна Витальевна тут же сняла с нее валенки и принесла с печи шерстяные носки. Петр Федорович вздохнул, покачал головой и сделал знак старухе, чтобы накрывала ужинать.

Зинаида работала в бригаде. Приходилось выполнять разные работы. В эти дни, когда основательно подморозило и лег снег, бригада вывозила в поле навоз. Вначале вычистили станки в конюшне, потом принялись за бурты возле коровника. Навоз загружали вилами, потом, в поле, точно так же, вилами, скапывали его с саней. Что и говорить, работа не женская. Но

где их теперь взять, мужиков? Те, которые есть, заняты на плотницких работах. А завтра – в лес. И теперь, глядя на дочь, он только вздохнул. Анна Витальевна не раз заговаривала с ним вот на какую тему: Зинаиде необходимо учиться, она может стать очень успешным врачом и в этом качестве будет гораздо более полезной людям, чем простой рабочей в полеводческой бригаде колхоза им. Калинина.

Учиться... Это ж надо отпустить дочь в город, а может, даже в Москву. Во-первых, далеко. Сам он в Москву ездил всего лишь дважды. Один раз еще когда был мобилизован в армию, в 1914 году. В другой раз ездил на сельскохозяйственную выставку, за три года до начала новой германской войны. Оба раза дорога показалась ему длинной и мучительной, как на край света. Во-вторых, Зинаиду надо отпускать в поездку одну. Кто за ней там, в чужом городе, присмотрит? Кто за нее там заступится? Мало ли что в такое тревожное время может случиться с двадцатилетней девушкой, у которой рядом ни родных, ни близких? В-третьих, Петр Федорович сомневался, сможет ли его дочь там прожить на стипендию? Хотя картошек бы, да сальца, да соленых грибочков, да еще чего-нибудь он бы ей, конечно, переправлять время от времени смог бы. В-пятых... Вот это было самое трудное. На кого оставить детей? Старуха его, Евдокия Федотовна, стала частенько прихварывать. Анне Витальевне, хоть она уже и говорила, что возьмет все заботы о детях на себя, недосуг. Утром уходит в школу и только вечером оттуда возвращается. Там ведь тоже дел немало. А теперь вот еще и в лес гонять начнут. По разнарядке. Так что пока не получалось с Зинаидиной учебой. Никак не выходило. Куда ни кинь, а дочь здесь нужна, в Прудках, в семье.

И все же Петр Федорович понимал, что жизнь, какой бы тихой она ни казалась им здесь, в Прудках, в стороне от войны и больших дорог, вдали от райцентра и большого начальства, не стоит на месте. Родник в колодце и тот поменял ключ и бьет теперь под самым срубом двойным и более сильным ключом. Что ж ты хочешь, корил он самого себя, век ее здесь продержат, чтобы и она измучилась и состарилась среди забот и нужды? Вот почему он так обрадовался, когда из района за подписью председателя райисполкома пришло распоряжение, а следом за ним и письмо заведующего райотделом народного образования с просьбой выделить людей для строительства новой школы. Кое-какие средства выделялись. А это означало, что будут гвозди, кровля, пиломатериал для обрешетки, потолков и полов. К новому учебному году они конечно же постараются своими силами срубить стены, перекинуть их балками и подстропными, поднять стропила. Найдутся и печники, если из района завезут кирпич. А

там, глядишь, в райисполкоме и в его положение войдут, Зинаиде направление на учебу в институт выпишут. Ну, пускай даже и не в институт, а хотя бы в техникум, где учат на фельдшеров. Фельдшер-то им в Прудках ого-го как надобен. Недавно бык доярку поранил. Хорошо, Зинаида неподалеку оказалась. Сбегали за нею в поле. Приехала, взяла свою сумочку и отрятовала пострадавшую. Промыла, обработала рану, перевязала. Так что, когда повезли доярку в райцентр, в больницу, хирург, который вел прием, осматривая рану, сказал, рана уже неопасная, первая помощь оказана вполне квалифицированно, повязка наложена правильно. Когда ему сказали, что первую помощь оказывала рабочая из полеводства, тот удивился и уточнил фамилию.

Вот к нему-то, к хирургу, который всю жизнь проработал в райбольнице и мог знать многое и многое им подсказать, Петр Федорович и решил как-нибудь зайти с деревенскими гостинцами, поговорить, посоветоваться. Хотя бы для начала разведать, что да как и куда лучше ехать, чтобы взяли, чтобы приняли, вошли в положение. Не так-то просто туда поступить.

Петр Федорович спросил однажды Зинаиду:

– Доча, я понимаю, учиться тебе надобно. А ты-то сама хочешь?

– Хочу, тятя! Очень хочу! Мне даже во сне снится, как я надеваю белый халат. Вот надеваю его, а он у меня шуршит, как живой! Как крылья! Представляешь, тятя! – И тут же радостные лучики в ее глазах потуснели. – Только вот... как же я их оставляю? – И посмотрела на детей.

– Справимся. Мы с матерью еще живые. Анна Витальевна, даст бог, не бросит нас. А? Вот на лето и готовься. Как ты думаешь?

– Как вы с мамой решите, тятя. Я готова и на лето. Лишь бы ваше с мамой согласие было.

– Наше согласие... Ты о себе думай. В этой жизни наше дело уже прошлое.

– Вот я и думаю. А на учебе, если я туда попаду, уж я там постараюсь.

– Постараюсь... – И Петр Федорович обнял дочь. – Знаю, ты у нас старательная. Не упустишь своей судьбы.

После того разговора он заметил, что вечерами Зинаида стала засиживаться за учебниками. Ей помогала Анна Витальевна. Вот ведь, подумал, в голову взяла. Значит, всерьез задумалась.

Новый стол на другой же день застелили чистой скатертью и сели обедать всей большой семьей. А вечером, после ужина, Зинаида зажгла керосиновую лампу и поставила ее на середину столешницы, чтобы света хватало всем: Прокопию и Феде, усевшимся за уроки, Анне Витальевне

проверять тетради и ей.

Зинаида положила перед собой учебник анатомии. Полистала его. Но чтение дальше одной страницы не пошло. Она вырвала из тетради двойной лист, попросила у Прокопия ручку, пододвинула к себе чернильницу и написала вверху: *«Здравствуй, дорогой наш Сашенька!»*

Закончив первую фразу, Зинаида пробежала ее несколько раз глазами и к горлу подкатил комок. Она украдкой взглянула на Прокошу и Федю, прислушалась к шелесту тетрадей Анны Витальевны. На мгновение шелест затих, дыхание Анны Витальевны тоже замерло, и Зинаида поняла, что та смотрит на нее. Она сглотнула комок и оглянулась. Анна Витальевна опустила голову и как ни чем не бывало продолжала просматривать очередную тетрадь.

Зинаида испытывала к ней огромную благодарность, в том числе и за такие минуты. В какой-то момент Анна Витальевна заменила ей сестру. Хотя это невозможно. И тем не менее с появлением на хуторе этой женщины, по сути дела чужой, неизвестной и во многом загадочной, боль по погибшей Пелагее притупилась, стала иной. Зинаида понимала, что это чувство взаимное, что и Анне Витальевне она отчасти заменила кого-то, без кого порой бывает невыносимо тяжело. Но самое главное, что их роднило и что подавляло порой возникавшие трудности общения, в основном бытового характера, которые в иных обстоятельствах могли бы быстро перерасти в непреодолимые взаимные претензии, – дети. Но было и другое, что их сближало, пожалуй, сильнее сестринства. Об этом, другом, они старались не разговаривать. Хотя всегда это держали в своих сердцах. Мысли и одной, и другой были опрокинуты в прошлое и будущее одновременно. Настоящее же воспринималось как временное недомогание, которое скоро пройдет, да и терпеть его все-таки можно. И там, в их прошлом и будущем, они видели своих мужей. Да, именно мужей. Хотя никто не регистрировал и не свидетельствовал их браки. Единственными их свидетелями были война, хутор у озера да лес. А пусть и так, думала Зинаида. Пусть так, думала и Анна Витальевна.

В этот раз Зинаида проводила Воронцова уже как мужа. И все это заметили. Евдокия Федотовна вздохнула и утерла уголком подшальника внезапную слезу. По ком она была, та нечаянная материнская слеза? По младшей дочери, которая только-только встретила свое счастье и вот уже провожает его? Вернется ли? По старшей? А может, по нем, ушедшему в неизвестность уже не чужим человеком? Петр Федорович нахмурился. Анна Витальевна потупилась, втайне переживая, еще раз, свое расставание с Радовским. Заплакали Федя с Колюшкой. Прокопий долго не отпускал

руку Воронцова и молчаливо, с надеждой, которую невозможно было обмануть, смотрел ему в глаза. Так расстаются с отцом. И только Улита и Алеша продолжали играть под ракетами, барахтаясь в мерзлой, покрытой инеем листве.

Все это – вся картина их расставания, мгновенно пронеслась перед глазами Зинаиды, и она снова обмакнула перо в чернильницу.

*«Пишут тебе твои Улита, Прокопий, Федор, Николай, Алеша с Анной Витальевной, Петр Федорович, Евдокия Федотовна и я, твоя Зинаида».*

Сердце все же не выдержало и на этот раз она себя выделила особо. Ей сразу стало легче и словно бы веселее. Она как будто увидела его – там, за километрами крошечной мглы, снегов и метелей, – живого и невредимого, улыбающегося ей своей доброй мягкой улыбкой, которую она всегда видит, засыпая вечерами и просыпаясь по утрам. В другое время и в других обстоятельствах от этого навязчивого видения можно было бы сойти с ума, но теперь оно помогало ей жить и находить силы для того, чтобы одолеваять все заботы, которые судьба взваливала на ее плечи.

Дети учили уроки. Прокоша что-то постоянно подсказывал Феде. Иногда в их диалог вмешивалась Анна Витальевна. А Зинаида уже парила в ином пространстве. Она разговаривала с тем, кого полюбила всем своим юным и доверчивым сердцем. Если бы он был сейчас хотя бы чуточку ближе и к нему можно было прийти, она бы не раздумывая побежала через снежное поле, через лес... Она нашла бы его. Как уже нашла однажды. Нет-нет, только не заплакать... Анна Витальевна все видит, только из деликатности делает вид, что занята тетрадями. Да и дети переполошатся, кинутся к ней и начнут успокаивать. Особенно Прокоша. У него очень чуткая душа. Как у матери. Пелагея была такая же. Пелагея, сестрица... И новая волна нахлынула на нее. Но прежний образ она не вытеснила. Так и стояли они перед ее мысленным взором, сменяя друг друга, словно мерцающий вдали, в морозном недостижимом пространстве, звезды: Саша и Пелагея.

*«Сообщаю тебе о том, что у нас все хорошо. Живем лучше. Всего хватает. Дети сыты. Прокоша и Федя ходят в школу. Анна Витальевна за ними присматривает. Ей, как учительнице, выдают кое-какие продукты и бесплатные дрова. По твоему аттестату получаю исправно. В доме теперь тепло. Из остатков досок тятя сделал стол. Большой, на всю семью. Теперь мы сидим все за одним столом. Ребята учат уроки. Анна Витальевна готовится к занятиям. А я тебе пишу письмо. Тятя рад, что угодил нам, и теперь решил сделать и стулья. Десять стульев – на всю семью. Десятый – для тебя, Сашенька. Не забывай нас, как мы не*

забываем тебя.

Я все время думаю о тебе и жизни своей уже не представляю без тебя. Береги себя. У тебя дочь. Она тоже по тебе скучает. Я ей иногда показываю твою фотокарточку. Видел бы ты, какие радостные у нее становятся глаза!

Я работаю в колхозе на разных работах. За трудодни.

Иногда, в свободное время, повторяю школьную программу. Думаю, что эти знания мне еще пригодятся. Мне помогает Анна Витальевна. Хочется стать настоящим врачом. Люди в нашей местности очень нуждаются в медицинской помощи. Говорят, скоро снова начнут открывать сельские фельдшерско-акушерские пункты. Вначале в самых больших населенных пунктах, где есть сельсоветы. А ни фельдшеров, ни медсестер нет. Значит, будут посылать на учебу способных. Вот бы и мне выучиться на фельдшера! Я бы день и ночь учила все необходимое по этой профессии. Плохо, конечно, что нельзя учиться заочно.

Степанида Михайловна Ермаченкова сказала, что получила письмо от Иванка. Иванок пишет, что часто видится с тобой. Ни от сестры его, ни от других ребят, угнанных в прошлую зиму немцами и полицией, никаких вестей нет.

В Прудки вернулись еще двое мужиков. Оба – инвалиды. Ты их не знаешь. Их уже не ждали, считались без вести пропавшими. Так что, возможно, вернутся домой и другие, кто числится как пропавший без вести. А таких в деревне много.

Не замерзаешь ли ты на фронте? Я свяжу тебе носки и рукавицы. Можно ли это тебе выслать? Напиши, как выслать тебе небольшую посылочку?

Написала много, а словно ничего и не сказала, что хотела сказать. Потому что душа осталась невысказанной. Когда вернешься, когда свидимся опять, я тебе расскажу все-все. Не знаю, почему я постеснялась тебе высказать свою душу в этот раз. И ты тоже не все мне рассказываешь. Знай, что к Пелагее я тебя нисколько не ревную. Знаю, ты думаешь о ней и тоскуешь. Я любила Пелагею, люблю ее детей, как если бы они были моими, а потому понимаю и твою любовь. Сестра была очень доброй, отзывчивой. На все и на всех хватало ей забот и ее чистой души. Как я скучаю по ней! Иногда сердце мое разрывается от одной только мысли, что она больше не придет к нам, не обнимет и не скажет: «Сестрица...» И только то, что где-то существуешь ты, родной Сашенька, дает силы преодолеть эту боль.

Ты написал, что побывал в своем родном селе и повидал маму и

сестер. Это большая радость, что они живы и у них все хорошо. Весной, перед посевной, тятя собирается туда съездить. В Рославль, на станцию, придут вагоны с семенами для колхозов нашего района. Семена вывозить нужно самим. Поедет целый обоз. Уже сейчас Иван Лукич готовит телеги. Ремонтирует колеса и оси. К весне все должно быть готово. У нас в колхозе, ты знаешь, народ заботливый, заправливый, работающий. Может, и я за семенами с тятей поеду. Ты не против, если мы твоих родных проведем? Ты написал, что рассказал им об Улите. Вот и правильно. Это же их внучка и племянница.

На этом заканчиваю. Ребята уже улеглись спать. Анна Витальевна тоже ушла спать. Я смотрю в окно, за которым ночь, и мне кажется, что ты стоишь за окном в саду и смотришь на меня. Ты никогда ко мне так не приходил. Зимой, по снегу, как приходил к Пеллаге. Она мне все о тебе рассказала. И за твою любовь к ней, и за твое отношение к ее детям, я тебя, милый мой Сашенька, люблю еще сильнее. Приходи. Возвращайся. Я тебя всегда жду.

Твоя Зинаида Бороницына.

Декабрь 1943 года.

Деревня Прудки Андреенского сельсовета».

## Глава восьмая

Неожиданно, чего раньше не случалось никогда, напозла слеза, и цель, словно почувствовав опасность, закрылась маскировочной сеткой. Иванок смахнул слезу и почувствовал, что она липкая. Тогда он понял, что это кровь. Значит, пулеметчик уже отреагировал на его выстрел. Когда перезаряжал винтовку, в лицо ударило снегом и каленой крошкой мерзлой земли. Очередь прошла совсем рядом. Сразу несколько пуль. Пулеметчик стрелял прицельно, кучно.

Вспышку первого выстрела Иванка конечно же засекли. Снайпер, как учил его Воронцов, больше одного раза с одной позиции не стреляет. Но тут другой случай. Да и он здесь, на нейтралке, вовсе не снайпер. Хотя и со снайперской винтовкой. Надежда была на то, что немцы, ошарашенные артналетом на основные огневые точки опорного пункта, не обратят внимания на его стрельбу. Обратили. Причем пулеметчик. Ответил мгновенно. Только поспешил. Очередь прошла мимо. Теперь – кто кого. Уничтожить пулеметный расчет и быстро уходить, колотилось в груди у Иванка. Его тоже не отпускал азарт охотника.

Один, два, три... Он надавил на спуск. Попал, сразу понял он. Пулемет умолк. Он еще раз посмотрел в прицел. Амбразура опустела. Пулемет торчал стволом вверх и парил, основательно перегретый. Иванок подхватил винтовку, на бегу перебросил ремень через голову. Капюшон сбивался на глаза, он рванул его на затылок, чтобы не мешал. Теперь все решали секунды.

Лейтенант стоял на коленях, упершись головой в бронецит, пробитый в нескольких местах, и торопливо бинтовал ногу. Кровь, как по тонкой снежной корке, расплывалась по свежей повязке. Задело основательно, сразу понял Иванок и крикнул:

– Кость цела?

– Не знаю. Боли не чувствую. Немеет все. – Голос лейтенанта становился вялым, тусклым.

– Рация?

– Кажется, жива.

– Тогда и мы поживем. Передай своим, чтобы дали парочку дымовых. Пусть положат поближе к нам. Ветер на деревню потянет. Тогда сможем отойти незаметно.

Иванок перехватил бинт из вялых рук лейтенанта. Ему становилось



все хуже. Пуля вошла чуть выше колена, в верхнюю часть мышцы, видимо, под углом. Так что неизвестно, где она засела.

– Давай, Леник! Давай! Передавай поскорее! Видишь, пулемет опять лупит.

Пулемет в доте опять ожил. То, что он попал, Иванок не сомневался. Значит, к пулемету встал еще кто-то. Уж он-то, разведчик, знал, что у немцев в пулеметных расчетах бывает и по три, и по четыре номера. Смотря какая задача.

Перед деревней почти одновременно с разбросом в пятьдесят метров легли три снаряда, и из неглубоких воронок над припорошенной серым снегом стерней поволокло косяк рыжеватого дыма. С каждым мгновением дым становился гуще. Наконец он сомкнулся и единым густым облаком потянул в сторону Дебриков.

– Пора! – И Иванок перекинул через плечо рацию, подхватил другой рукой лейтенанта и потащил его в сторону леса.

Они ковыляли по стерне, спотыкаясь на мерзлых комьях суглинка, хрипло дышали, хватали морозный воздух.

– Беги один! Все равно не дотащишь! Только рацию возьми! – И лейтенант-артиллерист попытался оттолкнуть Иванка.

Но тот крепко держал его поперек тела.

– Вперед! Вперед! Разведка своих не бросает!

– Ты из разведки?

– Из разведки.

– А почему у тебя винтовка снайперская? Мне сказали, что ты снайпер.

– Правильно сказали. Давай-давай, помогай мне, переставляй ноги поживее. У меня приказ – вытащить тебя даже мертвого.

– Неужели? – попытался засмеяться лейтенант, но только закашлялся и стиснул зубы от боли; видимо, кость все же была задета. – От таких слов... мне стало легче.

– Вот видишь.

Иванок оглянулся и остолбенел. В волнах дымовой завесы мелькали фигуры в грязно-серых масках. Это были немцы. Он мгновенно разгадал их расчет. До леса еще порядком. А под покровом дыма немцы успели подобраться к ним довольно близко. Наверняка немцы рассчитывали захватить их в бронетранспортере. Но они успели оттуда уйти. Немцы не стреляли. Что и говорить, очень ценные «языки»: один – лейтенант из артполка, другой – разведчик из взвода конной разведки штаба полка. Но его, Иванка, если захватят, далеко не поведут. Снайперская

винтовка. Если захватят со снайперской винтовкой, повесят на первом же дереве вниз головой. Такие виселицы он уже видел. Пленных снайперов сразу рвали на куски. Так же, как летчиков и танкистов. Вот почему у пленных немцев он никогда не видел снайперских винтовок. Прежде чем поднять руки, они их выбрасывали, закапывали в землю, топили в воде или в болоте, бросали под свои танки.

«Спокойно», – приказал себе Иванок, – я еще не в плену». Он огляделся. Погоня приближалась довольно быстро. Немцев всего четверо.

– Быстро! Туда! Лежи! Не двигайся!

Иванок снял винтовку, дослал патрон в патронник, прицелился. Не спеши, не спеши, успокойся, беззвучно шелестел он пересохшими губами. Мазать нельзя. Спокойно. Вот так. Один, два, три... Выстрел! И перемещавшаяся в перекрестье прицела мешковатая фигура в изодранном до лохмотьев маскхалате завалилась набок. Теперь крайнего с другой стороны. Один, два, три... Выстрел! Немец с разбегу сунулся в снег, как будто залег для стрельбы лежа. Но выстрелов оттуда не последовало. В магазине оставался последний патрон. Новую обойму вставить он попросту не успеет. Последний патрон. Иванок толкнул вперед затвор. И в это время над головой со стороны леса прошла трасса, слышался басистый стук крупнокалиберного пулемета. Немцы сразу залегли и начали торопливо отползать назад, к бронетранспортеру.

– Ну, вот так, ектыть! – И Нелюбин поднял голову над щитом ДШК, утер кулаком напряженную слезу.

Капитан Солодовников посмотрел в бинокль и одобрительно кивнул:

– Да, Кондратий Герасимович, быстро ты сменил декорации.

– Малого жалко. Нашли кого послать.

– Ползут. – Комбат долго не отрывался от бинокля. – Твои ребята пошли. Сейчас приволокут.

– Слава тебе, Господи. Лавренов за артиллериста и за рацию голову бы снял.

– Да уж. Не обходит тебя Лавренов своими милостями.

Все в полку знали, чью Звезду носит на своем кителе, пошитом из прекрасного генеральского сукна, майор Лавренов.

После драки на днепровском плацдарме старший лейтенант Нелюбин около месяца провалялся в армейском госпитале. В глубоком, по его представлениям, тылу, километров за сто от фронта. В тишине, в тепле, в женской заботе и холе. Чего еще может желать солдатская душа, насквозь пропахшая сырым вонючим окопом?

Оказывается, может. Именно здесь, когда Кондратий Герасимович

наконец освободился от забот о своих солдатах, от каждодневных докладов взводных командиров, от опасности, которая могла прилететь в любое мгновение с той стороны, из-за кольев с колючей проволокой, он снова затосковал о доме. Раны уже подживали, затянулись, и свежие рубцы, еще не загрубевшие, младенчески-нежные, зудели, будто искусанные платяными вшами места. Но его пока не выписывали, держали по категории выздоравливающих. Год назад с такими ранами он уже хромал бы в свою роту. В родные Нелюбичи на реку Острик Кондратий Герасимович тоже не попал. Уже выстроился в голове план, как побывать дома, заглянуть на часок-другой, хоть словом перемолвиться да повидать своих родных, уже договорился с водителем полуторки, который каждую неделю мотался по Варшавке в дальние колхозы за картошкой и фуражом для лошадей, уже выкурил с ним несколько пачек папирос в счет будущей услуги, но тут пришел приказ из штаба армии, согласно которому в госпитале срочно собрали комиссию и провели жесткое переосвидетельствование выздоравливающих. Кондратий Герасимович попал в первую же группу офицеров, направленных в распоряжение штабов своих дивизий. В самый последний день перед отправкой на его имя пришел ответ на запрос, который Нелюбин сделал через начальника госпиталя по месту жительства. Из военкомата коротко сообщили, что деревня Нелюбичи уничтожена фашистскими оккупантами во время их отступления летом – осенью 1943 года, что никакими сведениями о его семье военкомат не располагает.

– Затаскивай, затаскивай их сюда! – командовал Нелюбин, наблюдая за тем, как двое его санитаров подхватили корректировщика и его напарника и бегом волокут по стерне к лесу.

Когда Иванка столкнули через бруствер в траншею, когда Кондратий Герасимович удостоверился, что тот жив и даже не ранен, он вздохнул с облегчением и, пряча за пазуху бинокль, сказал комбату:

– Ну, Андрей Ильич, вот и закончили мы атаку. Проку большого не вижу. Но, ектить, страху, кажись, нагнали порядочно. Если немцы приняли нас всерьез, то усилят опорный пункт чем-нибудь навроде «ишаков» или парочкой штурмовых орудий. И тогда покоя нам не будет. Потому как ему надо будет их сперва пристрелять, а потом парой-тройкой снарядов реагировать на каждое наше шевеление. – И он почесал зудевшие шрамы на груди.

– Покоем, Кондратий Герасимович, насладимся после войны. – Капитан Солодовников закурил. Курил он с облегчением, пуская дым через ноздри и щуря глаза.

– После войны? – рассеянно переспросил Нелюбин.

– Да.

– А ведь такое время когда-нибудь действительно наступит.

– Что, трудно представить? Просто мы отвыкли от нормальной жизни. – Комбат выпустил через ноздри табачные струи и сказал: – Вчера мои разведчики приволокли «языка». В ранце нашли неотправленное письмо. Солдат совсем молоденький, вроде твоего крестника из полковой разведки. Письмо перевели.

– И что он, этот ганс, домой пишет?

– А то, что и мы. Там, между прочим, были и твои слова.

– Какие мои слова?

– Которые ты только что произнес, о том, рано или поздно, а такое время наступит, когда мы вернемся с войны.

– Ты думаешь, наступит?

Солодовников ответил не сразу, но утвердительно:

– Наступит.

Нелюбин выглянул в поле, посмотрел на Дебрики и покачал головой:

– У нас в деревне бондарь был. Данила. Мужик смирный, тверезый. А баба у него – злющая! Жили они бедновато, с хлеба на квас, что называется. Девоч – полон двор. Дочери. Бывало, две лавки углом в горнице сдвинут, сядут – и младшим места не хватает. И два раза в году баба его, Данилиха, приносила ему из сельпа по четверточке зеленой. На Покров и на Пасху. И Данила выпивал. Выпьет ту крохотку, закусит огурцом и – к нам, на улицу. А мужики уже – хор-рошие! Данила бы тоже выпил, а – не на что. В складчине участвовать нечем. И все, бывало, говорил: когда-нибудь, мол, и я напьюсь. Так и помер. Никто его ни разу пьяным не видел.

– Хорошая у него была мечта. – Комбат вздохнул. – Все войны когда-нибудь кончаются. – Он снова затыкнулся, пустил дым через ноздри, так что казалось, что на нем задымилась то ли шинель, то ли шапка. – И возможно, это самое отвратительное, что ждет нас впереди.

– Нет, Андрей Ильич, тут я с тобой не согласен. Впереди нас ждет победа.

– Черта с два она нас ждет. За нее мы еще не один состав батальона положим. Ну что задумался, Кондратий Герасимович? Пойдем-ка выпьем. А? Хватить его в душу! Все остальные песни – печальные. Вот доложу сейчас хозяину, как прошла атака, и посидим у тебя на НП. Не против?

– Да я всегда такому гостю рад!

– Ну, я тебе, Кондратий Герасимович, не гость, а непосредственный

командир. А во-вторых, пошли-ка своего вестового за Сашкой Воронцовым. Посидим вместе. Нас, таких, кто с самой Зайцевой горы, в батальоне раз-два и обчелся.

– Сашка кой-кого собрал. Несколько человек у меня, в Седьмой. Воюют хорошо.

– Я сегодня минометчика твоего видел. Он?

– Он. Сидор Сороковетов. Маршал наш. С тех пор, как его, раненого, с плацдарма эвакуировали, из Седьмой ни ногой. Отпускал к своим, в минометную роту. Иди, говорю, Сидор, все же в тылу воевать будешь. Нет, говорит. Так и остался.

– Как же он без миномета?

– Есть у нас парочка трофейных, – прищурился Нелюбин. – Без минометов нам нельзя.

– Эх, Кондратий Герасимович, любишь ты нештатное оружие! Председательские свои замашки бросить не можешь. Дай тебе волю, ты б, наверно, и танк в роту завел!

– А это ж так: которое дерево со свилью выросло, со свилью ему и повалиться...

С командного пункта Седьмой роты Солодовников связался со штабом полка. Майор Лавренов сразу задал несколько вопросов, которые, как понял Нелюбин по ответам комбата, касались в основном результатов артиллерийской атаки. Немного погодя Солодовников положил на рычаг трубку и сказал:

– Похоже, на сегодня накрылись мои сто пятьдесят с огурчиком.

Нелюбин вопросительно посмотрел на комбата.

– К себе вызывает. Срочно. Все командиры батальонов, начальники штабов должны быть через час в штабе полка.

– Как думаешь, что это может означать?

– Хозяину давно не терпится отличиться.

– Он уже отличился. – И Кондратий Герасимович отвернулся.

За днепровский плацдарм Нелюбин имел орден боевого Красного Знамени. Но в роту никто не помнит, чтобы он его когда-нибудь носил. Старенькая, с отбитой эмалью и изношенной колодкой медаль «За отвагу» висела на его гимнастерке да разноцветные нашивки за ранения. Всегда покладистый, склонный к компромиссу старший лейтенант Нелюбин на этот раз стоял в своем окопе твердо. И когда однажды майор Лавренов спросил его, почему он не носит орден, Кондратий Герасимович тут же, как давно заготовленное, выложил:

– Это не мой орден.

– Как не твой? А чей же?

– Моего замполита лейтенанта Первушина Игоря Владимировича. Представление на него писал собственноручно. Помните такого? Он первым Днепр переплыл и на правом берегу закрепился. И представление мое должны помнить, потому как вы его и подписывали.

– Не дури, Нелюбин, – скрипнул зубами майор Лавренов. – Ну, погоди у меня...

Когда кто-либо из офицеров произносил слово «Днепр», майор Лавренов, казалось, вздрагивал, выпрямлял спину, будто к ней прикладывали кусок льда, и бледнел. Чаще всех, как ему казалось, это проклятое слово в полку произносил командир Седьмой гвардейской роты старший лейтенант Нелюбин.

## Глава девятая

Уже стемнело, когда капитан Солодовников собрал у себя на КП командиров рот, замполитов и командиров взводов. Комбат развернул новую карту, и те, кто уже получал боевое распоряжение на действия роты или взвода в наступлении, поняли, что спокойная жизнь в обжитых окопах закончилась.

– Ну что, мои верные окопники! Настал час решительных действий!

Офицеры замерли в ожидании.

– Завтра на рассвете атакуем направлением на Дебрики с последующим выходом на Яровщину и Омеляновичи. Правее будет наступать второй батальон. Левее – третий батальон соседнего полка. Первый батальон – в резерве. Карты получите сегодня же. Капитан Подосинников вот-вот прибудет. Он подробно изложит задачу. А я пока обращаю ваше внимание вот на что. Утром будет небольшая артподготовка. Наша минометная рота в ней не участвует.

Ротам выдвигаться следующим порядком: два взвода впереди, один – позади, как резервный. Это и будет нашим вторым эшелоном. Без моего приказа этот резерв в бой не вводить. Связь держать посыльными делегатами. От каждого выделить по одному человеку для связи между собой. И двоих от каждой роты для связи со штабом батальона. Во время наступления рации будут отключены.

Пришел капитан Подосинников, сразу же раздал оперативные карты района, куда предстояло наступать. Уточнил по карте направление движение для каждой роты.

– Наступаем на довольно узком участке, – сказал Подосинников. – В прорыв войдут конно-механизированные части второго эшелона. Операция проводится силами армии. Прорыв намечен на нашем участке. Так что, как понимаете, ответственность на нас возлагается огромная. Какие будут вопросы?

– Нельзя ли обойти опорный пункт немцев стороной? – первым подал голос Воронцов. Он знал, что Седьмой предстоит наступать на Дебрики в лоб. Но Нелюбин не такой дурак, выведет роту в поле и ляжет под огнем. Будет ждать в снежных окопчиках, молча, без стрельбы, когда деревню обойдут соседи и немцы побегут на отсечные позиции. А ему, Восьмой, наступать с открытым левым флангом. При таком движении немцы выкосят из пулеметов и минометов половину роты за считанные минуты. И с кем он

окажется, когда подойдут ко второй линии обороны? А она у немцев наверняка есть, и подготовлена по всем правилам.

– Гарнизон опорного пункта Дебрики предполагается уничтожить во время артподготовки. – Начштаба посмотрел на комбата.

Капитан Солодовников встал, окинул взглядом своих ротных и сказал:

– В том-то и дело, что командир Восьмой роты прав. Основная оборона у них находится вот здесь. И сюда же, в случае опасности прорыва, они подведут свои мобильные группы, чтобы заткнуть брешь. Так что главная встреча будет тут. – Комбат закрыл ладонью зеленое пятно на карте. – И к ней надо быть готовым.

– Это что ж, получается, что впереди нас ждет встречный бой?

– Выходит, что да. Если они успеют подвести мобильную группу резерва.

– А почему молчит разведка? – подал голос кто-то из замполитов, видать исполняющий обязанности взводного, иначе бы промолчал. – Какая у противника в глубине оборона? Какие там силы? Ничего не известно! Война в Крыму!..

Землянка наполнилась гулом голосов.

– Свои соображения я уже изложил в штабе полка. И все, о чем вы сейчас говорите, тоже сказал. Но приказ есть приказ. Его надо выполнить. Возражения есть? Возражений нет. Идем дальше. Артиллерия должна основательно обработать эту линию. Иначе мы застрянем именно здесь, возле Яровщины. Но разведка сообщает, что немцы построили перед нашим фронтом еще и третью линию. Траншеи третьей линии проходят примерно вот здесь. – И капитан Солодовников ткнул пальцем в Омеляновичи, находившиеся немного глубже. – Здесь, как видите, с обеих сторон обширные болота. А как раз напротив нас – сухая горловина. Через нее на запад проходит большак. Большак выходит на шоссе Могилев – Орша. Так что общую задачу дивизии вы, я надеюсь, понимаете – перехватить шоссе, нарушить коммуникации и так далее. Наша задача звучит намного конкретнее – очистить горловину между болотами в районе Яровщины и Омеляновичей. Болота там местами переходят в озера. Горловина небольшая. Шириной примерно километра три-четыре, где могут пройти тяжелая техника и танки. Именно сюда должна входить конно-механизированная группа. Вот его-то, этот сухой промежуток, они и будут оборонять всеми силами. Что касается Дебриков... Поскольку вторых эшелонов у нас по сути дела нет, а у конно-механизированной группы своя задача, то в тылу у себя приказано никого и ничего не оставлять. Так что Дебрики придется брать. Чтобы не оставлять за спиной никого. – Снова



посмотрел на Воронцова. – Воронцов, помните атаку на Зайцеву гору?

– Вот ее-то мы с Нелюбиным и вспомнили сейчас.

– Товарищи офицеры, у кого есть какие соображения и предложения, прошу высказываться. Времени в обрез. Через несколько часов – атака.

Воронцов в эту ночь так и не прилег. Вместе со старшиной обходил взводы, проверял наличие боекомплекта и снаряжение. Гиршман раздавал сухой паек.

– Товарищ старший лейтенант, а как же быть с водкой? Сейчас раздать – это все равно что артподготовка по пустому полю. А на рассвете не успеем.

– Найди пустые канистры и раздели водку на каждый взвод. Под ответственность командиров взводов.

– Ой-ей-ей! Так это ж три канистры надо где-то искать! – захлопал Гиршман руками по полам полушубка.

– Найдешь. Гранаты всем раздал?

– Всем.

– Никто не отказывался?

– Так я раздавал в присутствии взводных. У Петрова попробуй откажись. Численко за эти дни всех обучил, даже Дикуленка. В третьем, у Одинцова, тоже полный порядок. У него сержанты гранаты перераспределяют.

Ладно хоть так, подумал Воронцов. Боязнь гранат – явление на фронте обычное. Даже среди ветеранов есть такие, кто берет гранаты с неохотой. Солдаты же из недавнего пополнения, как правило, до прибытия на передовую гранатный бой вообще не знают. И наступательную РГ-42, и оборонительную Ф-1 видели только на картинках. И Воронцов приказал сержантам: в тех отделениях, где состав смешенный, карманную артиллерию перераспределить опытным бойцам, но так, чтобы в бою они находились везде, по всей траншее в обороне и по всей цепи, кто в наступлении.

– Веретеницына! – окликнул Воронцов санинструктора, – а вы почему не спите? Отдохните. До рассвета еще пара часов есть. У вас завтра много работы будет.

– Нет уж, потом посплю, – ответила Веретеницына. Она хотела протиснуться мимо, но остановилась и, прижав Воронцова к стенке траншеи, сказала: – Мне еще одна подвода нужна. Боюсь, что тремя не управимся.

Спорить с Веретеницыной, во-первых, бесполезно, а во-вторых, он и сам давно хотел выделить для санитарного обоза еще одну лошадь.

– Вот что, Веретеницына, иди к Гиршману и скажи, что я распорядился для ваших нужд Кубанку запрячь.

– Ой, так это ж ваша лошадь! Она ж под седлом.

– Запрягайте Кубанку, – повторил он. – В телегу или в сани. Что найдете. Гиршман найдет. Ездовым пусть назначит кого-нибудь из обоза.

– Ну, спасибо! – И Веретеницына толкнула его в грудь и побежала по траншее. Пробежав несколько шагов, оглянулась и засмеялась.

А он подумал: баба есть баба, ей и война не война... После боя надо будет поговорить с комбатом, чтобы все-таки перевести в штат Екименкова.

Немцы, похоже, ничего не почувствовали. Всю ночь пускали осветительные ракеты. Постукивал дежурный пулемет. Но после полуночи ракеты начали взлетать реже, а потом, на какое-то время, и вовсе прекратили обозначать глубину пространства, отделявшего одну линию окопов от другой. И все сразу потонуло в морозной мгле. Одно только небо сияло над этой крошечной мглой прозрачным высоким куполом, подсвеченным холодным сиянием Млечного Пути.

Через бруствер перелезли саперы и исчезли в ночи. Воронцов какое-то время слушал, как похрустывал под их телами снег, как перешептывались они изредка, видимо, старший группы ставил задачу. К утру они должны сделать проходы для каждого взвода.

Немного погодя ракеты опять стали взлетать, оттеняя угловатое плечо леса и размазывая по полю перед деревней серое полотно не замеченной стерни. И тут в первом взводе рыкнул пулемет. «Дегтябрь» сделал короткую, будто пробную очередь, торопливо, вдогон первой, повторил и повел длинную. Для острастки, только чтобы обозначить и ночь перед собой, и ничейную полосу, так не стреляют.

Из землянки высунулся старший сержант Численко:

– Что-то у Петрова стряслось.

– Ну да. Стреляют нервно. – Дежурный часовой тоже стоял, навалившись грудью на стенку траншеи и сдвинув на затылок каску, чтобы лучше слышать стрельбу, внезапно начавшуюся у соседей.

Ручному пулемету ответили сразу два немецких автомата.

Воронцов быстро поймал в поле ориентиры и понял, что стрельба началась возле сгоревшей «пантеры». Значит, туда все же перебралось боевое охранение первого взвода.

На нейтральной полосе сейчас работали саперы. Делали проходы. Резали колючку, снимали мины. Свои и немецкие. После танковой атаки немцы в первую же ночь собрали своих убитых, а потом принялись восстанавливать линию заграждений. Ползали по нейтралке несколько

ночей подряд. Наставили свежих кольев, где раньше их не было, натянули колючую проволоку. Ближе к деревне, опоясывая юго-восточную окраину подковой, растянули спираль Бруно. И вот либо наши саперы столкнулись с немецкими и в перестрелку вмешалось боевое охранение первого взвода, либо там происходило что-то более серьезное.

Вечером, лишь стемнело, пулеметный расчет первого взвода, усиленный двумя автоматчиками, перебрался в подбитую «пантеру». Танк, выгоревший изнутри и деформированный взрывами боекомплекта, зиял дырами, в которые, если залезть внутрь, звезды были видны лучше, чем если просто смотреть на них с открытого пространства.

Вместе с Темниковым на нейтральную полосу пополз и связной Дидуленок.

Еще в траншее Темников предупредил:

– Если кто кашляет или перднет, а хуже того, звякнет чем-нибудь в танке, того положу головой на приклад вот этого пулемета и сверху прихлопну малой саперной лопаткой. Задача ясна? Лучников, – тут же напомнил он своему второму номеру, – запасные диски взял?

– Все тут, Егорыч, при мне, – отозвался из темноты Лучников.

– А ну-ка, попрыгай.

Лучников попрыгал. Ничего в его снаряжении не звякнуло, только снег хрупал под валенками.

– Молодец.

– Я их портянками переложил.

– Где ж ты столько портянок взял?

– У Гиршмана.

– Хорошо иметь в друзьях старшину. Который к тому же хитрый еврей.

– Да, Егорыч, неплохо. Старшина человек запасливый. И обоз у него большой. Говорят, там у него даже шерстяные портянки имеются.

– Шерстяные портянки?! Ты, парень, загнул!

– Да я своими глазами видел! Настоящая шерсть! Связисты их вместо шарфов носят. Теплые!

– Ладно, ребята, хватит трепаться. Пошли. Пора. А то нашу хату немцы займут.

Лучников первым забрался в выстуженное чрево танка и выглянул в рваную продольную трещину, сделанную в башне то ли подкалиберным снарядом, то ли взрывом боекомплекта во время пожара. Вот тогда-то, залюбовавшись стенными звездами неба, необычно приблизившегося к нему, второй номер услышал глухое похрупывание снега сразу в двух направлениях. Пригляделся, задержав дыхание и освободив из

подшлемника правое ухо, которое после контузии слышало за километр мышинный писк. У всех, побывавших под бомбежкой, когда «лаптежники» прицельно бросают на линию окопов «пятисотки», слух притупляется, а порою и вовсе угасает – лопаются от перенапряжения барабанные перепонки. У Лучникова разорвало перепонку левого уха, а чуткость правого обострилось настолько, что, если он поднимал подшлемник, от обилия звуков тянуло почесать затылок.

Справа от траншеи ползли саперы. Ползли цепью, с интервалом в полтора-два шага. Лучников слышал, как они вывинчивали взрыватели из стаканов противопехотных мин, как вытаскивали из снега «детские гробики» противотанковых. Но снег поскрипывал и в стороне немцев, возле проволочных заграждений. Тихо, глухо, как будто под одеялом. Так саперы не двигаются. Так двигаются, утомившись ожиданием. Разведка! Приползли, затаились возле проволоки и ждут. То ли танк им приглянулся. То ли за «языком» пожаловали. Ждут удобной минуты, чтобы пробраться к линии наших окопов. Вот почему они ракеты не бросали.

Лучников повел ухом. Шевеление возле проволочных заграждений прекратилось. Возможно, услышали приближение группы саперов и решили брать их. Очень удачно: добыча сама лезла в курну, оставалось только не спугнуть ее, выждать и одним движением отсечь путь назад. Лучников опустил голову в нижний люк и позвал первого номера:

– Егорыч, впереди, под вторым рядом проволоки, немцы. Похоже, разведка. Наши из саперной роты ползут напрямик на них.

Через минуту Темников сидел рядом, обдавая его свежим табачным духом.

– Где они?

– Шуршат вон там, – зашептал Лучников.

– Ничего не вижу.

– Так и я не вижу. Что шуршат именно там, слышу.

Темников выглянул еще раз. Спросил:

– Ты ничего не перепутал? Может, у тебя слуховые галлюцинации?

– Я слышу, как ты пальцами в валенке шевелишь, – усмехнулся Лучников.

– В каком?

– В правом.

– Ладно. Придержи, чтобы не нашуметь. – И Темников начал осторожно просовывать в щель, заполненную низкими звездами, ствол ручного пулемета. – Тихо-тихо. Вот так. – И взвел затвор.

## Глава десятая

В двадцатых числах августа 1943 года, когда стало окончательно ясно, что немцы не удержат ни Орла, ни Курска, ни Харькова, ни Белгорода, что Красная Армия, спрямляя выступ линии фронта, вот-вот возьмет Брянск и Смоленск, по пыльным проселкам из районов Севска и Брасова, Трубчевска и Локтя Орловской и Курской областей потянулись обозы беженцев. Все как будто повторялось. Большаки и проселки, забитые повозками с детьми и домашним скарбом, коровы, привязанные за рога к телегам, осунувшиеся лица стариков, тоска и ужас в глазах женщин. Но теперь обозы беженцев тянулись не на восток, а на запад и северо-запад. Пройдя десяток-другой километров, поток беженцев разделялся. Некоторые обозы следовали на ближайшие железнодорожные станции. Вместе с ними шли колонны солдат, одетых в немецкую униформу. На их кителях были темно-зеленые погоны с красной выпушкой и нарукавные нашивки с черным Георгиевским крестом на белом поле и с желтыми буквами: «РОНА». Солдаты шли побатальонно, правильным строем. Следом за батальонами двигалась техника: танки, грузовики, бронеавтомобили, конные запряжки с орудийными расчетами и орудиями на передках, полевые кухни. Бросалась в глаза пестрота стрелкового вооружения, что делало эти войска похожими на партизан. Один взвод мог иметь и русские винтовки различной конструкции, и немецкие «маузеры», и чешские карабины, и ППШ, и ППД, и «МП38/40», а порою и нечто более экзотическое вроде французских винтовок времен Первой мировой войны или венгурских автоматов с деревянными прикладами. По тем же дорогам и в том же направлении тянулись гурты скота. У пастухов за плечами висели винтовки, а ремни оттягивали тяжелые под сумки. На железнодорожных станциях их ожидали составы. Техника и батальоны, а также основная масса гражданских беженцев, спешно, с гвалтом, грузились на платформы и в теплушки. Началась эвакуация так называемой Русской освободительной народной армии или, как ее еще называли, бригады Каминского 2.

В потоке обозов, в их стремлении поскорее покинуть опасную местность уже к концу первого дня почувствовалась какая-то надломленность и усталость, которая вскоре сменилась страхом перед тем неизвестным, что ждет их впереди, в незнакомом, чужом краю. Несколько раз, будто шальной снаряд, пролетал над дорогой крик:

– Танки!

Люди в ужасе выворачивали коней в объезд образовавшимся заторам, телеги опрокидывались в кюветы и ошалевшие кони несли по полю передки, ломая оглобли и увеча людей. Потом оказывалось, что никаких танков нигде нет, что это патруль немецкой полевой жандармерии выехал на перекресток, чтобы направить поток туда, куда необходимо их направить согласно предписаниям и циркулярам штабов.

Захар Северьяныч шел обочиной и время от времени окидывал взглядом свою деревню. Вот уже неделю она, взгромоздившаяся на телеги со всем своим скарбом, горем и надеждами колесила по чужим дорогам, держа на запад. Седьмой раз опускалось перед глазами идущих раскаленное за день солнце, выедавая холодным закатным светом глаза и души покинувших свои родные дома и бредущих теперь неведомо куда и неизвестно зачем.

В обозе, в пыльном душном облаке, казалось, навсегда привязавшемся к колымажам, двигались две повозки Захара Северьяныча. Одной управляла Лида. На коленях у нее лежал сверток. Время от времени сверток шевелился, кряхтел и наконец с плачем начинал брыкаться. Лида оглядывалась, расстегивала верхние пуговицы кофты, приподнимала одной рукой ребенка, а другой вынимала отвердевшую грудь. Ребенок тотчас жадно прихватывал набухший сосок, на котором уже копилась мутноватая капля, и надолго затихал.

– Ну что, Лидушка, уснул? – окликала ее старуха, сидевшая позади, среди узлов. Когда объезжали рытвины и воронки, она старательно, обеими руками придерживала хозяйское добро.

– Уснул, Марья Евстафьевна. Уснул, мой маленький.

– Давай-ка его сюда. Твои руки хоть отдохнут.

– Да у тебя колени твердые, баба Марь! – смеялась Лида. – Растрясешь моего Сашеньку.

– Коленки-те мои, девонька, и правда не то что твои. А все одно давай его ко мне. Я его, князя твоего, сюда вот, на узлы положу. И ручничком прикрою, чтобы пыль его глазыньки не заедала. Давай-давай, Лидушка. Не уроню я твоего сыночка.

Месяц назад Захар Северьяныч перевез свою деревню на сто километров западнее. Заселились в брошенных домах на границе Локотского округа и партизанского края. Место оказалось опасным. Зимой оттуда выселили местных жителей. Хорошо, что дома не сожгли. Уже тогда из восточных районов потянулись к Локтю и Севску семьи полицейских и тех, кто помогал немецкой армии, кто участвовал в карательных акциях

против партизан, кто расстреливал коммунистов и устанавливал на оккупированной территории новый порядок. Их селили по пограничью. А теперь пришлось бросить и это жилье. Под Орлом немцам наломали хвоста основательно. Говорят, всю технику там оставили. Не помогли и новые тяжелые танки.

Больше всего Захару Северьянычу жаль было налаженного хозяйства. Когда он закрывал усталые глаза, сквозь резь, раскрашивавшую перед ним все обозримое пространство розовыми и фиолетовыми разводами, видел свою мельницу с новым колесом. Только-только все обустроилось и пошло ладом. Только-только люди поняли свою выгоду. И на тебе... Непобедимая германская армия снова откатилась назад.

Захар Северьяныч открыл глаза. В нескольких шагах от него на просторной немецкой телеге, запряженной парой лошадей, в облаке пыли качались напряженные плечи племянницы. Лида опять кормила грудью. И ребенок вот появился совсем не ко времени. От кого ж она родила? Не говорит. Хотел окликнуть ее, спросить, не нужно ли чего. Но передумал. Да и в горле спеклось. Что он ей может сказать? Народ был на пределе. Он знал, что некоторые уже поговаривали: зря с места стронулись, надо было оставаться дома, ничего бы им не сделали. Что, мол, при советской власти день и ночь волтузили в поле и на фермах, что под немцем. Под немцем... Захар Северьяныч невесело вздохнул, оглянулся на свою деревню. Не были вы под немцем, не знаете, каково это... Чужеземцу на своей земле кланяться. Эх, люди, люди... Что вам надо? Какую еще власть? Батраки, рабы. Да воры. Но воровать я вас, думал свою думу Захар Северьяныч, все же отучил. Он усмехнулся. Вспомнил, как за воровство порол прилюдно кнутьями. Красть перестали. Но темное нутро своих односельчан он видел постоянно. Рабы! Дети рабов. Внуки рабов. И рабов нарожали. Погоди, подрастут, и как раз новой власти работники будут.

Останься он в деревне, ему бы припомнили все. Самоуправление – это цветочки. Кнутья, мельница... За это срок бы дали и этапом – в знакомые места. Там тоже жить можно. А вот за расстрелы пленных красноармейцев... Так что нельзя было ему оставаться.

До станции, где их ждала погрузка в вагоны для следования в район Лепеля, оставалось еще километров двадцать пути. Так пояснил жандармский патруль. Впереди показалось облако пыли, похожее на такое же, какое поднимал их обоз. Захар Северьяныч сел на коня, придавил кавалерийскими шпорами и выскочил в поле. Отсюда он хорошо увидел колонну, двигавшуюся навстречу. Танки. Немецкие. Кто-то закричал заполошно: «Танки!» И он тут же поднял руку:

- Германцы! Это германские танки! Принять правее!
- Давай, бабоньки, правее!
- Сворачивай в поле!

Колонна немецкой бронетехники оказалась довольно большой. Захар Северьяныч поглядывал на открытые люки немецких танков и по привычке все подсчитывать, прикидывал в уме: не меньше полка. Танки новенькие, грязью не обляпанные. Видать, разгрузились где-то недалеко. Идут менять какую-нибудь часть. К передовой.

– Воздух! – перекрывая рев танковых моторов, пронеслось вдруг над запыленными повозками деревни, кочующей в неизвестность.

И тотчас заголосили бабы, запричитали старухи.

Немцы тоже закрутили головами, указывая куда-то в сторону леса, на северо-восток.

Захар Северьяныч огляделся. Место, где застали их самолеты, страшное: кругом на километр-полтора поле. Лес только виднелся впереди. До него тоже с километр, не меньше. Захар Северьяныч резко повернул коня, подскочил к племяннице.

– Лида! Бери ребенка и – на коня!

Он спрыгнул на землю, выхватил из рук Марьи Евстафьевны сверток, почувствовал сладкое пахучее тепло, сунул сверток в распахнутые ладони племянницы.

– Гони к лесу. Туда! Навстречу им! Так надо! Под бомбы не попадешь! – И он зло вытянул концом вожжей коня, который все еще нерешительно приплясывал под Лидой рядом с подводой.

Снова вылетали эскадрилей. В нескольких десятках километрах от передовой воздушная разведка обнаружила колонну бронетехники. Колонна двигалась к фронту. Свежая часть. Полет в тыл, даже ближний, – это всегда риск. Но ползать брюхом по передовой, вдоль траншей, откуда по штурмовику ведут огонь из всего, из чего можно стрелять, ничуть не легче. Словом, вылет как вылет.

Уже готовились к ужину. Калюжный, выглаженный по случаю совместного просмотра кинофильма с эскадрилей женского авиаполка ночных бомбардировщиков, который базировался на соседнем поле, за березовым перелеском, забежал к нему в землянку за час до ужина и сказал:

– Сейчас по сто граммов, командир, и...

Все же легкомысленный человек этот Калюжный, подумал старший лейтенант Горичкин и в это время увидел посыльного. Солдат бежал со стороны штабной землянки. Экипажи стояли под березами, докуривали и



молча смотрели на бегущего к ним посыльного, уже зная, что он сейчас объявит. Правда, надежда еще оставалась: какая эскадрилья полетит. Потому что вылет всем полком сейчас, в конце дня, вряд ли возможен.

– Вторая эскадрилья! К боевому вылету! – прокричал посыльной, освобождая летчиков от всех возможных вариантов, кроме одного.

– Накрылись наши сто граммов, – сказал задумчиво Калюжный и побежал к самолету.

Старший лейтенант пошел следом, глядя в спину своему стрелку: наглаженный, в начищенных до блеска сапогах, жених... Вот тебе и сходили к девчатам. Не только сто граммов и кино, но и танцы, которые замполит обещал после просмотра кинофильма, накрылись.

– Опять все достанется первой эскадрилье, – сказал кто-то из пилотов.

Запустили двигатели. Начали выкруливать на взлетную полосу. Взлетали парами. Ведомым в этот раз с ним летел лейтенант Семибратов. Из недавнего пополнения. На взлете новичок, видать, разволновался, забыл убрать шасси. Когда перестраивались, Горичкин качнул крыльями, выпустил шасси и тут же убрал. Но тот так и не заметил, пошел с выпущенными шасси.

Их четверка шла первой. Маршрут незнакомый. Но видимость хорошая, все ориентиры – как на ладони.

В пути пристроилась четверка «ЛАГТов». Сопровождение – это хорошо. Когда над тобой в небе свои истребители, всегда есть возможность больше внимания уделить точности штурмовки.

Колонну увидели еще издали, за несколько километров. Вернее, их оказалось две. Одна пылила от фронта, другая к фронту. В одной из колонн хорошо просматривались знакомые очертания танков. Стройная вереница стальных коробок с одинаковыми интервалами. Вскоре поле, по которому двигались колонны, будто откатнулось в сторону, поплыло вниз, и на какое-то время его вместе с клубами пыли закрыл лес.

Голос комэска в наушниках:

– Ребята, работаем с ходу! Никакой штурмовки. Атакуем четверками! Первая пара работает по зенитным установкам в хвосте и в голове колонны. Вторая – по центру!

Начали снижаться. Семибратов по-прежнему летел с неубранными шасси. И, должно быть, поэтому обе зенитки, двигавшиеся в голове и в хвосте колонны в первые минуты не открыли огня, приняв «Илы» за свои «штуки».

Когда они первой четверкой выскочили из-за леса, старший лейтенант Горичкин увидел следующую картину: обе колонны слились в одну; от той,

которая шла в немецкий тыл, отделился всадник на гнедой лошади и, низко припав к луке седла, помчался прямо навстречу их атаке. Когда они пошли на снижение, всадник исчез под корпусом самолета. Старшему лейтенанту Горичкину на мгновение показалось, что это была женщина. Но сейчас нужно было думать о другом. Выход на цель. Сброс. Когда самолет освобождается от части груза, его толкает вверх, будто пустое ведро из проруби. И тут же появляется ощущение облегчения и нарастающего азарта. Такая цель, как 20-мм зенитный автомат, всегда холодит душу. На вираже, когда из-за плоскостей вынырнула накренившаяся земля, он оглянулся и увидел, что «эрликон» накрыт точно и по нему можно не повторять.

Снова выстроились четверками. Немного набрали высоту. Вышли на курс. Лес, дорога. Дорога прямая, как стрела. Обе зенитки оказались уничтоженными с первой атаки. Теперь предстояло разобраться с бронетехникой. В голове колонны уже горели два танка. Другие, сломав строй и сгрудившись неровной вереницей, стояли, будто в оцепенении. Заработали пушки. Машина задрожала, немного задирая хвост. Трассы вынырнули из-под плоскостей, ушли вниз по сходящимся линиям, и там начали ломать повозки, срубать с танковых башен надстройки, бензобаки и звенья запасных гусениц. Широкая трасса в несколько огненных жгутов пропахала по всей длине колонны. Все, отстрелялся. Пошел на очередной вираж.

И тут стрелок включил бортовое переговорной устройство:

– Командир! А один обоз, похоже, гражданский!

Какой еще гражданский? Откуда он здесь? Внизу – танки! С зенитными установками сопровождения! И только когда начал разворачивать машину над лесом, сообразил, что в тыл немцы могли отводить либо одну из своих частей, на отдых, либо действительно отселяли гражданских. Очищали прифронтовую полосу. Вот откуда всадница. Значит, ему не показалось. Он отчетливо разглядел женщину. Если бы второй обоз был военным, он давно бы рассыпался по полю. Солдаты не стали бы ждать, когда на их головы начнут падать бомбы. А эти попросту попрятались под телегами...

Из-за правой плоскости, выкрашенной в серо-зеленый камуфляжный цвет, вынырнула земля: накренившееся поле, дорога, забитая горящими танками и транспортами, разбросанные повозки, лошади и люди, мечущиеся в клубах дыма и пыли. Теперь и он разглядел: второй обоз – гражданский. Среди разбегавшихся от дороги людей ни одного солдата.

– Командир! – снова затрещало переговорное устройство. – Слева со

стороны солнца на одиннадцать часов «мессеры»!

Старший лейтенант Горичкин мгновенно посмотрел вправо и рядом с солнечным диском увидел два подвижных, будто оплавленных продолговатых силуэта. Поставил машину на курс. Краем глаза заметил: Семибратов наконец убрал шасси. Посмотрел вверх. Четверка «ЛАГГов» перестраивалась для атаки. Внизу мелькал рыжими полянами лес. Блеснула извилистая полоска речушки. И снова, вот оно, поле. Теперь его внимание сосредоточилось на втором обозе. Танки, расползавшиеся в разные стороны в попытке рассредоточиться и хоть как-то выйти из-под удара штурмовиков, и грузовики, которые разворачивались и прямо по полю мчались назад, к лесу, чтобы спастись там, под деревьями, он наблюдал всего лишь долю секунды. Он посмотрел вверх, там «ЛАГГи» уже атаковали «мессеров». Те не уходили, хотя держались теперь на значительном расстоянии. Видимо, не решаясь вступить в единоборство с численно превосходящим противником, пилоты немецких истребителей рассчитывали на то, что топливо у русских, взлетевших с аэродрома, расположенного конечно же значительно дальше от этого поля, к критической отметке подойдет раньше.

– «Клен!» «Клен!» – услышал он сквозь треск эфира свои позывные; голос комэска то пропадал, то возвращался с нарастающей силой. – Почему вышел из боя? Почему вышел из боя?

Горичкин повернул голову, по привычке посмотрел вправо-влево, зафиксировал и проанализировал мгновенную картинку. Поле внизу покачнулось и начало крениться, как это всегда происходило на вираже с набором высоты после атаки. Коробки танков и мечущиеся в дыму фигурки людей быстро уменьшались. Горичкин вытер рукавом пот, толкнул на лоб очки. Стекла очков будто запылило туманом – вспотели. Он почувствовал, что его слегка трясет. Как перед запуском мотора. Что за ерунда? Раньше никогда ничего подобного не было. И тут послышался спокойный голос стрелка:

– Все нормально, командир! Давай на разворот и вон за теми машинами!

– Где «мессеры»? – спросил он: о немецких истребителях он спросил стрелка не потому, что они его сейчас действительно интересовали больше всего другого, а чтобы поговорить с живой душой, которая, быть может, единственная во всем этом жутком пространстве, могла его сейчас услышать и разделить то, что он внезапно с ужасом почувствовал.

– Ушли. Их атакуют «лавочкины». После сброса – резко вверх, чтобы я достал из пулемета!

– Понял, Федор Иванович! – попытался улыбнуться старший лейтенант Горичкин.

Переговоры со стрелком конечно же успокаивали.

Ведомый где-то потерялся. Ничего, в бою так случается. Пристроится к четверке и займет свое место после атаки.

Он посмотрел вправо. Поле выровнялось. Гражданские теперь убегали туда, вправо. Танки ползали среди опрокинутых повозок, давя на пути все, что попадало под гусеницы. Некоторые из них, застигнутые на линии дороги, горели, отбрасывая густые клубы черного дыма. От них разбегались танкисты. Объятые пламенем, они падали, катались по земле, снова вскакивали и, словно обезумев, бросались под колеса грузовиков, под копыта ошалевших лошадей, исчезали в дыму пожаров.

Несколько крытых брезентом грузовиков на большой скорости мчались к лесу. Горичкин бросил машину в пике и, когда почувствовал, что угол атаки верный, произвел пуск РС. И тут же, снизившись до нескольких метров и едва не задев пропеллером тент грузовика, резко, насколько это было возможно, пошел с набором высоты. Самолет задрожал. Это Калюжный выпустил длинную очередь по второму фургону, который они настигли на самом краю поля. Стрелку для верной очереди по цели, находящейся ниже горизонта их полета, необходим был верный угол. Хотя бы на мгновение. И он его обеспечил.

– Порядок, командир! – услышал он радостный голос стрелка и понял, что тот отстрелялся удачно.

Позади и немного левее он увидел машину Семибратова. Ведомый подтягиваясь. Вторая пара заходила в очередную атаку крыло к крылу. Одной из машин управлял комэск.

Разворот. Внизу пока лес. Лес, лес. Зеленое море листвы. А вот и поле. Дороги уже не видать. Ее можно было лишь угадать по очертаниям обозов. Вернее, их горящим останкам. Обозы вытянулись на полкилометра. У Горичкина еще один реактивный снаряд и некоторый запас кумулятивных бомб. Комэск конечно же следит за его маневром. По полю разбросаны трупы лошадей. Людей, кажется, меньше. Повсюду пестрыми разноцветными лоскутами валяется содержимое узлов и сундуков, ветер разносит перья из разодранных перин. Лучше на это не смотреть. И откуда он появился здесь, этот гражданский обоз? И именно в это время...

Набор высоты до двухсот метров. Семибратов оглянулся за него, своего ведомого. Сверкнули на солнце его защитные очки. Сделал знак рукой. И тут же его машина нырнула вниз – ушел для очередного сброса. Четверка начинала очередную атаку. Горичкин окинул взглядом небо.

«Мессеры» барражировали вдалеке. «ЛАГГи» ближе их не подпускали. Видимо, разошлись без потерь. Подмога к «мессершмиттам», похоже, не спешила. Что-то слишком легко они отдали свою танковую колонну, подумал Горичкин. Он уже наметил себе цель. Одиноким танк, выползший в поле и на полном ходу двигавшийся в сторону от горящей колонны. Попасть в него не так-то просто. Легче, конечно, отработать по дороге, сбросить последний груз и занять свое место в строю. А там... Там произойдет привычное. На выходе из атаки, как это было всегда, когда штурмовка проходила удачно и без потерь, в наушниках послышится довольный голос комэска: «Ребята! Домой!»

Домой...

Машина неслась под углом в тридцать градусов. Горичкин знал, что это тот предел, на который способен «Ил-2» во время пикирования. При полном боекомплекте такой маневр невозможен, тяжелый штурмовик просто не вытащит себя из затяжного пике. И в это время, когда все его внимание сосредоточилось на цели – одиночном танке, уползавшем от дороги – и на том, что угол пикирования потребует усилий и точного расчета, чтобы не пропустить того мгновения, когда необходимо сделать сброс кумулятивных бомб, вывести машину вначале в горизонтальный полет, а потом начать набор высоты, – в эти, самые напряженные секунды боя, по БПУ послышался крик стрелка:

– Командир! «Мессеры»!

Самолет задрожал. То ли от сброса бомб и одновременного залпа всех бортовых пушек и пулеметов, то ли от попадания трассы, протянувшейся к ним от одного из пары «мессершмиттов», внезапно атаковавших их сверху.

Домой, подумал старший лейтенант Горичкин, наблюдая с хладнокровием бывалого штурмовика, каковым он, в сущности, и был в своем полку, как его трассы накрывают трансмиссию и квадратную башню немецкого танка.

А через полчаса комэск, докладывая командиру авиаполка о выполнении задания, сказал:

– Потери – одна машина.

– Кто?

– Горичкин и Калюжный.

– Как это случилось?

– Внезапно атаковали «мессеры». Наши истребители их пропустили. Машина старшего лейтенанта Горичкина не вышла из пике. В последней атаке он уничтожил немецкий средний танк. – Комэск посмотрел в глаза подполковнику, с которым начинал летать два года назад, когда тот был еще

капитаном и сказал: – Это была очень красивая атака. Вся эскадрилья сейчас только об этом и говорит. Особенно молодежь.

– Отрадите в рапорте подробно, как действовал экипаж старшего лейтенанта Горичкина. Они достойны высоких наград.

## Глава одиннадцатая

– Давай, давай, Егорыч, не останавливайся! – кричал второй номер Лучников, глядя в пролом, где ночную мглу рассекали разноцветные пунктиры трассирующих пуль.

– Да заткнись ты, Лучников! Что ты, на самом деле, как баба под мужиком! И в бок не толкай! Прицел сбиваешь! – И Темников оттолкнул второго номера. – За автомат возьми! Сейчас побегут!

– Хрен они побегут! Ты их всех положил, Егорыч! А из автомата отсюда – только патроны тратить.

– Вроде двое уползли. – И Темников, выпустив под основание стены проволочных заграждений очередную короткую очередь, снял со спусковой скобы, которая казалась горячей даже через рукавицу, дрожащий от напряжения палец. Пусть отдохнет. Поднял голову от приклада. Еще минуту назад там, у гряды кольев, в сизых разводах, оставляемых отблесками осветительных ракет, кто-то копошился, перемещался и пытался отстреливаться. Теперь возле проволоки и по всему полю между кольями и лесом, черневшим на той стороне, никакого движения не наблюдалось.

– Никто, Егорыч, не уполз. Тихо. Наши саперы тоже сопли к земле приморозили. – Лучников перевел дыхание. – Как ты думаешь, Егорыч, кто это был?

– Кто, кто... Разведка.

– Хреново.

– Это ж почему?

– А потому, что в разведку они ранцы с собой не берут. Разведка налегке ходит.

– Ну, сухарей-то за пазуху небось напихали, – с надеждой заметил один из автоматчиков.

– Никто никуда не пойдет, – коротко отрезал пулеметчик Темников. – А ты, Лучников, слушай. А то что-нибудь важное пропустишь.

– После твоей стрельбы мое ухо немного подоглохло. Ослабело. Уж больно тут резонанс сильный. Как танкисты воюют?

– Помолчи, Лучников.

Немного погода со стороны траншеи послышался скрип снега. Похоже, к ним шла смена.

Но смены не произошло. Помкомвзвода выслушал доклад Темникова и

сказал:

– На рассвете общая атака.

– Как атака?

– А так. Чем ты, Темников, недоволен? Вашу долю я во фляжках принес. – И помкомвзвода снял с плеча вещмешок. – Так что продолжайте нести боевое дежурство на занятой вами позиции. Она у вас очень даже удобная. И от ветра, и от прочего...

– Только вот задница к железу примерзает, – подал голос автоматчик.

– Под задницу соломки подстелите.

– Где ее взять, соломки той?

– Солдат не должен задавать такие глупые вопросы, – заметил помкомвзвода и занялся своим делом.

– Сколько ж ты нам принес? – И Темников указал на фляжки, которые сержант бережно вытаскивал из своего «сидора» и раскладывал перед бойцами, как генерал раскладывал бы перед особо отличившимися заслуженные ордена.

– Вам – побольше. У вас положение особое. Двойная норма. С закусью. Вот, целых две банки тушенки! Так взводный распорядился.

– Ну, тогда другое дело. – И Темников снова толкнул своего второго номера. – Лучников! Прослушаешь ты немецкую разведку!

Перед атакой батальона капитан Солодовников не находил себе места. Раньше такого не было. Расшатались нервы. Что с этим сделаешь? Как справиться с собой? Однажды, как бы между прочим, спросил у лейтенанта медицинской службы Игнатьевой. Та пожала плечами. Вот тебе и медик. И он подумал: слишком молодая и слишком красивая, жизни настоящей не видала. Да и не восприняла она его вопрос всерьез, привыкнув к тому, что мужчины в погонах со звездами говорили ей либо комплименты, либо двусмысленно шутили. Пожала плечами, не почувствовала ни шуток, ни комплимента. Вот тебе и на. А он, между прочим, спрашивал о том, что действительно угнетало его и мешало исполнению служебных обязанностей в полном объеме. Тоже мне, специалист-медик с высшим образованием, раздраженно думал об Игнатьевой капитан Солодовников. Но причина его раздражения была совершенно не в этом.

– Слышь, начштаба, давай-ка выпьем.

– Вы бы, Андрей Ильич, хотя бы сейчас воздержались, – не отрываясь от бумаг, наваленных на стол, наспех сбитый из горбыля, но служивший батальонному КП уже около года, ответил капитан Подосинников.

– А что – сейчас? Сейчас, между прочим, самое время хорошенько прогреть мотор... – И комбат попытался засмеяться. Но смех получился



какой-то пустой, глупый и неуместный, как на поминках.

– Вот-вот атака начнется. – Подосинников продолжал шуршать бумагами, и комбат понял, что начштаба просто решил в очередной раз показать свой характер.

Капитан Подосинников с некоторых пор старался не поддерживать компании, которые все чаще и чаще стали собираться в штабе батальона вокруг гостеприимного комбата. У Солодовникова потом по несколько дней длился похмельный синдром. Валились из рук все дела. Майор Лавренов грозился по телефону то гауптвахтой, то штрафным батальоном. Выслушав очередную угрозу отправить его в штрафбат, комбат пьяно хмыкал в трубку и швырял ее на рычаг.

– В том-то и дело. Не могу спокойно смотреть, как в тыл раненых тащат. Вот сейчас они сидят в окопах – здоровые мужики, а через час-другой этих Иванов и Степанов, в бинтах, с оторванными руками и ногами в тыл поволокнут... И будут они на носилках и в санях плакать, как дети. И судьбу проклинать. Да и нас с тобой. Ты-то, штабная душа, этого не видел. А я войну лейтенантом начинал, командиром взвода. Где там у нас кружки были?

В эти минуты пил весь полк. Топографические карты с пометками маршрутов уже были уложены в планшеты и полевые сумки, гранаты, обоймы и диски – в подсумки и вещмешки. Туда же вместился сухой паек на сутки. Индивидуальные медицинские пакеты солдаты перекладывали поближе, в карманы, чтобы потом, если случится, товарищу или самому не пришлось долго рыться в вещмешке. Оставалось только получить последнее довольствие. И по траншеям, от блиндажа к блиндажу, от землянки к землянке, от ячейки к ячейке шли старшины со своими помощниками и разливали в подставленные кружки и котелки водку и разбавленный спирт. Это и было той узаконенной приказами Ставки мерой милосердия, которую Верховный и его генералы могли отмерить всем идущим на смерть. Отмерял, получается, своим гвардейцам и он, капитан Солодовников. Отмеряли и ему. Хотя он пил больше положенной и гвардейской нормы, и дополнительной, выдаваемой перед атакой.

Воронцов шел по траншее. Солдаты уже высыпали из землянок, жадно закусывали свежим снежком. Перед самым утром напоззли тучи, затянув звездное небо и задержав рассвет еще на полчаса. То ли глаза настолько привыкли к темноте, то ли все же уже сказывалось утро, он узнавал знакомые лица, кивал им, иногда, на мгновение задерживаясь взглядом, спрашивал:

– Голиков, письмо домой написали?

– Так точно, товарищ старший лейтенант, написал. И старшине передал.

– Иванов, сколько гранат взял?

– Три, товарищ старший лейтенант. Одну – противотанковую.

– Тараторин, патроны в этот раз не растеряете?

– Никак нет, увязал крепко, – улыбался Тараторин.

– Подсумок застегните.

– Он у меня застегнут.

– Проверьте оружие. Всем проверить оружие. – И он шел дальше.

Солдаты расступались, и ему казалось, что им становилось чуточку легче оттого, что он, их ротный, был сейчас рядом с ними, в траншее. Легче становилось и ему рядом с ними. Запах траншеи перед атакой ему казался иным, и он его пьянил. Казалось, что атака в своей начальной фазе, последних приготовлений, уже началась. Так оно и было. Это понимали и все его солдаты. Просто об этом не принято было говорить. О том, что уже ничего не остановить, не изменить, что чья-то пуля уже легла в канал ствола на той стороне и тоже изготовилась, помалкивали.

Гиршман еще гремел своими канистрами, заканчивая раздачу.

– Ну что, старшина, всех причастил?

– Кажись, всех. Только ваша пайка осталась. Давайте, товарищ старший лейтенант, и вам плесну.

– Спасибо. Не надо.

И старшина Гиршман со всей непосредственностью воскликнул:

– Да это ж никак невозможно, чтобы на трезвую голову под пули пойти! Подставляйте свою кружку!

Фельдшер Екименков быстро вытащил из вещмешка плоскую трофейную кружку. В опрокинутой канистре зашуршало. Запах спирта всегда напоминал Воронцову госпиталь, перевязку. Так пахли свежие бинты. Так пахли халаты и косынки медсестер в тылу. Нет, косынки пахли иначе. Косынки пахли женскими ухоженными волосами, тугими теплыми косами, уложенными на затылке. Но об этом тепле и запахе сейчас лучше не думать.

Он выпил все, что ему налили. Кружка была почти полной. Кто-то протянул кусок хлеба. Может, старшина. Или, скорее всего, Екименков, у которого в вещмешке всегда было что-нибудь съестное.

Артподготовка оказалась недолгой. По Дебрикам сыграли «катюши». Потом, по всей линии перед фронтом Восьмой и Седьмой рот начали рваться тяжелые снаряды. Гвардейские минометы приземлили свои залпы кучно, накрыв деревню. А вот артиллеристы вели огонь по площадям,

вразброс, вслепую. Солдаты выглядывали из траншеи и покачивали головами. Опытные окопники, они сразу поняли, что артиллеристы точных целей не имеют, что, скорее всего, никакой разведки не было произведено, и теперь вагоны снарядов летят на ту сторону, как в пустое болото, только для того, чтобы где-то там, в штабах, на генеральский стол легла среди прочих и бумажка и том, что артподготовка произведена в полном объеме, что израсходовано столько-то снарядов такого-то калибра и столько-то такого-то...

Как только артиллерия перенесла огонь в глубину немецкой обороны, в небо взвилась сигнальная ракета.

Связной, стоявший с ракетницей наготове, спросил:

– Давать?

– Не надо, – остановил его Воронцов. – Пойдем молча. Командиры взводо-ов! – крикнул он.

И тут же эхом троекратно отдалось:

– Взво-о-од! Вперед!

Он шел во второй цепи. Связной и фельдшер Екименков хрустели снегом рядом. В проходах, обозначенных сосновыми лапками, строя не держали, бежали толпой, поотделенно. Лишь бы поскорее миновать этот, самый опасный, отрезок нейтральной полосы. Но потом, за линией проволочных заграждений, растеклись по белому полю ровными цепями. Воронцов оглядел свою роту и ахнул: как ровно и правильно шли его взводы. Еще не слышалось стрельбы. Только снег хрустел под ногами, и солдаты кашляли и надсадно дышали, хрипя простуженными бронхами. Да впереди, за лесом, ухали взрывы тяжелых снарядов. Сзади двигались запряжки ТПО. Лошади, проваливаясь в снег, тащили «сорокапятки». Где-то там, вспомнил Воронцов, и обоз старшины Веретеницыной. Он видел ее в траншее перед самым выходом, когда в голове уже пошло винтом от выпитого спирта. Она, как всегда, проходя мимо него в тесной для двоих траншее, толкнула его в грудь обеими руками,дохнула в самый подбородок своим теплом, запахом йода и чего-то женского, о чем он давно старался не думать, особенно в присутствии санинструктора роты.

Перед атакой, в блиндаже, он переложил в карман шинели, поближе к руке, медную пластинку иконки-складня с Михаилом Архангелом. Потом быстро разделся и обмотал себя полотенцем. Живот и грудь. Подоткнул концы, чтобы полотенце не сползло.

– Что это у вас, товарищ старший лейтенант? – спросил связист.

– Чтобы вши в поле не кусали, – усмехнулся он в ответ.

– Воши и под холстинкой покоя не дадут, – заметил наблюдательный

Добрушин. – Материн, что ль оберег?

– Нет, Василий Фомич, не материн. Невестин.

– Невестин... Вон оно что. Ну да, мы ж на войне не одни. Это нам только кажется, что под пули мы одни ходим. Невестин... Невестин, Александр Григорьевич, все равно что материн. Сейчас она за вас всем святым молится. – Связист вздохнул. – Женщина все чувствует. Мы вот сейчас пойдем, а дрожать за нас – бабьему сердцу.

Немцы молчали. Но вскоре на левом фланге, в стороне Дебриков, заработали, почти одновременно, два пулемета. Воронцов увидел, как сразу замедлилось движение первого взвода, как левый его фланг начал вязнуть в снегу. Сейчас залягут и атаке конец, с беспокойством следил он за продвижением своего первого взвода. Бойцы один за другим плюхались в снег, барахтались, видимо, готовя к стрельбе оружие, или вытаскивали саперные лопатки, уже не надеясь на лучший исход.

– Нельзя здесь окапываться! – закричал Воронцов. – Петров! Давай – вперед! Прикройся пулеметом и – вперед!

Он увидел мешковатую фигуру лейтенанта в огромном балахонистом маскхалате и услышал его мат. Солдаты начали вставать и продвигаться вперед, к лесу. До опушки оставалось метров двести, и она молчала. Если сейчас ударят оттуда, если немцы успели оборудовать там хотя бы одну огневую и теперь выжидают необходимого сокращения дистанции, то тогда первый взвод ожидает нелегкая участь. О мертвых он не думал. А уцелевшие залягут, и поднять их уже не сможет никто. Да и Численко со своими окажется под фланговым огнем.

– Храпунов! – окликнул он первого номера пулеметного расчета. – А ну-ка дай пару очередей по опушке!

Пулеметчики тут же сняли с самодельных санок, сделанных из двух пар укороченных лыж тяжелый ДШК, развернули его и загремели лентой, вставляя ее в приемник, забитый снегом.

– Если оттуда ответят, молоти по цели, пока не кончится лента! Понял меня, Храпунов?

Пулеметчик ошалелым взглядом посмотрел туда, куда указывал Воронцов, и молча кивнул. Лента у ДШК недлинная, всего пятьдесят патронов. Но это – пять-шесть хороших очередей. Как раз то, что надо, чтобы первый взвод добежал до опушки леса и зацепился там. Если Петров зацепится, черта с два его чем тогда выкуришь. Характер лейтенанта он знал.

– Храпунов! Я на тебя надеюсь!

Храпунов был пулеметчиком осторожным. Пара-тройка прицельных

очередей – и на запасную. Но свою осторожность, которую в иных обстоятельствах можно было принять и за худшее, он с лихвой компенсировал точностью и эффективностью огня. Это о нем в роте сложили поговорку: мне медали ни к чему. Когда однажды по осени точно так же атаковали одну высотку, он замешкался на исходных, но потом, когда рота безнадежно залегла на спуске, простреливаемом с флангов, спас атаку. Он вытащил свой ДШК на правый фланг, на позиции третьего взвода, и оттуда повел огонь по немецким траншеям. Перетаскивая пулемет от куста к кусту, от воронки к воронке, Храпунов вскоре подавил оба МГ, которые не давали взводам поднять головы. Когда потом комбат направил по команде представления на отличившихся в последних боях, фамилию Храпунова вычеркнули в штабе полка, а Солодовникову выговорили за то, что, мол, подписывает представления на кого попало. В роте об этом вскоре стало известно. Бойцы начали сочувствовать Храпунову, угощать его табачком, памятуя о том, как вовремя он им помог в бою. Храпунов, довольный, принимал заслуженное угощение и говорил:

– Мне ж медаль – ни к чему. А вот за куреху спасибо!

Он покуривал дармовой табачок и рассуждал дальше:

– Если бы, к примеру, наше командование помудрей было, да к медали выделяли ежемесячное дополнительное довольствие в виде махорки, то тогда другое дело. А так... Так мне медаль ни к чему.

Медаль свою он вскоре все же получил. Комбат настоял. Но и поговорка тоже прижилась в роте. Когда, к примеру, личному составу водку заменяли разбавленным спиртом, даже от бойцов из пополнения, прибывшего значительно позже того боя за высотку, можно было услышать: «Мне медаль ни к чему...»

ДШК Храпунова простучал, торопливо плеснув в сторону немецкого леса трассирующую струю. Струя вытянулась до опушки. Следом за нею вспыхнула и потянулась другая. Никто оттуда не ответил.

Воронцов прыгнул в немецкий окоп, наполовину заметенный снегом, прислушался к звукам боя, доносившимся со стороны деревни, и сказал связисту Добрушину, который уже настраивал рацию:

– Давай, Василий Фомич, передавай в штаб батальона: Восьмая вышла на рубеж обороны противника. Левофланговым взводом с северо-востока охватываю населенный пункт Дебрики. Потери... – Воронцов перевел дыхание. Донесения из взводов еще не поступали, и о потерях в роте он в сущности ничего не знал. Первый взвод напоролся на пулеметный огонь. Там, конечно, без потерь не обошлось. – Потери незначительные. Уточняются.

Немцы позицию здесь, на опушке, все же оборудовали. Вот он, пулеметный окоп, с ходом сообщения в тыл, с землянкой. Как положено. Только перебросить сюда они никого не успели.

Раненых он увидел чуть позже, в лесу. Их было трое. Четвертый лежал неподвижно, прямо на снегу, у дороги, вытянувшись во весь свой рост и запрокинув стриженую голову. На нем не было ни каски, ни шапки. Воронцов наклонился над убитым и спросил:

– Кто?

– Краюшкин, – ответил сержант, которому Веретеницына торопливо перевязывала ладонь.

И сержант, и рядовой Краюшкин были из первого взвода. Все из последнего пополнения. Краюшкина он вспомнил. Однажды заставил его чистить винтовку. Тот испуганно смотрел на затвор, обметанный мелкой сыпью ржавчины, и виновато кивал. В землянках в начале зимы было сыро, и за ночь оружие покрывалось ржавчиной. Краюшкин был призван полевым военкоматом откуда-то из-под Ельни или Дорогобужа. Смоленский. Земляк. И вот он теперь лежал на снегу без головного убора, без рукавиц. И уже не ощущал ни каленой поземки, подметавшей лесную дорогу и забивавшей мелкой снежной пылью колеи, ни того, что неловко лежит прямо на обочине. Рядом из снега торчала винтовка с открытым затвором, та самая. Теперь она достанется другому, и чистить ее будет другой боец.

Воронцов поднял винтовку и сунул ее в сани. Раненые сидели на соломенной подстилке, курили.

– Ну что, ребята, не повезло вам?

– Под пулемет попали, – возбужденно заговорил один из них, невысокого роста, в разодранном маскхалате. – Только стали подниматься на горочку, а он как дась! Краюху вон... Три пули... До леса донесли, а он уже...

И, глядя на раненых, мешковато сидевших в розвальнях, в теплой соломе, он подумал, что им-то как раз повезло. И сами они это хорошо понимали.

Сержант затянул зубами узел бинта и побежал вперед. Веретеницына отправляла в тыл еще одни сани. Их тащила Кубанка. Поравнявшись с ними, ездовой натянул вожжи.

Воронцов подошел к своей лошади. Кубанка сразу потянулась к его руке, зашуршала чуткой губой. Он достал из кармана обломок сухаря и протянул ей. Санитарам приказал:

– Краюшкина тоже заберите.

Те молча принялись грузить в розвальни окоченевшее тело. Раненые нехотя подвинулись. Они смотрели на убитого равнодушными взглядами людей, которым судьба бросила другой жребий. Но уже спустя мгновение они, казалось, забыли о своем погибшем товарище. Взгляды их были направлены на дорогу, уходящую в тыл, куда их вот-вот повезут под присмотром санитаров. Человек на войне обживается быстро, подумал Воронцов, один-два боя, и он уже бывалый солдат, уже понял, что к чему и о чем лучше не сокрушаться.

## Глава двенадцатая

Красная Армия, в отличие от Русской прежнего, добольшевистского образца, размышлял Радовский, оглядывая луг, на котором там и тут лежали серые бугорки убитых, не хоронит своих павших. Вот их последние почести. А ведь каждый из них – герой. Герой, павший за Отечество. Каким бы оно ни было. Да, именно так: каким бы ни было.

Он обследовал эту обширную лесную поляну, одним краем выходящую к болоту, пытаясь понять, что тут произошло. Потом повернул и обошел ее снова. Он останавливался то у засыпанного возле искореженного пулемета сержанта, то у бронебойщика, лежавшего на дне окопа среди стреляных гильз, щуплого, как подросток, с поджатыми к животу ногами. Он всматривался в лица убитых, в их неестественные позы, он словно пытался что-то понять в себе, но не мог, потому что не доставало главного. Он знал, за что умерли они. И одновременно не мог понять их. Как и не мог понять упорства Курсанта, когда их разговор о простых вещах уходил за черту. Время здесь словно остановилось. Тела убитых окаменели и, казалось, будут лежать так века, подобно валунам в поле. Цвет их лиц стал подобен цвету серого гранита. Такую же нейтральную окраску приобрела и их одежда. Цвет крови совершенно исчез. Его погасили травы и земля. Поглотили, растворили. Будто он и не окрашивал торжество той трагедии, которая день или два назад разыгралась здесь.

Наконец он стряхнул с себя оцепенение и занялся тем, ради чего пришел сюда. Он подыскал себе подходящую одежду. Снял с убитого скатку шинели. Мертвый сидел под березой с открытыми глазами, обращенными к небу. Радовский заглянул в его глаза и не увидел в них ничего. Ничего. Что он надеялся увидеть в мертвых глазах? Чье отражение? *За все теперь настало время мести...* В каждом мертвом живой видит себя. Да-да, себя, и никого более. Такова магия смерти. Двадцать семь лет назад под Августовом он видел такую же поляну и солдат, одетых почти в такую же униформу. Те же лица. И те же позы. И тот же запах. Он знал, что кровь начинает пахнуть сразу.

Он прошел еще несколько километров. Вышел на дорогу. Опасность нарваться на патруль была, конечно, велика. Да и любой офицер мог потребовать предъявить документы. Что ж, документы у него в порядке. Красноармейская книжка на имя ефрейтора отдельного автомобильного батальона, справка о ранении, командировочное предписание, письма из



дома на имя все того же ефрейтора Иванова Петра Ивановича из села Стырино Сталиногорского района Тульской области. Вполне добротная липа, в которой и опытный смершевец не сразу унюхает тухлый запах подделки. А уж армеец в подлинности его бумаг не усомнится. Армейца может насторожить другое.

Вскоре его догнала машина, крытый брезентом «ЗиС». Грузовик обдал его запахом выхлопных газов, теплом мотора, работавшего не меньше часа-двух, и прогрохотал мимо. Солдат, сидевший за баранкой, казалось, даже не взглянул на него, стоявшего на обочине с поднятой рукой.

Надо закурить. И тогда первый же водитель остановится в надежде разжиться табачком, хотя бы на закруточку. Психология всех солдат всех армий и всех времен примерно одинакова. Он ловко свернул самокрутку, цокнул раз-другой «катюшей», и искра вскоре прилипла к клочку сухой пакли, которой он заткнул самокрутку. Затянулся, и уголек мгновенно увеличился, стал ярче и тут же перекинулся на рыхлый табак. Вот и раскурил по-окопному. Солдатские он курил всегда, когда уходил на очередное задание. Постепенно втянулся и даже полюбил крепкий запах махорки, пропитывался им, как настоящий окопник. Это ведь тоже был запах родины, одна из ее примет. Щепотка табака сближала людей, делала их добрее, разговорчивее. Доверчивее. Товарищ становился еще ближе, а незнакомый человек вдруг открывался неожиданной стороной и становился на время пути или на несколько минут, пока ждала машина или повозка, роднее брата. На фронте такое ценилось особенно. И он, разведчик, всегда это имел в виду. Потому что иногда, пока дымилась самокрутка, от иного души-говоруна можно было узнать больше необходимой информации, чем от «языка», которого попробуй еще дотащи и потом разговори под дулом пистолета. Немцы называли махорку недоброкачественным табаком, полуфабрикатом. Но этот полуфабрикат был все же приятнее их суррогата, которым в основном-то и снабжали солдат вермахта. Махорка пахла мужицким зипуном. Поношенным и повидавшим виды. Как осенняя земля.

Радовский не ошибся. Первая же полуторка, вынырнувшая из-за поворота, съехала на обочину и затормозила. Из кабины высунулась голова водителя в старенькой, не первого срока порыжевшей шапке блином.

— Куда путь держишь, батя? — спросила голова и улыбнулась.

Водителю было лет восемнадцать. Видимо, только что попал на фронт. Такому все в новинку, все в диковинку. С таким легче найти общий язык. Но в кабине с ним еще один, с погонами пехотного офицера. Старший лейтенант или капитан. Только бы не вздумал проверять документы, подумал Радовский и шагнул к машине.

– На фронт. Куда ж еще.

– А в тылу по какому случаю кантовался?

Сопляк, а уже блатной фени нахватался, подумал Радовский. Он еще раз взглянул на офицера, сидевшего в кабине. Тот, похоже, дремал, откинувшись на спинку сиденья. Торчал его острый кадык, обметанный седоватой трехдневной щетиной. Тоже в дороге, тут же отметил Радовский, значит, не в своей части. На чужой территории порядки наводить не будет.

– Из госпиталя. Вот ищу свой полк.

– А какой полк ты ищешь?

– Какой полк? – Радовский усмехнулся. – А это не твоего ума дело.

Засмеялся и водитель. И тут же кивнул на окурок. Самокрутку Радовский держал по-мужицки, «колечком» сжав ее большим и указательным пальцами, прокуренными до бронзового отлива.

– Табачку, батя, не найдется?

– Найдется. – И тут же ухватился за обретенную веревочку: – Не в Подолешье ли путь держишь?

– Точно, в Подолешье. А тебе, батя, тоже туда?

– Туда.

– Но штаб полка не в Подолешье. В Подолешье батальон стоит. Вот, товарищ старший лейтенант туда едет. – И водитель, не особенно умело свертывая самокрутку, кивнул на кабину.

Значит, все-таки старший лейтенант. Что ж, и это лучше, чем капитан. Чем меньше звезд, тем ниже гонор. Правда, не всегда.

– А мне в штаб батальона и надо.

– Садись. Только в кабине, извиняй, места нет.

– Ничего, посижу и в кузове. Не барин. – И Радовский снова усмехнулся, наблюдая и за водителем, и за старшим лейтенантом.

– От Подолешья до передовой всего пару километров. А штаб полка в тылу. Там. – И водитель махнул рукой назад, за поворот, откуда только что вырулил на своей потрепанной полуторке.

– Мне и батальон ни к чему. Я в свою роту иду. Вот приду, доложусь взводному. А может, ротному. Кого первого встречу. А там начальство пусть само разбирается. Пусть решает, в какой окоп определить. В роте-то, на передовой, выбор у солдата невелик. Мне что? Лишь бы на довольствие поставили. А винтовка найдется.

– Ну да, не сорок первый год.

– А ты что, воюешь с сорок первого?

– Да нет, это я так. К слову. Старики твоего возраста о сорок первом всякое рассказывают.

– И что они рассказывают?

– А что... В атаку ходили – одна винтовка на отделение.

– Ты поменьше слушай такие разговоры. За них, знаешь...

Водитель сразу сник, несколько раз оглянулся на спящего старшего лейтенанта. Сказал, уже тусклым голосом:

– Ладно, садись, поехали. Довезу.

Радовский залез в кузов. Кузов был завален ящиками и узлами. От узлов пахло хлоркой. Белье. В ящиках, похоже, продукты. Ящики необычные, с надписями по-английски. Хотя прибыли они сюда, в могилеские леса, не с берегов туманного Альбиона, а с совершенно иных берегов. И подтверждение тому вот оно, на нижней дощечке, белым по зеленому: ARMY USA. Что ж, русские едят американскую тушенку уже не первый год. Но американских солдат здесь по-прежнему нет. Хотя с той стороны, в германской армии, есть и итальянцы, и венгры, и румыны, и испанцы, и чехи, и словаки, и бельгийцы, и поляки, и даже нейтральные швейцарцы и шведы. Сталин, похоже, не нуждается в американских солдатах. У него и своего пушечного мяса хватает. Судя по всему, этот водитель только-только прибыл на фронт. А сколько миллионов таких, от восемнадцати до тридцати, смогут мобилизовать во внутренних областях и поставить под ружье военкоматы большевиков? Один? Два? Три миллиона? Четыре? И он тут же ответил себе: и один, и два, и три. Карты немцев биты. Гитлер выдохся. Передоверился своим товарищам по партии. Не поверил ни в Смоленский Комитет, ни в русский корпус, ни в идею обер-бургомистра Каминского, ни в идею генерала Власова. Русские солдаты умирают в концлагерях. Целые армии. Германия, и даже Европа, которую Гитлер эксплуатирует как незаконно присвоенный завод, тоже выдохлась. Урал и Сибирь выпускают больше танков, самолетов и орудий больше, чем вся Европа. Присвоенный завод уже не может угнаться за большевиками и обеспечить оружием проведение наступательных операций. А значит, наступать в этой войне будет тот, кто может и произвести достаточное количество танков и самолетов, и посадить в эти машины новобранцев.

Все, о чем Радовский мечтал все эти годы, летело к черту. Но ни страха, ни даже знакомого чувства опустошения, этого неизменного и неизбежного спутника любого краха, он не испытывал. Потому что думал о том, что среди этих миллионов русских призывников разных возрастов мог теперь быть и он, Георгий Алексеевич Радовский. И сейчас повернуть свою судьбу, как норовистого коня поворачивают рывком уздечки, самое бы время. Все для этого рывка есть, все готово. Лежит в кармане, в нагрудном кармане гимнастерки с чужого плеча. С чужого плеча... Сейчас на каждом

все, кроме креста, – с чужого плеча. Надо только решительней и как можно безжалостней рвануть уздечку...

А что потом? Вот какую канаву перескочить непросто.

– Приехали! – закричал водитель в приоткрытую дверцу кабины.

Радовский огляделся. Они только что миновали поле и узкий березовый перелесок. Впереди деревня. Видимо, то самое Подолешье. Тесный ряд печных труб в снегу. Даже не верится, что дома могли стоять так плотно. За низинкой, видимо, замерзшим и покрытыми снегом ручьем, улица уцелевших домов.

Радовский прыгнул, махнул водителю в знак благодарности. Он понял, что тот нарочно притормозил, что, возможно, имел указание не брать пассажиров, и теперь опасался быть наказанным за нарушение инструкции. Полупторка загремела бортами дальше по дороге. Но колеи здесь, на въезде, были настолько разбиты, что машина вскоре поехала медленнее, и он догнал ее.

– Кого ты вез! – услышал он голос старшего лейтенанта.

– Солдата, – ответил водитель.

– Ты хоть знаешь, кто этот солдат? Документы ты у него спросил? Или так, сажаешь в кузов любого встречного-поперечного?

Радовский шел вслед за полупторкой. Разговор в кабине вскоре затих. Лицо старшего лейтенанта показалось ему знакомым. И тут Радовский подумал вот о чем: а что, если и старший лейтенант узнал его и теперь теребил водителя только потому, что хотел узнать его фамилию, имя и отчество, какой части и прочее. Сворачивать в сторону нельзя. Старший лейтенант наверняка следит за ним в зеркало заднего вида и тут же поднимет тревогу.

Вскоре началась ровная дорога, и полупторка благополучно умчалась вперед.

Возле крайнего двора на выбранной до земли кладушке прошлогодних потускневших дров сидел солдат. Рядом стоял карабин с примкнутым штыком. Часовой, сразу догадался Радовский, и внутренне напрягся. Часовой таскал из кармана шинели семечки и плевал на снег пеструю лузгу. Наплевал вокруг себя уже порядочно, видать, не один карман семечек изничтожил, стоя на посту.

– Здорово, Иван! – окликнул его Радовский.

– Здорово! Тильки я ни Иван, – отозвался часовой и перестал щелкать семечки. Страхнул с шинели лузгу, всмотрелся в Радовского, который продолжал свой путь по дороге вдоль колеи.

– А кто ж ты?

– Петро.

– Здорово, Петро, – засмеялся Радовский. Он шел, не сбавляя шагу.

Часовой тоже продолжал сидеть. Он даже не взглянул на свой карабин, стоявший рядом.

– Что ж ты мени, як хриць называешь? Гэта тильки воны так бачуть: иван! иван! – И вдруг спросил: – Закурить не мае?

– Маю, маю, Петро, закурить. – И Радовский повернул к часовому, на ходу вытаскивая из-за пазухи кисет.

Он закурил с часовым. Заодно выпытал у того, что здесь, в Подолешье, да как.

– Что-то у вас больно тихо, – заметил он и кивнул самокруткой в сторону противоположного леса, откуда время от времени доносились глухие удары передовой.

– И слава богу, – сказал часовой. – А тебе в роту? В какую?

– В Шестую, – наугад ответил Радовский, понимая, что не назвать номер роты сейчас нельзя.

– А, в Шестую... – Петро затаился, прищурился. – Гэта тоби еще километра два. В сторону Дебриков. Второй батальон тамо.

– Ротный-то мой жив?

– Анисимов-то?

– Ну да, он, лейтенант Анисимов.

– Он уже старшего лейтенанта получыв. Жив. Мы ж не наступаемо. Сидим в обороне.

Рискнул он на дороге, с водителем. Рискнул с часовым. Решил рискнуть и в третий раз. Три – его любимое число. Оно не могло его подвести. И не подвело.

– Пойду, пока не стемнело. – И, отсыпав часовому табачку из просторно кисета, спросил как бы между прочим:

– На той-то околице кто стоит?

– Дядько Охрем. Мы з ним земляки.

– Ну, бывай. Может, еще свидимся, табачку покурим.

– Может. Бувай здоров. А как тебя зовуть?

– Петром.

– Га! Так чого ж ты мовчав?

Радовский засмеялся, махнул рукой и пошел вдоль дворов. В центр деревни он не пошел. Штаб батальона наверняка там. А значит, там полно народу. Опять же посты, часовые. А что, если там не такой простоватый и болтливый хохол? И он свернул в проулок и вскоре вышел на северную окраину Подолешья.

Здесь часовой стоял на месте. Вытоптал себе лунку в снегу обочь дороги и стоял, кутался в немецкую шинель, накинутую поверх своей.

– Здоровенько, дядько Охрем! – окликнул он издали часового, по осанке и густым усам сразу определив его возраст.

– А кто ты такой будешь? Я вроде такого среди своих племяшей не припоминаю. – Голос часового был не очень дружелюбным.

– В хозяйство старшего лейтенанта Анисимова иду.

– А кто такой Анисимов? Не знаю я никакого Анисимова. – И часовой снял с плеча карабин. По его несуетным движениям и той ловкости, с которой он снял и перекинул на левую руку карабин с примкнутым штыком, Радовский понял, что перед ним солдат бывалый.

– Неужто мне документы и тебе показывать?

Часовой некоторое время недоверчиво осматривал Радовского. Потом опустил карабин и спросил:

– А какого хрена здесь оказался? Шестая вон где стоит! Под Дебриками!

– Я из госпиталя. На попутных добирался.

– А, ну тогда понятно. На раскурку-то не богат?

С этим Радовский решил разойтись поскорее. Черта с два у такого что выпытаешь. Скорее он у тебя какое неосторожное слово выловит.

Переходить лучше всего именно здесь, решил он, когда вошел в лес и прислушался. Левее, в ельнике, слышались голоса и ржание лошадей. Изредка там что-то гремело, как будто в мерзлую землю забивали железные пальцы. Возможно, там стояли замаскированные танки или артиллерия. Дальше дорога уходила в низину. Оттуда тянуло болотом. Болото! Вот где надо переходить линию фронта! Там наверняка нет окопов. В болото зимой солдата не загонишь. Ни окопа не отрыть, ни землянки.

С дороги он на всякий случай не сворачивал. Здесь, на дороге, он ефрейтор автобата Иванов. А если патруль его остановит в лесу, то его красноармейскую книжку рассматривать будут уже более тщательно.

Он уже спустился вниз, к болоту, когда из-за деревьев выскочил мотоцикл с коляской. Мотоциклом управлял танкист в телогрейке, надетой поверх комбинезона, в кожаном офицерском шлеме. На груди у него висел ППШ. Мотоцикл притормозил, и с заднего сиденья ловко спрыгнул лейтенант. Лейтенант передвинул из-за спины под мышку ППШ и, заступив Радовскому дорогу, скомандовал:

– Рядовой Фирсанов? – И, не дожидаясь ответа: – Руки за голову! Живо!

Мозг, натренированный на мгновенную реакцию в нештатной

ситуации, подал сигнал тревоги: Смерш! Но тут же вторично проанализировал возникшие обстоятельства, подавил панику и частично отыграл ситуацию назад: спокойно, скорее всего, меня с кем-то путают. Хотя, возможно, Смерши, чтобы нейтрализовать ответную агрессию, просто искусно валяют дурака.

– Моя фамилия Иванов. Ефрейтор Иванов, Шестая стрелковая рота, Второй батальон.

– Кто командир роты?

– Старший лейтенант Анисимов, – вытягиваясь по стойке «смирно», ответил Радовский. Он смотрел на рябое лицо лейтенанта, на край его погона с красным кантом и эмблемой бронетанковых частей. Погон помятый, рабочий, потертый на уголках. Чекистам нет надобности лазать по тесным танковым отсекам. У них и форма, и погоны с иголочки. Нет, нет, пронеслось в голове, это просто совпадение, они действительно ищут какого-то Фирсанова, быть может, дезертира. Что-нибудь натворил парень в своей части и исчез из расположения. Вон как им найти его не терпится. Найти да морду набить. Чтобы не доводить дело до огласки и штрафной роты.

Из-за деревьев, вихляя в снежной колее, выскочил другой мотоцикл. Сидевший в коляске старший лейтенант привстал и крикнул:

– Тимашук, отставить! Это не он!

– А что с этим делать?

– Документы проверил?

– Нет.

– Проверь. Проверь документы и отвези его в штаб, до окончательного выяснения. – Лейтенант, не вылезая из коляски, окинул Радовского взглядом, в котором не было ничего обнадеживающего, и кивнул мотоциклисту: – Давай в деревню. Там посмотрим. Далеко он уйти не мог. Не полез же он в болото.

Черт возьми, подумал Радовский, только этого мне не хватало. Ищут какого-то дезертира Фирсанова, а схватили его. До выяснения... Интересно, кто же будет выяснять? На этих погоны танковой части, которая, видимо, занимает здесь оборону. Но выяснять, там, в штабе, наверняка будут не они, а офицер НКВД. Натасканный, недоверчивый, хитрый. Сидит в теплой землянке, с нетерпением ждет, когда приведут к нему Фирсанова, а тут приволокут задержанного, случайно попавшего под руку в расположении...

– Садись-ка, парень. Поехали. Документы твои пока я забираю. – И лейтенант с глубокими оспинами на скулах откинул брезентовый полотно

мотоциклетной коляски. Радовский увидел его руки. Они были в таких же оспинах, только немного другой формы. Это были следы ожогов. Лейтенант горел в танке. Танкист. Такие с особыми отделами дружбу не водят. Но это было слабым утешением. Потому что такие могли шлепнуть, не очень разбираясь, не вдаваясь в тонкости. Вот так. А ты, Петр Иванов, еще надеялся начать в Красной Армии новую карьеру. Даже в качестве ефрейтора ты здесь лишний, чужой, не нужный никому. Кроме пули.

– Что, товарищ лейтенант, личный состав растеряли? – устраиваясь в коляске и лихорадочно намечая план действий, сказал Радовский.

Тот неприязненно посмотрел на него и сказал:

– Ты, ефрейтор, лучше о себе подумай. Еще неизвестно, что за фрукт ты в нашем ельнике. Пехота у нас тут не бродит. – И кивнул мотоциклисту: – Жарко, общи-ка его.

Начался обыск. Ничего, кроме самых необходимых вещей, которые могут быть в вещмешке у солдата, возвращающегося из госпиталя в часть, у Радовского не было. Оружие, компас, карту, нож и пистолет с запасными обоймами, – все это он зарыл в землянке под нарами, где отдыхал в последний раз и переодевался. Зарыл вместе с одеждой и записной книжкой. В вещмешке котелок, начатая пачка горохового концентрата и кусок мыла, пара портянок и сменные кальсоны. Все это хозяйство он нашел, обшаривая убитых. Но в голенище сапога лежала опасная бритва. Немецкая. Ее, при необходимости конечно же можно выдать за трофей. Бритву он с собой носил всегда. Совсем оставаться без оружия было еще опаснее.

Мотоциклист похлопал по карманам, пошарил за пазухой, заставил расстегнуть шинель. Потом вытряхнул содержимое вещмешка. Взгляд его на какое-то мгновение остановился на куске мыла, и Радовский понял, что у них здесь в танковой части, по всей вероятности, проблема с помывочными средствами. Хотел было предложить ему этот кусок. Но решил, что это только сильнее насторожит лейтенанта. Он и так не снимает руки со своего автомата.

Второй мотоцикл уже исчез в ельнике. Радовский посмотрел на дорогу, на болото, начинавшееся в тридцати метрах от них, прислушался. На дороге тихо. Никого. Только дальше, правее, слышалось урчание танковых моторов да за болотом стучал короткими беспокойными очередями немецкий «МГ». Там, за болотом, передовая. Если уходить, то только сейчас. И Радовский потянулся к голенищу сапога.

– Ты что? – окликнул его лейтенант.

– Нога ноет. Я ведь после госпиталя. Прошелся с непривычки. Видать,



к метели. – Он потер голенище сапога и, почувствовав под рукой металлический хвостик бритвы, усмехнулся: – Погода-то, ребята, меняется.

## Глава тринадцатая

Бальк лежал на замызганном тюфяке, видимо, оставшемся от хозяев, которых еще осенью эвакуировали из прифронтовой полосы в тыл. Он никак не мог уснуть. Он знал это за собой: пока не вспомнит, пока не переживет все события минувшего боя, пока не вспомнит имена и лица всех убитых, сон не придет. Так было всегда, когда он терял товарищей. Это была его безмолвная тризна по погибшим.

Пуля русского снайпера угодила в прицел Schrandeu и с упругим скрежетом отрикошетила в потолок. Бальк почувствовал прикосновение горячего и тяжелого, как свинец, вихря, пролетевшего мимо его виска и едва не задевшего край каски. В это время Буллерт закричал:

– Бинт! Быстрее давай бинт!

Бальк поднялся с коленей и на четвереньках переполз к пулеметным коробкам, где лежал его второй номер. Пуля перервала Пачиньски сонную артерию, и кровь из раны хлестала, как из прохудившегося шланга. Буллерт попытался зажать рану пальцами, но его пальцы скользили, и у него ничего не получалось.

– Бог мой! У него огромная дыра! Он сейчас истечет кровью!

Бальк разорвал упаковку, достал бинт, наложил тампон и начал бинтовать. Руки его дрожали, как будто сонную артерию пуля перебила ему. Но ему повезло. Вторая пуля попала в прицел и изменила траекторию полета. Его голова оказалась на несколько сантиметров левее. Снайпер целил в голову. В голову Балька.

И теперь, справляя свою бессонную панихиду по погибшему товарищу, он подумал: почему снайпер первый выстрел сделал не по нему? Как правило, обнаружив пулеметный расчет, снайпер вначале старается поразить пулеметчика, и только потом, когда у пулемета никого и огневая точка не ответит смертельной трассой, хладнокровно расправляется с остальным расчетом. Иногда, сделав единственный выстрел, на некоторое время затихает. Меняет позицию. Тогда, благодаря его осторожности, у расчета появляется шанс выжить.

А этот выбрал для первого выстрела Эрвина. Почему? Почему не его, Балька? Ведь первым номером был именно он!

Рядом на печи храпел Буллерт. Он так и завалился, не отмыв как следует руки. Потер их снегом, стряхнул, вытер о белую камуфляжную куртку. Даже от ужина отказался. Они разделили его порцию колбасы и

сардин в масле. Кофе в кружке оставили на утро. Зато вылили ему в котелок порядочную порцию шнапса, разбавленного спиртом. Эту смесь третий год подряд здесь называли ликером. На Востоке все не так, как везде. Здесь и шлюх из передвижного армейского борделя называли подружками. Такого же качества был и ликер. Буллерт выпил все и лег. Теперь ему стало немного легче. Хорошо, что хоть это еще помогало.

Бальк перебрал в памяти все подробности боя, все детали, которые успел ухватить и удержать в памяти. И то, как Буллерт зажимал рваную дыру на шее Пачиньски, и закатывающиеся глаза Эрвина, и его предсмертный храп, совершенно не похожий на звук, издаваемый человеком. Сон не шел. Тогда он вспомнил все еще раз. Всплыли другие, более мелкие подробности, которые он упустил вначале. Картина стала более полной и ужасной. Но и это не помогло. Вместо сна начали одолевать клопы. Они жалили, как скорпионы. Черт бы побрал эту землю, промерзшую на несколько метров в глубину! Черт бы побрал Восточный фронт, пропитавшийся кровью, как бинт на шее Эрвина Пачиньски! Черт бы побрал эту берлогу с ее клопами, злыми и беспощадными, как партизаны в здешних лесах. И эту ночь! И этот вонючий тюфяк, на котором, кажется, успели по очереди, как на самой грязной шлюхе, переспать все солдаты Восточного фронта, включая и иванов!

Когда Бальк сомкнул усталые глаза, ему приснился вестфалец, тот самый, из поезда, который командовал их группой во время обстрела состава партизанами. Бальк сразу узнал его и хотел было сказать, какой он скотина, что заставил его расстреливать гражданских, которые, возможно, вовсе и не были партизанами и не имели никакого отношения к обстрелу поезда и взрыву железнодорожного пути. Ведь никто как следует так и не разобрался, кто они на самом деле. Потому что никто и не думал разбираться. Наступило такое время, война ушла в такую мрачную глубину, что стало уже совершенно неважно, кто из русских, поставленных перед расстрельной командой, действительно партизан, а кто просто случайный человек из гражданских, который, быть может, даже и ненависти не испытывает к ним, немцам, как большинство русских. Уже всю действовали приказы и инструкции о заложниках. Правда, не все офицеры брали на себя моральный груз следовать бесчеловечным приказам. Вестфалец следовал. Хотя и не был офицером. «Ты, эсэсовская скотина, я солдат, а не ублюдок из зондер-команды! Пропади ты пропадом!» – Такие слова хотел крикнуть Бальк унтер-офицеру с нашивкой «Вестфальский гренадер» на рукаве. Хотя тот не был эсэсовцем. И как только Бальк нашел в себе силы, чтобы крикнуть приготовленные слова, вдруг увидел, что

перед ним вовсе не вестфалец из поезда, а русский старик. Старик, отец второго «партизана», душевнобольного, которого они тогда тоже поставили к березе. Но старик оказался более агрессивным, чем вестфалец. Старик целился в Балька из его же пулемета. Каким образом в руках у того оказался Schrandeu Балька, было непонятно. И как вообще в том лесу к западу от Орши оказался его пулемет, если он его оставил во взводе, который в то время занимал оборону в трехстах километрах восточнее? Старик улыбался беззубым ртом и все выше и выше, к самой переносице, поднимал массивный раструб пулемета, второй рукой придерживая его прямо за кожух. Бальк хотел закричать, чтобы старик не стрелял, что во всем виноват вестфалец, приказавший ему занять место в шеренге расстрельной команды. Но старик и слушать не хотел. Ствол поднялся на нужную высоту и замер. В следующее мгновение огненная струя ударила из раструба и опрокинула и Балька, и всех его товарищей, и маму, и старика Гальса, и дом в его родном городе, и все то, что он так любил с детства. Одна из пуль впиалась ему прямо под глаз, но, как ни странно, только прорубила кожу и застряла в ней. Так осколки на излете впиваются в березовую кору. Пуля дергалась, как живая, видимо, пытаясь проникнуть внутрь, чтобы добить его. Он схватил ее, сдавил и почувствовал, как скользнули пальцы, раздавившие что-то мерзкое. Бальк рывком открыл глаза и почувствовал запах раздавленного клопа. Клопы пахли преисподней. И даже хуже. В крошечной темноте от этого запаха волосы вставали дыбом. От одного только запаха. Пропади все пропадом! Господи, Господи... Он перекрестился. Рука отекала и повиновалась с трудом. Вот чем кончается на войне каждая тризна, со слезами в горле подумал Бальк.

Часы показывали уже четверть шестого, когда стены дома вздрогнули и окна зазвенели битым стеклом. Ремонтировать окно уже нечем, так что придется затыкать какой-нибудь тряпкой. Можно, к примеру, старыми ватными штанами Эрвина. Они ему уже не пригодятся. И у Буллера не будет соблазна натянуть их на свою задницу поверх своих.

— О боже! Они все-таки начали! — вскрикнул кто-то из солдат. Кричавшего невозможно было узнать по голосу. Потому что кричал как будто вовсе и не человек, не кто-то из солдат их взвода, а ужас. Хотя конечно же это был человек и солдат. Похоже, он так же, как и Бальк, не спал. Нервное истощение — эта штука посильнее контузии. Он как будто ждал, глядя в окно, начнут ли русские обстрел или нет. И как только дождался первых разрывов, закричал в ужасе. Именно его крик и разбудил тех немногих, кто все же спал.

Взвод уже одевался и разбирал оружие. По полу покатились чья-то

граната. Кто-то из взвода впопыхах обронил свою «толкушку». Бальк машинально поднял ее и сунул за ремень.

– Эй, кретины! – орал кто-то из стариков, кажется, Брокельт. – Кто возьмет аккордеон?

Никто ему не отвечал. Никто даже не посмотрел в его сторону.

– Нельзя его бросать! Слышите? Вы, засранцы! – Да, кричал именно Брокельт. Когда пулеметчик третьего отделения Пауль Брокельт забеспокоился о сохранности аккордеона, всем сразу стало не по себе. Значит, убираемся отсюда, из этой деревни, из теплых хат, на мороз. Значит, русские наступают.

Аккордеон был не просто их талисманом, он состоял в их списочном составе взвода с самой Франции. Захватили они его в Сен-Валери. И вот уже четвертый год он нес верную службу в их рядах. Молодым солдатам из пополнения рассказывали о «старике Луи» в первый же день их пребывания во взводе, и они смотрели на аккордеон, как смотрит новобранец на унтер-фельдфебеля, на мундире которого красуются оба Железных креста и награды «За ранение», «За штурм» и «За рукопашный бой».

– Почему ты сам не можешь взять его? – крикнул Брокельту Бальк. Он знал, что именно Брокельт больше других привязан к «старика Луи».

– У меня пулемет и три коробки с лентами. Что мне бросить? Пулемет? А может, эти чертовы патроны? И сыграть иванам «Лили Марлен», когда иваны валом повалят в атаку? – Глаза Пауля были бешеными. Он не мог бросить свой Schrandeu. За утерянное оружие его просто расстреляли бы, и никто из товарищей не вступился бы за него перед командиром. Но не мог он оставить и «старика Луи».

– Что там происходит? – В голосе спрашивавшего была озлобленность, но и надежда. Надежда на то, что, быть может, все не так страшно, как кажется, что иваны просто блефуют, а они здесь, в блиндаже, спросонья просто слишком струхнули.

– Сталин прислал на наш участок фронта рождественские подарки! Вот что, черт побери!

– Да, Сталин, пожалуй, заботится о нас больше, чем наш фюрер.

– А может, очередная пристрелка? Иваны подвели свежую батарею, и теперь она пристреливает реперы?

– Пристрелка... Какая к черту батарея!? Разуи глаза! Так не пристреливается даже артполк.

Спустя несколько минут стало ясно, что это артподготовка. Значит, иваны скоро пойдут в наступление.

Воронцов прикусил ремешок каски и, придерживая ППШ на весу, обошел лесную сторожку. Единственное окно избушки оказалось выбитым изнутри. В затоптанном снегу напротив валялись обломки рамы и стекла. Похоже, из сторожки немцы бежали поспешно. Последние выскакивали через окно. Он заглянул в зияющий проем. Угол печи. Печь, если судить по запаху, тянувшему изнутри вместе с последним теплом, недавно вытоплена. На полу разбросано тряпье. Ящик из-под немецких ручных гранат. Кровавые бинты. Бинтов много. Возможно, здесь был пункт сбора раненых.

Немцы ушли быстро, организованно. Первую линию они покинули почти без боя. Скорее всего, отошли к Омеляновичам и заняли окопы там, перед входом в горловину, по оси которой проходит большак. Только левее, в деревне, которую должен был охватывать первый взвод лейтенанта Петрова и рота Нелюбина, шла перестрелка. Вот и отсюда тоже уходили поспешно, бросая все, что могло задержать их движение.

– Товарищ старший лейтенант! – послышался из сторожки голос Добрушина. – Ходите-ка сюда.

Воронцов вошел в сторожку. Огляделся, держа автомат наготове. Из-за печи торчали ноги, обмотанные бумажными немецкими бинтами. Бинты были наложены неумело, возможно, самим раненым, когда сознание его уже тускнело. Повязка набрякла кровью. Кровь уже подсохла. Или замерзла. Потускнела. Немец был мертв. Он запрокинул лицо с заострившимся восковым носом, словно искал в последний миг окно, чтобы увидеть небо. Оружие рядом с ним Воронцов не увидел. Ни оружия, ни ранца, ни другого снаряжения. Только стальной шлем был подсунут под его окровавленную руку, и мертвый будто опирался на него, как потерявшийся в океане замирает, положив натруженную руку на весло, увидев вдали желанный берег.

Но связист смотрел куда-то мимо увидевшего свой берег.

– Гармония, командир. Как же они гармонию свою бросили? Вот дураки!

– Это, Василий Фомич, не гармонь. Аккордеон.

– Надо бы взять. Без гармони ребятам скучно.

– Возьмем на обратном пути. Старшине скажу, чтобы забрал.

– Старшине? На обратном пути? А он будет у нас, обратный-то?

Воронцов ничего не ответил. Он и сам не знал, будет ли у них дорога назад. Если они выполняют приказ, оседлают шоссе и их поменяют, то возвращаться придется по той же дороге. Но к тому времени по проселку пройдут многие другие подразделения и обозы.

Добрушин бережно дотронулся до темно-зеленого, как бархат,

перламутра аккордеона и сказал:

– За нами артиллеристы идут. Эти скорее старшины сюда доберутся.

Связист был прав. Где сейчас Гиршман со своим обозом и кухней, кто его знает. Где-нибудь крадется следом за наступающими взводами. А аккордеон в роте не помешал бы. Аккордеон, по правде сказать, куда лучше и полезнее любой политинформации и комсомольского собрания.

– Хорошо, Василий Фомич, возьмите и отнесите его в обоз. Веретеницыной передайте. Только не говорите, что я приказал.

– Вот за это спасибо!

– Екименков, возьми рацию, – приказал Воронцов фельдшеру. – Пока Василий Фомич не вернется, отвечаешь за нее ты.

Фельдшер охотно принял из рук Добрушина ротную радиостанцию. Приобретение аккордеона радовало и его.

Несколько раз морозными утрениками, как побудку, устраиваемую немцами в одно и то же время, Воронцов слышал, как играл в деревне этот аккордеон. А вечером немцы хором пели под его аккомпанемент свою любимую «Лили Марлен». С приближением Рождества за нейтральной полосой пьянствовали все чаще, а потому музыкальный инструмент в ходу был почти каждый день.

Добрушин еще раз погладил темно-зеленый бархат инструмента, хотел было потрогать клавиши, рука его замерла. Клавиши сияли опрятной белизной. А рука связиста не отличалась чистотой. И он только усмехнулся и по-хозяйски защелкнул замки футляра.

Воронцов посмотрел на тело немца, вытянувшееся на полу между печью и стеной, на его правую руку с присохшей кровью и грязью. Рука все так же неподвижно и твердо, будто исполняя последний ритуал, лежала на стальном шлеме. Подумал: а ведь именно он по утрам мог играть на этом аккордеоне незнакомые красивые мелодии, быть может, тоскуя по ком-то. Но уже через мгновение он забыл и об аккордеоне, и о мертвом немце, и о его залитой кровью руке на стальном шлеме.

Воронцов со связными двигался в цепи второго взвода. Время от времени он останавливался, слушал звуки боя, по-прежнему не стихавшего в Дебриках. Похоже, немцы решили не покидать свой опорный пункт. Или их все же окружили и добивали. Теперь оттуда доносились частые удары легких противотанковых пушек. Петрову и Нелюбину сейчас там несладко. С минуты на минуту он ждал возвращения связного. Позади взвод Одинцова тащил ротный обоз, боеприпасы. С третьим взводом продвигался взвод ПТО и санитарный обоз. Хотя сама Веретеницына сейчас наверняка находилась правее, где вступил в бой первый взвод. Он за нее волновался

больше, чем за свои взводы. Как там она управляется с ранеными? Все-таки женщина...

Воронцов вытащил из-за отворота шинели карту. Омеляновичи, если обстоятельства не изменят их маршрута и если темп марша останется прежним, окажутся прямо перед фронтом его роты через час-полтора.

Связной, посланный к Дебрикам в первый взвод, и ефрейтор из боевого охранения по фамилии Рогоза прибыли одновременно. Рогоза доложил, что группа сержанта Черепанова дошла до рубежа безымянного ручья, справа первое озеро, переходящее в болото, слева участок дороги, окопы у дороги контролируются одиночным легким ПТО, пулеметным расчетом и курсирующей танкеткой с крупнокалиберным пулеметом; когда подошли к дороге, на ней наблюдалось оживленное движение в сторону Яровщины, но через несколько минут поток транспорта и передвижение пеших колонн резко прекратились; в глубине слышатся звуки танковых моторов; звуки удаляются к Яровщине.

– В боестолкновение не вступали? – спросил Воронцов ефрейтора.

– Нет. Мы подошли незаметно и замаскировались примерно в пятидесяти метрах от поворота дороги. Двумя группами. Вот здесь и здесь, чтобы, в случае необходимости, простреливать весь участок дороги и одновременно держать на прицеле и артиллеристов, и пулеметчиков. – И Рогоза показал на карте место, где залегло боевое охранение.

– Как ведут себя немцы?

– Спокойно. Уверенно. Такое впечатление, что наш прорыв мало их волнует. Хотя танки, судя по звукам моторов, отходят в глубину.

– Ждут подкрепление?

– Возможно. К пулеметчикам присоединилось отделение, вооруженное винтовками и автоматами. Оно пришло со стороны Омеляновичей. Отсюда. Пешим порядком. Сразу же принялись долбить землю.

– Окапываются?

– Окапываются.

– Значить, уходить не собираются.

– Похоже, что нет.

Затем доложил связной, прибывший с левого фланга. Во взводе Петрова двое убитых и четверо раненых. Двоих из них на санитарных санях отправили в тыл. Немцы дерутся за каждый дом. В бой вступили орудия дивизиона ПТО. Именно при их поддержке был подавлен ДОТ, который не давал возможности подойти к Дебрикам с западной и северо-западной стороны.

– Что соседи?



– Седьмая рота ворвалась в деревню чуть раньше нас, – пояснил связной, – и сейчас овладела большей частью домов. Мы удерживаем три постройки с северо-западной стороны. Перед нами по фронту каменный амбар. Там три пулемета и минометы. Основной огонь – оттуда.

– Связь с Седьмой, с Нелюбиным, есть?

– Есть. Их лейтенант к Петрову прибежал. Решали, как обойти ДОТ.

– Передай Петрову следующее. Первое: пусть немедленно попытается отсечь немцев от леса. Второе: о своих действиях пусть доложит командиру Седьмой роты и увяжет с ним все вопросы взаимодействия, иначе может попасть под огонь своих. Третье: после выхода из боя в Дебриках немедленно следовать за нами в район безымянного ручья и большака на Омеляновичи. Деревню зачистит Седьмая. У нас для этого сил нет.

Связные получили распоряжения и ушли. Воронцов окликнул Добрушина и приказал:

– Давайте связь со штабом батальона, Василий Фомич.

Солодовникова нужно было оповестить о том, что Восьмая вышла к дороге, что дорога под усиленной охраной, что данными о том, какие силы противник сосредоточил в глубине горловины, он не располагает и что, выходя на дорогу с целью перехватить ее и закрепиться, опасается удара именно оттуда, что бойцы боевого охранения докладывают о звуках танковых моторов примерно в полукилометре от первого озера.

– Вышел к дороге? Подтверди, Воронцов, что вышел к дороге в квадрате шестнадцать, – тотчас послышался в наушниках голос комбата.

– Докладывает Восьмой. Вышел передовым охранением к большаку Подолешье – Омеляновичи. Соседи справа и слева отстали. Кроме того, один взвод вынужден был оставить на проведение блокады населенного пункта Дебрики. Взвод из боя еще не вышел.

– Атакуй, Воронцов, дорогу! Атакуй, пока они там не опомнились и не расставили вдоль большака танки!

Что ожидал услышать Воронцов от капитана Солодовникова? Батальон в наступлении. Разведданных, похоже, нет. Артподготовка проведена вслепую. Воронок накопили по лесу порядочно. А вот Дебрики до сих пор берут, полторы роты там топчутся, и ДОТ ковыряли уже с ближней дистанции, когда положили перед ним часть взвода. Продвижение вперед других рот тоже идет вслепую. Где противник? Где его оборона? В какой он силе? Никакими данными об этом штабы не располагают. И вот наконец одна из рот вышла к дороге. Что прикажет комбат ее командиру? Конечно, атаковать участок дороги по своему фронту и овладеть им. При том, что

других успехов, ни у батальона, ни, возможно, у полка пока нет, овладение участком дороги Подолешье – Омеляновичи можно расценивать как определенный успех.

Фузилерный полк, который уже третью зиму зимовал на Восточном фронте, принадлежал к числу лучших полков вермахта, воевавших в зоне ответственности группы армий «Центр». Один из старейших, полк имел свою историю. Был сформирован как мушкетерский еще при курфюрсте Карле-Теодоре Палатинате<sup>[5]</sup>. Участвовал во многих походах, в том числе в Тридцатилетней войне и в Великой войне, как немцы называли Первую мировую. Полк всегда пользовался расположением влиятельных особ, которые в разные времена являлись его попечителями. Курфюрсты, короли, президенты, фюреры, – все они, управлявшие германскими землями в разные периоды истории, благоволити этому полку и возлагали на него свои надежды, которые полк всегда старался ревностно и свято оправдать на поле боя. Но вряд ли полк когда-либо переживал времена более тяжелые, чем те, в которых оказался в середине двадцатого века в России. Вторую мировую войну он начинал блестяще. Победа за победой, дождь Железных крестов за личную храбрость, хорошее довольствие, отпуска домой и прочее. Все это осталось позади. Теперь, к декабрю 1943 года, он потерял девяносто процентов своего личного состава, с которым в июне 1941 года форсировал реку Буг, пересек границу СССР и ринулся к Минску, Вязьме и Москве. Девяносто из ста его храбрых солдат и опытных офицеров лежали теперь на воинских кладбищах у белорусских и русских дорог, в городских скверах, на живописных лужайках в оккупированных селах, возле школ и сельских клубов, в которых когда-то размещались госпитальные палаты и операционные. Пополнения, прибывающие из внутренней Германии, а также из дивизий, дислоцированных в Югославии, Франции и Норвегии, уже не могли покрыть убыль. Новички, которых раньше не призывали по различным причинам, в том числе и по причине слабого здоровья, не закрывали дыр, образовавшихся после гибели ветеранов и ранений, несовместимых с дальнейшим исполнением солдатского долга перед рейхом. И фузилерный полк, в который на чье-то место немногим больше полгода назад прибыл шютце Бальк, был уже не тем полком, но все же по-прежнему продолжал оставаться одним из лучших. Он прочно удерживал несколько десятков километров фронта. Правда, в основном благодаря резервному полку прорыва, который в виде трех мобильных групп числом до батальона располагался за спиной фузилеров и в любую минуту был готов броситься ему на помощь.

Вот и теперь, когда русские прорвали фронт на участке одного из

батальонов полка, уничтожив опорный пункт и вторую линию траншей, батальоны второго эшелона, усиленные танками, бронетранспортерами с установками крупнокалиберных пулеметов, артиллерией, в том числе и самоходной, выстроились в боевой порядок в горловине между болотами и ждали появления противника.

Когда русские «сорокапятки» начали долбить их последний ДОТ, Бальк сразу понял, что им тут не удержаться. Один из снарядов влетел в амбразуру, разбил опорные бревна и с воем исчез в противоположной стене. ДОТ сразу наполнился пылью и запахом каленого металла. Третий номер, стоявший с запасным стволом в руках, рухнул на земляной пол, не издав ни звука. В его добротной стеганой куртке на спине зияла дыра, как будто парня проткнули колом. Из раны торчали осколки костей и багровая слизь, совсем не похожая на кровь. Первый раз на войне Бальк видел убитого орудийным снарядом. Не осколком, а именно снарядом, бронебойной болванкой калибра 45 мм, которыми иваны стреляют по танкам и бронетранспортерам. Теперь они стреляли из пушек в людей. Видимо, у них было достаточно снарядов, чтобы перебить их здесь, укрепившихся в этой деревне, из своих длинноствольных противотанковых орудий калибра 45 мм. Перебить по одному, как отстреливает снайпер пулеметный расчет.

– Уходим! Быстро снять со станков пулеметы и отходить к крайним домам! – скомандовал Бальк пулеметным расчетам.

Фельдфебеля Гейнце нигде не было видно. И командование арьергардом он принял на себя. Солдаты подчинялись беспрекословно. Все понимали, что кто-то должен отдавать распоряжения. Потому что исполнять их было куда легче, чем думать за всех.

Свой Schpandeu Бальк нес сам. Короткими перебежками, под пулями, оба расчета миновали расстояние в тридцать-сорок метров, отделявшее ДОТ от первых домов деревни. Через несколько минут к ним присоединилось и прикрытие, двое солдат, вооруженных карабинами. Все это время, пока они перебегали по тропе к крайнему дому, стрелки прикрытия вели огонь по русским, лежа у входа в покинутый ДОТ. Весь огонь иванов, в том числе и двух «сорокапятков», которые русские выкатили на прямую наводку, в эти минуты был сосредоточен на бегущих. Их счастье, что русские стреляли в это время по ним бронебойными болванками. Болванки с воем пролетали мимо, проламывали бревна домов, вспарывали снег под ногами. Но в бегущих не попала ни одна. Видимо, к такому повороту событий русские артиллеристы оказались попросту не готовы. Подноски снарядов либо перепутали, либо просто не успели

поднести к орудиям нужные заряды. Пара-тройка осколочных, и все они, покинувшие ДОТ, лежали бы сейчас в снегу с перебитыми ребрами и оторванными конечностями.

Им навстречу из-за дома выскочил фельдфебель Гейнце. Бальк вздохнул с облегчением. Когда командир рядом, любое положение, даже самое скверное, кажется не таким страшным, командир сейчас примет правильное решение и все поправит.

– Веди своих ребят туда! – И Гейнце указал на каменный сарай, стоявший в глубине деревни среди старых сосен.

Бальк вбежал в просторное здание сарая. Внутри пахло мукой. Здесь до недавнего времени работала мельница. Когда деревня оказалась на линии фронта, оборудование демонтировали и вывезли в тыл.

Конечно, за то, что они бросили ДОТ, не проявили должного упорства при защите его, Бальку, еще предстоит отвечать перед командованием. Фельдфебель Гейнце ни словом не обмолвился о брошенном ими ДОТе. Взводному все было ясно. Хорошо, если отвечать придется гауптману Фитцу. Тот опросит очевидцев и сделает свои выводы. Но не дай бог попасться кому-нибудь из штаба полка, кто носит партийный значок. Начальство, которое само не лежало под пулями иванов, любой отход с занимаемых позиций склонно расценивать как уклонение от боя. Неудачи теперь все чаще начали списывать на солдат, на усталость армии. Как будто они, солдаты, виноваты в том, что рейх уже не может восполнить потери в ротах и батальонах до требуемого штата.

Впрочем, сейчас ему и всем, кто рядом с ним, в этом выстуженном каменном сарае, стены которого изнутри, словно известкой, обметаны тонким слоем муки, наплевать на то, что будет после боя.

– Пауль! Туда! – крикнул он Брокельту, и тот побежал к узкому окну-бойнице в торцевой стене. Следом за ним двое солдат потащили коробки с лентами, запасные стволы и станок для «МГ-42».

Вдвоем с Буллертом они установили свой пулемет прямо в дверном проеме. Буллерт трясущимися пальцами запихивал в приемник конец металлической ленты. Бальк тем временем заваливал свободное пространство входа разным подручным хламом.

Здание сарая, по всей вероятности, было выстроено еще в прошлом веке. Советская власть так не строила. Полуарочные окна. Почти идеальная кладка фасада, усиленные углы, соразмерно утяжеленные небольшими выступами. На окнах решетки – замысловатая узорная ковка. На дверях ручки, замки и петли, в которых повторяется все тот же рисунок и мотив, что и на решетках, и в очертаниях всего здания. Такой сарай мог бы стоять

и в городе. Обходя деревню, Бальк всякий раз останавливался перед этим строением. Он с восхищением осматривал его и не мог понять, каким образом такое чудо появилось здесь, в глухомани, среди болот и нищеты. И это тоже была – Россия.

Но сейчас предстояло думать о другом. Решетки – это хорошо, не обязательно у каждого окна ставить солдата, подумал Бальк, только как мы отсюда будем уходить? Оставалась только дверь. Но она выходила не на восток, не к лесу, а на запад, в сторону дороги, по которой сейчас бежали сюда русские.

Бальк лег за пулемет. Брокельт уже вел огонь в сторону гряды сосен, где тоже мелькали фигурки в белых камуфляжах. Иваны выскочили из-за изгороди и бросились к одиноко стоящей бане, вниз, в ольхи. От бани до каменного сарая оставалось метров пятьдесят. И, закрепись они там, в окна тут же полетят гранаты, а через мгновение после гранатной атаки, жди их самих. Бальк быстро поймал в прицел троих бегущих и срезал их первой же очередью.

– Порядок, Арним, – похлопал его по плечу Буллерт. – Отобьемся, дружище. Если они не подведут орудия и не примутся выкуривать нас отсюда, как выкурили из ДОТа.

– Так и будет, – ответил он, не отрывая глаз от опустевшей улицы.

Среди подстреленных им на пустыре двое оказались ранеными. Они кричали и барахтались в снегу. Один из них пытался тащить второго, но сил ему не хватало, он бросался в снег, отлеживался, а потом снова пытался тащить товарища. Добивать их никто не решался. Но и наблюдать за ними становилось тягостно.

– А ну-ка, дай им еще пару очередей, – сказал второй номер.

Бальку достаточно было взглянуть на него, чтобы тот на время замолчал.

Брокельт тоже прекратил стрельбу. Судя по возне у окна, расчет менял перегретый ствол. Для этого им понадобится минимум три-четыре минуты. Иваны за это время могут подойти на бросок гранаты. Бальк высунулся из-за своей примитивной баррикады, чтобы взглянуть на гряду сосен левее сарая. Одинокая фигурка в коротком белом полушубке мелькнула среди сосен. Бальк перекинул пулемет на ящик и прицелился. Мелькающий среди сосен нагнулся, немного повозился и потащил раненого к дому. Дом и надворные постройки чернели ниже и дальше по улице. Если стрелять, то надо стрелять именно сейчас, когда иван, утаскивающий раненого, еще не отполз туда, где сосны стояли чаще и где он мог найти укрытие от пуль. Но в движениях его Бальку показалось что-то странное. Да это же женщина! И

он убрал палец со спуска.

– Ты странно себя ведешь в бою, – прохрипел, сплевывая тягучую слюну, Буллерт.

– Странно? Не замечал.

– А ты присмотрись.

– Не забывай о своих обязанностях, – холодно ответил Бальк, давая понять, что тема исчерпана.

Сзади привстал на корточках их наблюдатель и принялся в бинокль осматривать открывавшееся перед ними пространство. После гибели Пачиньски, которого они так и не донесли по пункту сбора раненых, расчету дали другого наблюдателя. Тот скользнул линзами по белому пространству перед сараем, по бане вниз, по зарослям ольховника, вернулся, еще раз осмотрел раненых, удостоверился, что опасности для них они уже не представляют, повернул бинокль левее, к гряде сосен, и замер.

– Это женщина, – сказал он первому номеру.

В его тоне было нечто, что Бальк уловил безошибочно. Передовая, фронт день за днем вылуцивает, как мышь зерна из колоска, из человека все человеческое, оставляя в нем набор необходимых инстинктов, функций, благодаря которым солдат может оставаться вполне полноценным солдатом. Стрелять, когда это необходимо, бежать вперед или бежать назад, когда это тоже необходимо, не бросать раненого товарища, а это необходимо всегда, заботиться об исправности оружия и пригодности окопа. Что еще? Пить, есть, иметь возможность согреться и уснуть хотя бы на пару часов.

– Женщина? Что она там делает?

– Санитар. У иванов их много. Почти в каждой роте.

– А ну-ка, Арнольд, дай сюда бинокль. – И Буллерт протянул руку в сторону наблюдателя. Солдата, сменившего в их расчете третьего номера Эрвина Пачиньски звали Арнольдом Штриппелем. Родом он был из Кельна.

– Точно, девка! – Буллерт даже привстал. – Вот бы увидел ее сейчас наш папаша Гейнце!

– Убери-ка голову, приятель, – сказал ему Бальк. – Второй номер мне нужен до конца этого боя.

Бальк и без бинокля видел, что это женщина. Вот она почему-то оставила свою ношу, села на снег, поправила сбившуюся на затылок шапку на белом меху, и на четвереньках поползла за сосну. Там лежал еще один раненый, и она принялась перевязывать его. Похоже, ни того ни другого бросать она не хотела. Тащила, выбиваясь из сил, обоих. По очереди, от

сосны к сосне. Словно понимала, что за нею следят из сарая, с любопытством наблюдают поверх прицелов, и что, если она утащит одного, этого минутного исчезновения ей не простят. Почему иваны ей не помогают? Бальк ждал, что соседний расчет вот-вот заменит ствол, и тогда Пауль снова откроет огонь по гряде сосен. Это был его сектор. Запретить ему стрелять туда, где только что атаквали русские, он не мог. Но наверняка Пауль и сам видит, кто перед ним в соснах. Пусть сам решает, как поступить. Это его война.

Война, размышлял Бальк, оставляла им небольшую возможность для личного выбора. Но все-таки оставляла. И выбор, чаще всего, был небольшим – между жизнью и смертью. А значит, выбирать почти не приходилось. Два месяца назад, в лесу под Оршей, когда ему сунули в руки чужую винтовку и поставили в шеренгу отделения, которое должно было расстрелять старика и его слабоумного сына, Бальк тоже мог выбирать. И тот выбор был менее жестким. Между совестью и честью солдата вермахта и бесчеловечным приказом вестфальца, командовавшего расстрельной группой. Только и всего. Что мог сделать с ним тот ветеран унтер с нашивкой «Вестфальский гренадер»? Да ничего. Сказал бы что-нибудь оскорбительное и в строй вместо Балька поставил другого. Доложил бы потом гауптману. Но дальше начальника поезда это бы не пошло. Но Бальк остался в строю. Там он выбрал выстрел. Быть может, им владело чувство мести за тех парней, которых они вынесли из вагона и сложили на перроне в Борисове. Но старик с сыном не имели к той истории никакого отношения. Был и еще один миг для выбора: когда Бальк обнаружил в повозке под подстилкой немецкую фляжку. Если бы он не показал ее унтер-офицеру, тот, скорее всего, отпустил бы тех бедолаг домой. Но Бальк поступил так, как предписывалось поступить солдату вермахта.

И теперь перед глазами стоял старик. Губы его сводила гримаса надвигавшегося ужаса, а голова дергалась, как будто существовала сама по себе, отдельно от туловища. И эти подергивания казались насмешкой над солдатами, обступившими обреченных. Седая голова русского насмехалась над их оружием, над командами, которые отдавал унтер-офицер, и над исходом, который уже predetermined. Она теперь насмехалась над одним из тех, кто стоял в шеренге. Интересно, внутренне поморщился Бальк, думает ли еще кто-нибудь из тех, кто тогда стоял рядом с ним, о том же. Или старик приходит только к нему. Возможно. Ведь во время расстрела напротив старика стоял именно он, Бальк. Вестфалец все рассчитал и поставил их друг напротив друга.

Русская металась среди сосен, как загнанная охотниками оленуха.

Там, у окна, щелкнула крышка приемника, но выстрелов не последовало. Прекратили одиночный огонь и стрелки, занимавшие позиции у оконных проемов. Все наблюдали, как оленуха перетаскивает раненых. То одного, то другого. От сосны к сосне. Прячет их за толстыми стволами вековых деревьев, чтобы, в случае возобновления огня, ни одна из пуль не задела их, а сама снова выскакивает на чистое, легко простреливаемое пространство и бежит, чтобы затем на несколько метров ближе к спасительным постройкам перетащить очередную свою ношу.

«Пли!» – вдруг скомандовал вестфалец, и палец Балька машинально лег на спуск. Нет, выбор, пусть он и невелик, но все же есть. И он значит для них здесь, лежащих на затоптанном снегу и мерзлой земле, под пулями, очень много. «Пли!» – орал вестфалец. И его слышали все, засевшие в каменном сарае и наблюдавшие за русской. Нет, черта с два тебя здесь кто послушает, со злорадством подумал Бальк. Это тебе не оршанский лес. Здесь другие правила. Здесь передовая. И если еще посмеешь орать, мысленно припугнул унтера Бальк, получишь штык в задницу.

Бальк пристально наблюдал за ней. Он даже успел дать ей имя – Оленуха. Очень даже похожа. Так она выручает своих оленят. Вдруг он поймал себя на мысли, что не просто восхищается этой русской, которая так бесстрашно и храбро в одиночку выполняет свой долг, но любит ее движениями. Старик с трясущейся седой головой исчез. Что ж, значит, он пришел в себя и уже хотя бы не галлюцинирует. Может отчетливо видеть перед собой предметы и цели, не путает их с воображаемым, и реально оценивает обстановку. Обстановка пока лишена серьезной опасности. И поэтому можно понаблюдать за русской.

– Карл! – вдруг раздался голос Пауля. Тот, обернувшись в глубину сарая, окликал одного из стрелков. – Скажи, положи руку на сердце, твоя Берта так сможет?

– Вряд ли, – ответил Пауль. – Разве что встать на четвереньки, когда я об этом попрошу или когда ей самой так захочется.

Раздался смех. Здесь, в сарае, ни раненых, ни убитых еще не было. Двоих убитых они оставили там, в домах, где хозяйничали уже русские, двоих или троих в ДОТе. О мертвых можно уже не думать. Оставить их мертвым. Взвод ушел в сторону сторожки, чтобы занять оборону там, и оттуда поддержать их отход. Но что-то, видать, у них не заладилось, позиции в окрестностях лесной сторожки молчали. Значит, русские опередили их. Или оттеснили в глубину леса. Аккордеон унесли ушедшие к сторожке. Папаша Гейнце приказал не бросать «старика Луи».

– А мне больше нравится, когда женщина сверху, – мечтательно сказал



Буллерт. – Когда она тушит свечу...

– Это как?

– Это очень просто, сынок. Особенно для нее. И если ты такое еще ни разу не пробовал с женщиной, то будешь в восторге! Если, конечно, выберешься отсюда и тебе иваны не отстреляют яйца.

– Я уже в восторге. – И спрашивавший глубоко втянул ноздрями воздух, будто пытаюсь почувствовать среди иных запахов запах женщины.

– И не пытайся это представить, сынок. Особенно здесь и сейчас, в двух шагах от иванов. Ты только все испортишь.

– Он обнюхивает ее, – сказал один из стрелков и кивнул карабином в сторону своего товарища, который переспрашивал по поводу *тушения свечи*.

Снова послышался смех. От окон сквозняками стало растягивать по всему пространству сарая табачный дым. Многие, пользуясь внезапной паузой, закурили. Это успокаивало нервы.

Свиньи, подумал Бальк, так говорить о своих женах. Но он знал и другое: иначе выжить в этом аду невозможно. Не партийные же лозунги им произносить здесь и сейчас, в этом выстуженном сарае под прицелом у иванов.

– Ты и вправду ее чувствуешь, сынок? – окликнул стрелка Буллерт.

– Если бы вы не курили... – с той же серьезностью ответил тот.

– Перестань. Она не для тебя. Ты для нее слишком коротышка. Даже если она согласится, ты не сможешь достать до нее, и кому-то из нас придется приподнимать тебя и держать на нужной высоте. Возможно, даже двоим. А это позор не только для вермахта, но и для всего рейха.

Снова раздался дружный смех.

– Я ее взял бы иначе, – сказал стрелок, не отрываясь от окна.

– Ты ее уже берешь. Я знаю, сынок, ты такую красотку не упustiшь. Скажи, ты ее уже раздел?

– Почти.

– Я знаю, ты справишься. Но скажи, если она сейчас согласилась только так, как любит Берта, кого бы из нас ты взял в помощники? Любой из нас с удовольствием согласится поддержать тебя в трудную минуту на нужной высоте. Нельзя допустить, чтобы эта славянка почувствовала, что у тебя, настоящего арийца, чего-то не хватает.

– Хорошо, я подумаю.

– Назови, сынок, лучших из нас. Будь справедливым. Не бери пример с папаши Гейнце.

Болтовня Буллера, похоже, подействовала на солдат ободряюще.

Когда помощник адвоката был в ударе, взвод его слушал с тем же восторгом, что и голос Лейл Андерсен. Сегодня, похоже, он пребывал именно в таком приподнятом настроении. Балька иногда коробил грубый солдатский юмор третьего номера. Но лучше было слушать сальности Буллерта, чем стрельбу русских пулеметов.

– Ну вот, – проворчал второй номер и протянул Бальку бинокль, – я так и чувствовал, что наша коллективная мастурбация окажется недолгой. Они подводят пушки. Сейчас начнется...

Нелюбин передвигался вперед в общей цепи и видел всю картину происходящего боя. Вначале оба его взвода, задачей которых было охватить Дебрики с востока и юго-востока, попали под плотный минометный огонь. Кондратий Герасимович сразу погнал взводы вперед, и они оказались на опушке леса, когда минометчики не успели еще как следует пристреляться. Поэтому-то и досталось второму взводу, который двигался во втором эшелоне.

– Эх, Гудилин-мудилин, – морщился старшина Пересвятов, оглядываясь в поле, где густели взрывы мин, – куда же он прет?! Не мог переждать, когда они выдохнутся.

Нелюбин смотрел на гибель взвода младшего лейтенанта Гудилина молча. Ничего сделать уже было нельзя. Артиллеристы двигались немного правее. Их взводный оказался предусмотрительней. Как только ударили минометы, он повернул обе запряжки назад, загнал лошадей с орудийными передками и орудиями в овраг и пока не показывался оттуда. Но вскоре Нелюбин разглядел в снегу две черные точки. Одна тут же полыхнула огнем, и в деревне сразу занялась крыша одного из строений. Именно откуда-то оттуда, из-за крыши этого дома и соседних построек, били минометы. Началась дуэль артиллеристов и немецких минометчиков.

Нелюбин приказал взводам рассредоточиться, наметил для каждого из них ориентиры для атаки и махнул автоматом:

– Вперед, ребята! Пока артиллерия стреляет, они огня не перенесут!

Прошли метров сто. Пересвятов захватил крайние дома и закрепился там. Тут же расставил свои пулеметы, снайперов и повел огонь в глубину Дебриков. Минометы прекратили обстрел. Но ожил вдруг ДОТ, находившийся возле дороги. Первый взвод сразу залег. Нелюбин видел коренастую фигуру лейтенанта Мороза. Взводный перебежал от холмика к холмику, но поднять людей так и не смог. Плюхнулся в снег, то ли понял, что все усилия его бесполезны и надо ждать изменения ситуации, то ли получил пулю.

Эх, ектыть, лихорадочно соображал Нелюбин, оглядывая поле боя и

ища выход, не надо было в лоб на деревню лезть. Обошли бы ее и придавили взводами второго эшелона. Приказ... Вот тебе и приказ. Третью зиму воюем, а все людей суем в лобовые атаки. Одна надежда на богов войны. И тут над белым курганом дома вздыбился черно-белый куст взрыва. Ага, значит, не одной пехоте нынче воевать. И Нелюбин уже веселей посмотрел в поле, где залег один из его взводов.

В середине Дебриков стрельба разгоралась все сильнее и сильнее. Там атаковал взвод старшины Пересвятова.

Поднялся второй взвод и, изменив направление, начал подтягиваться к лесу. Гудилин все же соображает, мысленно похвалил младшего лейтенанта Нелюбин. Теперь предстояло выручить лейтенанта Мороза.

Артиллеристы методично долбали ДОТ. Похоже, стреляли бронебойными. Курган дымился. Один пулемет замолчал. Очередная трасса прочертила свою пологую стремительную траекторию и исчезла в амбразуре. Взрыва внутри не последовало. Эх, ектыть, подумал Нелюбин, если бы осколочным!.. Но осколочным так точно не выстрелишь. Однако после прямого попадания прекратил огонь и второй пулемет. По стежке в сторону крайних дворов бежали пулеметчики. Нелюбин тут же выстрелил в сторону залегшего первого взвода из ракетницы. Красная сигнальная ракета описала пологую дугу и растаяла, оставив в небе едва различимый черный прерывистый след. И тотчас он увидел коренастую фигурку Мороза, вскочившую из снега прямо напротив дымящегося кургана.

– Жив, сукин сын! – радостно подумал вслух Нелюбин и побежал в сторону крайних дворов, уже очищенных от противника взводом старшины Пересвятова. Добежал до хлевов, заскочил за угол и сразу же оглянулся в поле. Там осталось лежать несколько неподвижных бугорков. Возле них копошились двое. Санитары, понял Нелюбин. Потери в первом взводе были большими. Он с болью стиснул зубы. Зачесались рубцы на груди и на ключице. До деревни еще не дошли, а уже третья часть роты выкосили. Он видел, как согнувшись и на четвереньках, чтобы уберечься от пуль, которые предназначались уже не им, в тыл пробирались своим ходом раненые.

Правее, где тянулась гряда старых сосен, Нелюбин разглядел реденькую цепь. Это были не его люди. И он догадался: Воронцов поднял свой левофланговый взвод, охватывает Дебрики с северо-востока. Вот молодец, Сашка! Выручил! Эх, как он меня выручил! Сейчас сообщу поднажмем и зажмем немцев в деревне! Нахватаем пленных и трофеев!

Конные запряжки артиллеристов снова показались в поле.

Бой развивался сумбурно, вопреки всем законам и поставленным перед ротой задачам. Черт бы побрал эту распроклятую деревню, думал

Нелюбин, выглядывая из-за угла. По проулку, соблюдая одинаковый интервал, пробежало несколько солдат. По угловатым каскам и высоким ранцам за спинами Нелюбин понял – немцы. Оглянувшись, увидел Звягина, который уже снимал автомат с предохранителя, и крикнул:

– Огонь, ектыть! Огонь, ребята!

Нелюбин стрелял, присев на колено, повел длинную очередь по мелькающим немецким пехотинцам, целясь в середину корпуса. Над ухом резким боем загрохотал ПППШ Звягина. Кто-то справа помогал им редкими выстрелами из винтовки. Он заметил, как упал немец, бегущий впереди, как его тут же подхватили, как присели двое других, замыкавших колонну, и тотчас граната с длинной ручкой, кувыркаясь, как палка, перелетела через изгородь и провалилась в рыхлый снег прямо перед ними.

– Граната! – успел крикнуть Звягин и с силой рванул Нелюбина за воротник полушубка, стараясь затащить ротного за угол постройки.

Взрыв пошатнул хлев, стряхнул с соломенной крыши снежный сугроб. Когда Нелюбин вновь выглянул в проулок, там было пусто. Немцы исчезли. А в глубине деревни усиливалась стрельба.

Солдат, стрелявший из винтовки из-за кладушки дров справа от них, вылез из своего укрытия, на ходу зарядил новую обойму и сказал:

– Одного-то я, кажись, подстрелил.

В центре Дебриков бахали гранатные разрывы, слышались крики. Там, видимо, дело дошло до рукопашной. Нелегко Седьмой роте давалась эта деревня. Но они все же охватили ее, не дали уйти основной части гарнизона. Чувство мести играло в Нелюбине. Он коршуном оглядывал ландшафт деревни и окрестностей, стараясь определить, в каком положении в данный момент находится его рота, где противник и есть ли локтевая связь с соседями.

Взводные собирали своих людей, на ходу проводили частичную перегруппировку. Свою задачу они сейчас понимали и без него. А его задачей было обеспечить их дальнейшее продвижение усилением. Взвод легких пушек, покончив с ДОТом, уже втягивался в деревню. Следом входили минометчики, волокли на плечах массивные плиты, «трубы» и остальную матчасть.

Нелюбин увидел в проулке еще несколько солдат своей роты, окликнул их. Они отбились от взводов и теперь блуждали среди дворов, как овечки в сумерках.

– За мной, ребята! – махнул автоматом Нелюбин и побежал по проулку, по которому минуту назад уходили в сторону леса немцы.

Они перелезли через изгородь. За домом свернули вправо, к дороге,

которая делила Дебрики на две улицы, перебежали через нее. Впереди увидели каменное строение. Из него полыхал огонь сразу нескольких пулеметов.

Позиция у немцев была удобная. Сарай стоял немного на отшибе. К нему примыкала гряда сосен, а дальше темнел лес.

## Глава четырнадцатая

В это утро Шура увидела всех своих. Всю семью. Брата, маму. Отца она тоже увидела, но отец стоял как бы в отдалении, за их спинами. Иванок и мама были словно озарены солнцем. А отец стоял в тени. Его лицо она видела смутно. Это был не сон. Просто, когда ей в очередной раз захотелось заплакать, она закрыла глаза, сделала над собой усилие, и те, о ком она постоянно думала, вдруг отчетливо проявились из хаоса мелькающих пылинок и грациозно перемещающихся влажных фиолетовых кругов.

В последнее время налеты авиации союзников на Баденвейлер стали чаще, и фрау Бальк подолгу оставалась у себя на ферме. Там, в долине у подножия гор, где не было никаких заводов и военных объектов, не бомбили.

Шуру оставляла присматривать за домом.

Во время налетов английских и американских самолетов она спускалась в подвалы и сидела там с зажженной свечой, забившись в угол. Зажигать свечу в подвале фрау Бальк ей запрещала. Внизу хранилось много старых вещей, которые могли легко вспыхнуть. Фрау Бальк боялась пожара. Особенно после того, как в центре города во время бомбежки сгорело несколько домов.

Шура осторожно отвела тяжелую портьеру и выглянула в окно. Горы вдали были покрыты плотной дымкой. Шел снег. Дома, в России, в ее родных Прудках, тоже, наверное, сейчас шел снег.

Прошел уже год, как она здесь. Сын фрау Бальк отбыл на фронт. Дом снова опустел. Арним совершенно был не похож на тех солдат, которые приезжали в их деревню, угрожали старосте Петру Федоровичу, грузили на кузов машины туши забитых свиней, резали во дворах овец и рылись в сундуках и чуланах в поисках теплых вещей, портили воздух прямо за столом и без всякого стеснения оправлялись у школьного крыльца. Он изредка уходил в город, кого-то навещал, передавал чьи-то письма. Посещал театр и потом с фрау Бальк подолгу обсуждал увиденное. Никогда не говорил о войне. Как будто это было для него запретной темой. Однажды фрау Бальк спросила его о том, где живут они на фронте и чем их кормят. В другой раз спросила, много ли убитых, где и как хоронят их тела. Сын побледнел и с минуту смотрел на мать таким взглядом, что и она эту тему больше не затрагивала. Основное время Арним проводил в своей

комнате, больше похожей на библиотеку. Эта небольшая комната, окнами выходящая одновременно на тротуар и дорогу, а также во внутренний дворик, Шуре очень нравилась. Во-первых, здесь было много книг. Правда, все на немецком или на французском языках. Кто-то из предков Арнима, кажется, по линии отца, имел французские корни. По-французски Шура читать не смогла. А вот немецкие книги потихоньку брала и читала уже бегло. Во-вторых, ей тоже хотелось стать студенткой и жить среди книг и тетрадей с конспектами. А в-третьих, комната сына хозяйки была просто уютной. Арним закрывал за собой дверь и часы напролет читал, листал какие-то альбомы, конспекты. Что-то записывал в серую тетрадь, которую запирали в столе на ключ.

Вечером, когда стемнело, Шура обошла все комнаты, проверила на окнах светомаскировку. Спустилась на кухню, зажгла настольную лампу и открыла книгу, которую ей перед уездом на фронт подарил сын хозяйки. Это было берлинское издание «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Когда Арним принес ей эту книгу, она взяла ее, прочитала название, потому что этот неожиданный подарок должен был что-то означать, и, не поднимая глаз, кивнула в знак благодарности и сказала:

– Эту книгу я читала по-русски.

– Что ж, теперь прочитаешь по-немецки. И дай бог, чтобы настало такое время, когда ты сможешь прочитать эту книгу и на языке оригинала – по-французски. Возможно, почувствуешь разницу. У тебя хорошо получается. Но здесь, в Баденвейлере, тебе не стоит разговаривать на улице, с местными, особенно с крестьянами, приезжающими из деревень. Разговаривай с мамой, с почтальоном. У них правильное произношение. Но не смей разговаривать с Гальсом! У него ужасный швабский акцент! – В его глазах играла улыбка.

Шура взглянула на него и тут же опустила глаза. Разговаривая с ним, Шура старалась не смотреть ему в глаза.

Он был другим немцем. Не кричал, не топал ногами. Напротив, она чувствовала, что он хотел разговаривать с ней как с равной. Ведь он всего на четыре года старше ее. Они могли учиться в одной школе, и тогда он для нее был бы всего лишь старшеклассником. Но она знала и другое: она здесь в неволе, в работницах, ее насильно разлучили с семьей, везли сюда, как скотину, а потом выставили на бирже, как рабыню. Она знала, что думают о русских немцы. Доброе отношение фрау Балк и ее сына тоже может измениться в одно мгновение, если она допустит какую-либо оплошность. Поэтому лучше вести себя так, как предписывалось.

– А почему ты прячешь глаза? Когда ты разговариваешь, разве тебе не

хочется посмотреть в глаза собеседнику?

– Хочется, – кивнула она, но глаз не подняла.

– Так в чем же дело?

– Нам так приказано.

– Какая нелепость!

– Если мы нарушим это правило, то будем жестоко наказаны.

Он что-то сказал скороговоркой. Что именно, Шура не поняла. Возможно, какое-нибудь ругательство на местном наречии.

Перед уездом Арним Бальк, видимо, сам читал «Трех мушкетеров». Рассматривая иллюстрации и невольно сравнивая их с рисунками из русского издания, Шура нашла заложенную между страниц закладку. Это был театральный билет городского театра на спектакль «Фауст» Гете. Почему он хотел, чтобы и она прочитала эту книгу?

Иллюстрации немецкого издания несколько отличались от тех, которые она помнила по книге, которую брала в школьной библиотеке. Фигуры и лица мушкетеров и дам в русской книге были более утонченными, а позы более изящными. Здесь же и д'Артаньян, и его верные товарищи, и госпожа Бонасье выглядели как-то слишком обыденно и даже грубо. Должно быть, это различие можно было объяснить той разницей, с которой русские и немцы воспринимали французов и их общую историю. Немцы и французы часто воевали. И в этой войне, которая теперь перекинулась и на Россию, и на Африку, и на Тихий океан, немцы больше всего гордились быстрой победой над французской армией. В истории России тоже была война с Францией. Поход Наполеона, сожжение Москвы. Но такой ненависти к французам не осталось.

Многие французы из числа военнопленных работали на заводах и в различных мастерских Баденвейлера. Даже в санатории на термальных источниках, куда прежде имели допуск только немцы, работала теперь группа французских военнопленных. Выглядели они значительно лучше, чем русские, которых немцы держали в другом бараке, на краю города, у реки, где всегда дули ветра и было холодно, сыро. Барак не был приспособлен для проживания в нем зимой, не имел печей. Как там теперь, в декабрьские холода, выживали военнопленные, Шура не представляла.

Декабрь на юго-западе Германии был конечно же не таким холодным, как в России. В Прудках, в ее родной деревеньке на границе Смоленской и Московской областей, сейчас, наверное, все завалено снегами. И морозы стоят под тридцать, так что ночами слышно, как на пруду ломается лед. Снегом укрыты поля, опушки, луга, и лес вдаль, за белым сияющим полем можно разглядеть не всегда. Случаются дни или утра, когда лес



покрывается таким пушистым инеем, и тогда он теряется в пространстве и горизонт словно раздвигается, уступая такому простору, от которого захватывает дух. Как будто Прудки – это центр вселенной, а остальной мир далеко-далеко.

Странно, она читала книгу по-немецки, в ней рассказывалось о юге Франции и Париже и написана она была французом, а перед глазами стояла заснеженная родина и заиндевелая дверь в землянку. Писатель рассказывал увлекательную и веселую историю о приключениях своего героя, но на душе было невесело.

И все же Шура настолько увлеклась чтением, что не заметила, как погода за окнами изменилась. Облака ушли за холмы, поросшие хвойными и буковыми лесами, выглянуло солнце. Снег тут же начал исчезать. В России так бывает в октябре, когда землю засыпает первой желтоватой, будто пропитанной молоком, крупой.

Шура стояла у окна и смотрела на дальние горы, когда на пустынной улице появился человек, одетый так, как одевались французские военнопленные. Шура сразу узнала его. Это был парикмахер, с недавних пор работавший в парикмахерской в конце их улицы. Немцы проводили мобилизацию за мобилизацией, выгребали из городка всех мужчин призывного возраста, кто мог носить военную форму и держать в руках оружие. На фабриках и в мастерских за станками места немцев занимали бельгийцы, поляки, французы, русские. В последнее время прибывали вольнонаемные рабочие из Швейцарии. Правда, условия их работы и пребывания здесь были совершенно иными. Швейцарцы жили так же, как и немцы. Кое-какие послабления власти вынуждены были ввести и для остовцев. Уже можно было более свободно ходить по улицам города. В выходные дни разрешалось посещать кинотеатр, гулять по роще. Можно было на день наняться на работу к бауэрам, чтобы в оплату получить побольше еды. В ост-лагере кормили по-прежнему впроголодь. Французские и бельгийские военнопленные получали продуктовые посылки из Международного Красного Креста. И некоторые продукты у них можно было купить гораздо дешевле, чем по продуктовым карточкам в здешних магазинах.

Парикмахер подбежал к почтовому ящику и что-то торопливо сунул в него. Почту так не разносят, сразу заметила Шура. Она решила дождаться темноты и достать из ящика то, что бросил туда парикмахер-француз. Чуть позже появился почтальон. Он поставил возле фонарного столба свой велосипед и опустил в почтовый ящик газету. Это был очередной номер «Фелькишер беобахтер». Фрау Бальк не состояла в нацистской партии, но

партийную газету выписывала уже многие годы. В подвале лежали целые кипы, перевязанные шпагатом.

Когда стемнело, Шура взяла ключ, потихоньку открыла дверь и выбежала на улицу. Шел холодный дождь. Снова из-за гор насунулись тучи. Вот и хорошо, подумала Шура, самолеты в такую погоду не прилетят. Она быстро открыла почтовый ящик, нашарила там газету и какой-то листок. Газета пахла типографской краской. Листок же был исписан карандашом. По-немецки.

Газету Шура положила на стол в гостиной рядом со вчерашним номером и позавчерашним. Фрау Бальк жила на ферме уже несколько дней, и когда вернется, неизвестно. Шура складывала почту на полочке под зеркалом. Такой порядок завела фрау Бальк, и Шура неукоснительно следовала ему.

Она развернула листок и прочитала:

*«Руководители трех великих держав США, Великобритании и СССР в Тегеране на конференции союзных государств антигитлеровской коалиции рассмотрели ряд военных вопросов, касающихся высадки армий союзников во Франции. На конференции была также принята ДЕКЛАРАЦИЯ об ответственности гитлеровцев за совершенные зверства .*

*Немцы, которые принимали участие в массовых расстрелах итальянских офицеров и норвежских заложников или критских крестьян, или же те, которые принимали участие в истреблении населения на территории Советского Союза, которое сейчас защищается от врага, должны знать, что они будут отправлены обратно в места их преступлений и будут судимы на месте народами, над которыми они совершали насилие. Пусть те, кто еще не обагрил свои руки кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзные державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей с тем, чтобы могло совершиться правосудие ».*

*Рузвельт. Сталин. Черчилль.*

*1943 год.*

Сердце у Шуры забилося так, что она едва не вскрикнула.

Вот почему в последнее время немцы смягчили режим для военнопленных. Даже русским разрешили появляться в городе. И прекратили кричать в сторону рабочих, которые строем по утрам идут в сторону фабрики: «Russland kaput!»

Несмотря на послабления, в город Шура старалась одна, без фрау Бальк, не ходить. Она боялась не столько полицейских, которые всегда с подозрением осматривали «остовцев», останавливали любого, кто казался

подозрительным, спрашивали, куда он идет и откуда, требовали назвать имя хозяина и прочее. Но хуже полицейских были мальчишки. Они бегали по улицам ватагами по пять-шесть человек. Иногда катались на велосипедах. Эти маленькие наци с фашистскими значками на штормовках и куртках могли остановить, потребовать того же, что и полицейские. Но они, изо всех сил подражая взрослым, были наглее и бесцеремоннее. Они окружали свою жертву, обыскивали, выворачивали карманы и выбрасывали прямо на мостовую все содержимое. Иногда исподтишка щипали, били ногами по щиколоткам и икрам, так что человек падал. И это вызывало у них смех и ликование. Им тоже нужна была победа. А потом могли отвести в полицейский участок. Однажды возле магазина они остановили Шуру. Из полицейского участка ее вызволяла фрау Бальк. Дома, когда за ними закрылась массивная дверь и никто с улицы их уже не мог услышать, фрау Бальк сказала бесцветным усталым голосом:

– Мальчишки, которые тебя остановили, сказали, что ты оказала сопротивление и произносила слово «фашист» таким тоном, как будто это ругательство.

– Я ничего не помню.

– Ничего? – переспросила фрау Бальк.

Конечно, фрау Бальк не поверила Шуре. И Шура, никогда не лгавшая своей хозяйке, поняла, что допустила оплошность. Ее нужно было немедленно исправить.

– Один из них, самый большой, тронул меня вот здесь, и я, возможно, оттолкнула его, потому что мне было неприятно.

– Оттолкнула? – Фрау Бальк посмотрела на нее так, как посмотрела бы на Шуру мама. – Или все-таки ударила?

– Возможно, ударила.

– Так возможно, или все же ударила?

– Ударила.

– Куда?

– Вот сюда. – И Шура шлепнула ладонью по щеке.

Фрау Бальк рассмеялась и обняла ее.

– Ты не ударила, девочка моя! Ты дала ему пощечину. Они начинают подражать им даже на улицах! Что будет с немцами при таком воспитании молодежи?! Что будет с Германией?! – Но фрау Бальк тут же спохватилась. Приоткрыла входную дверь, выглянула на улицу. Немного погодя, она сказала: – О том, что мы чейчас сказали друг другу, нужно забыть.

– Я поняла, фрау Бальк. Я уже все забыла.

– Да, да, ты умная девочка, и так будет лучше для нас обеих. – Фрау

Бальк смотрела на Шуру, не скрывая своего внутреннего восхищения. Во-первых, ее работница поступила совершенно правильно, не позволив оскорблять себя. Во-вторых, она так быстро осваивала правильную немецкую речь, что само по себе уже не могло не восхищать. Она знала, что сын давал ей для прочтения какие-то книги. – Ты действительно хорошая ученица. Но все же не забывай, какое сейчас время. Так нам будет легче.

– Я поняла, фрау Бальк.

Ей действительно было легко с этой русской. Особенно после извещения о гибели мужа. Она не могла слышать слова «Сталинград». Если оно доносилось откуда-нибудь с улицы или произносилось по радио, ее начинало трясти. Ужас, поселившийся в душе фрау Бальк, был понятен Шуре, быть может, как никому другому. Когда Шура слышала гудок паровоза и стук вагонных колес, пусть даже доносящийся издали, она переживала нечто подобное.

Шура аккуратно открыла газету. Фрау Бальк не должна была догадываться, что ее работница читает «Фелькишер беобахтер» прежде, чем свежий номер просмотрит она, в своей спальне, в кресле под торшером.

На первой странице сообщения об упорных сражениях в Италии в районе Монте-Кассино. В Атлантике германский подводный флот успешно атаковал конвой союзников и потопил пять судов. На Восточном фронте на Нижнем Днепре и под Черкассами сильные бои. Дивизии группы армий «Центр» ведут успешные операции локального характера в районах Могилева и Витебска, прочно удерживают в своих руках эти стратегически важные города и постепенно превращают их в неприступные крепости.

Если немцы превращают города в крепости, поняла Шура, то это означает, что они укрепляют свою оборону. А если укрепляют оборону, то о наступлении уже и не помышляют! Ни о какой конференции в Тегеране немцы не писали. Ни на второй странице, ни на последующих. Шура аккуратно свернула газету и положила на поднос.

Конечно, немцы не сообщат ни о каких встречах Сталина, Рузвельта и Черчилля, ни о каких декларациях. Видимо, эту весть принесли в Баденвейлер французы или бельгийцы. А теперь распространяют среди местного населения. Это хорошее предупреждение господам немцам. Пусть знают, что за насилие придется отвечать. Что любой из них может оказаться в числе тех самых виновных, о которых говорится в Декларации.

Шура давно не виделась с Ганькой и скучала по ней. Как-то раз на улице встретила ребят из Гольяева. Серега и Колька выглядели здоровыми,

а у Володи по лицу и шее пошли фурункулы.

– Володя, тебе нужно в лазарет, – сказала она, осматривая его нарывы.

– Я уже обращался. – И Володя отвел взгляд. – Врач дал мне мазь, но от работы не освободил. Нас пригнали сюда не для того, чтобы лечить. Ты же сама это знаешь, Шура.

В глазах у Володи была такая тоска, что у Шуры перехватило дыхание. Уже умерло несколько «остовцев» из мужского барака. В основном подростки. Болезнь начиналась с того, что человека охватывала непреодолимая тоска по дому. Потом, как чума, привязывалась простуда или какая-нибудь инфекционная зараза. Человек угасал буквально на глазах.

Как хотелось сейчас Шуре рассказать и гольтьевским ребятам, и Ганьке с девушками, которые работают на ферме фрау Бальк, о том, что она только что вычитала в листовке! И управляющий Гальс тоже пускай бы прочитал. Хоть он и незлой человек, и подкармливает девушек сверх положенного пайка, и не перегружает работой, но все же пусть и он прочитает, и другим расскажет. Пусть они все знают, что ответить придется за все зло, которое они уже сделали и которое лучше не делать в дальнейшем. Шура поняла, зачем француз бросил в их почтовый ящик листовку, написанную по-немецки. Французы знают, в каких домах живут «остовцы».

Прочитанное в листке, брошенном в почтовый ящик парикмахером-французом, так взволновало Шуру, что она совершенно забыла о «Трех мушкетерах». Спустилась вниз, зажгла примус и поставила в кастрюльке воду. Когда вода закипела, она высыпала туда несколько горстей пшена. Сливочное масло хранилось в шкафу. Масло у них в доме было всегда. Даже когда его перестали давать по карточкам. В последнее время фрау Бальк стала приглашать Шуру к обеденному столу. Правда, когда в доме случались гости, Шура появлялась в гостиной только тогда, когда нужно было что-то принести или приготовить. Оставаясь в доме одна, Шура старалась не злоупотреблять доверием фрау Бальк. Брала только то, чего было много. Масла всегда было немного, и Шура отрезала тонкий прозрачный ломтик. Хозяйка никогда не запирала на замок шкаф, в котором хранились продукты. Хотя замок в дверце был, и ключи торчали в нем, покачиваясь на латунном колечке.

Незаметно наступил вечер. На улице все затихло. Ост-рабочие строем прошли в сторону бараков. Тучи снова разогнало, и над горами появились звезды. Вначале их было совсем мало, три или четыре. И то, если пристально всматриваться в тающий свет неба. Потом они засыпали все

пространство выше гор и вскоре, увеличиваясь в размерах, начали собираться в созвездия. Наверное, сейчас мама и Иванок тоже видят эти звезды и думают о ней. Иванок дома не усидит. Уйдет на фронт. Он не раз говорил об этом. А если он на фронте, то он придет за ней. Рано или поздно. Вера в то, что брат придет за ней, заставляла думать о том, что необходимо хранить силы для того, чтобы дождаться Иванка. Значит, надо есть масло. Хотя бы понемногу.

Шура приготовила кашу, достала из стола тарелку, ложку. Каша, как всегда, оказалась очень вкусной. Шура радовалась своему маленькому счастью и была за это благодарна фрау Бальк. Все-таки ей с хозяйкой повезло. Девочкам на ферме тоже. Но вот ребятам из Гольтеева приходится очень туго. И Шура решила найти способ хоть как-то помочь им. Найти нужные медикаменты. Передать продукты. Это можно сделать, когда ребята будут проходить мимо дома в сторону фабрики. Особенно ослабел Володя. Он переживает за мать. Жандармы избили мать Володи во время облавы. Володя посылал ей письмо за письмом, но ответа так и не получил.

Шура получила письмо от матери. Ответ прислала мама. Значит, брат знал, где она находится. Название города она указала. А карту он разыщет.

Небо над Шварцвальдом померкло. И вскоре послышался вой сирены воздушной тревоги.

Шура снова кинулась к окнам, проверять, хорошо ли задернуты черные шторы затемнения. Все оказалось в порядке. Она выключила свет. Тьма мгновенно сделала гостиную не такой огромной и потому более уютной. Но как только послышались хлопки зениток и гул моторов летящих самолетов, из всех углов стал наползать страх. Самолеты в этот раз летели из-за гор, с севера, откуда дули самые холодные ветра. Как всегда, самолетов было много. Их согласованный, на одной ноте, вибрирующий бас наплывал из-за черных гор, как наплывают снеговые тучи. Обычно армады английских самолетов не причиняли Баденвейлеру никакого вреда. Они появлялись из-за южных гор и пролетали дальше, к Фрайбургу, будто не замечая маленького курортного городка, его зениток и прожекторов. Вот и в этот раз самолеты пролетели на большой высоте и не сбросили ни одной бомбы. Зенитки затихли, опали лучи прожекторов, скользнув по склонам заросших буками гор. Но буквально через полчаса часть из них вернулась. А может, это были совсем другие самолеты. Первые бомбы они сбросили в фабричном районе. Там сразу начались пожары. Потом загрохотало в центре города. Третья волна обрушилась снова на фабрику и мастерские по ремонту бронетехники, расположенные в долине возле реки.

Стены дома вздрагивали, пошатывались, будто оживающие великаны, которые вот-вот встанут и расправят свои исполинские плечи. Иногда в углах и на полу шуршало и потрескивало. Это осыпалась штукатурка. Одна из бомб упала совсем близко. За окнами пронесся вихрь взрывной волны. В саду затрещало, ухнуло, ударило по крыше.

– Мапочка, мапочка... – шептала Шура, забившись с зажженной свечой в угол, за штабель мешков с каменным углем. Это, как ей казалось, было самое безопасное место в доме. Шуру охватывал ужас – как бы не наделать пожара. Но и задуть свечу страшно. Она знала, что полная темнота подействует на нее точно так же, как стук вагонных колес, – она раздавит ее, сделает похожей на сумасшедшую. Тогда фрау Бальк избавится от нее. И Иванок не сможет ее найти, когда придет время.

Фрау Бальк приказывала ей во время объявления тревоги закрывать дом и спускаться в бомбоубежище. Ближайшее бомбоубежище находилось в одном квартале, через три дома, под продуктовым магазином. Все лето там работали русские военнопленные. Углубляли подвалы, вытаскивали землю, бетонировали, на машинах подвозили огромные блоки тесаного камня, усиливали своды, сооружали ступени. Несколько раз, это было в ту пору, когда фрау Бальк редко покидала город, Шура вместе с ней спускалась в это бомбоубежище и была поражена его размерами и прочностью. Казалось, что никакая сила не сможет сокрушить эту твердь и погубить здесь живое. Но Шура среди чужих чувствовала себя еще хуже.

Самолеты налетали снова и снова. Бомбы падали где-то в центре и в долине, в районе барачных военнопленных и ост-рабочих. Шура стало страшно, что под бомбами могут погибнуть ребята из Гольтеева, с которыми год назад ее везли сюда в одном вагоне. Особенно жалко было Володю. Он страдал от фурункулов и нуждался в медицинской помощи. Он тосковал по дому больше других. Переживал за маму. Такое случается. И такие долго здесь не живут. За долиной и ручьем, в буковом лесу, уже целое кладбище умерших русских рабочих и военнопленных. В основном их привозят из лазарета. Иногда из тюрьмы, куда отправляют проштрафившихся.

Гул самолетов вскоре затих. Улетели. Но взрывы все еще содрогали землю и глухим глубинным эхом отдавались в горах. Это взрывались бомбы замедленного действия. О них ей рассказывал Арним Бальк. Во время одного из налетов он остался вместе с нею и тоже прятался в подвале дома. Фрау Бальк уехала на ферму, и в бомбоубежище они не пошли. В ту ночь бомбы взрывались еще несколько часов после того, как английские самолеты исчезли за черными горами.

Шура взяла горящую свечу и поднялась по ступенькам в гостиную. Пахло дымом, и она испугалась, что горит дом. Кинулась к окну, приподняла светомаскировку и выглянула на улицу. Город горел. Зарево стояло повсюду. Оно приподнимало небо, делало его неестественным, зловещим. Ближайший пожар полыхал где-то в районе бомбоубежища. По Domstrase проехала пожарная машина, потом другая. В сторону пожара бежали какие-то люди. Она даже не смогла разглядеть, кто это был, солдаты или гражданские. Перебежала к другому окну, выходящему во дворик. Здесь была выбита нижняя шипка рамы. Стекло разлетелось вдребезги. Видимо, от взрывной волны. Светомаскировка оказалась нарушенной. И Шура принялась поправлять черную штору. В это время успела заметить, что кто-то осторожно пробежал под самым окном, пересек по периметру дворик и исчез возле сарая, где хранился различный хозяйственный инвентарь и велосипеды.

В какой-то миг Шуре стало не по себе. На человека, спасающегося от бомбежки или, наоборот, бегущего на пожар, эта тень не походила.

Утром, чуть свет, в окно с крыльца постучали. Шура тут же открыла. На крыльце стоял местный полицейский и двое мужчин в форме лагерных вахманов. Полицейского она знала, потому что он иногда заходил к фрау Бальк, и вдвоем с хозяйкой они подолгу сидели в гостиной и пили кофе. Кофейник Шура уносила и подогревала по несколько раз. Полицейский когда-то дружил с покойным мужем фрау Бальк, ходил с ним в горы на охоту. Он никогда не появлялся с пустыми руками, всегда приносил какое-нибудь угощение. Говорил фрау Бальк несколько теплых слов, целовал ей руки. Потом вручал пакет, в котором фрау Бальк находила то, что давно уже исчезло с прилавков магазинов.

Лица вахманов и полицейского были осунувшимися, словно на них накинули сетку усталости. Форма перепачкана сажей и глиной. По всему было видно, что они не спали всю ночь.

Полицейский спросил, дома ли фрау Бальк?

– Нет, герр полицейский, фрау Бальк сейчас находится в деревне, – ответила она по-немецки, не поднимая глаз.

– А ты никого здесь не видела минувшей ночью?

– Нет, герр полицейский, никого.

– Где ты была во время налета?

– Дома, – призналась Шура. – Я пряталась в подвалах. Внизу.

– Нельзя нарушать общие правила. Во время авианалета необходимо быть в бомбоубежище. – Он еще раз внимательно посмотрел на Шуру, окинул взглядом всю ее тонкую фигурку, застывшую в позе покорности и



послушания. – Но ты правильно поступила, что в эту ночь осталась дома. Бомбоубежище разрушено до основания. В него попала крупная авиабомба. Проклятые томми. Они убивают детей и стариков.

Немцы боялись, что при подлете самолетов английским пилотам с земли могут подавать сигналы. Но в это утро они искали вовсе не сигнальщиков.

– Да, и вот еще что: необходимо навести порядок вокруг дома. Там упало дерево. – И полицейский указал на окно, выходящее во дворик. – Видимо, его сломала взрывная волна. Дерево необходимо убрать.

– Хорошо. Я все сделаю. Я знаю, как это делать. В сарае у фрау Бальк есть пила и топор. Я справлюсь.

– Дерево очень большое. Хорошо, что оно упало рядом с домом и не повредило крышу. Я пришлю двоих рабочих. Передай фрау Бальк, что пусть она ни о чем не беспокоится, я обо всем позабочусь.

– Хорошо, я все передам фрау Бальк.

– Если увидишь каких-либо подозрительных людей в одежде военнопленных или ост-рабочих, немедленно сообщи либо фрау Бальк, либо нам в полицейский участок. Ты все поняла?

Полицейский заставил ее повторить его приказ. Она повторила. Уходя, когда их не слышали вахманы, он спросил ее:

– Твои родители из прибалтийских немцев?

– Нет, герр офицер, я русская.

Полицейский хмыкнул, но то, что «остовка» назвала его господином офицером, явно польстило ему, и он сказал:

– Передайте фрау Бальк, что она хорошо заботится о твоём воспитании.

– Спасибо, герр офицер, я непременно передам фрау Бальк ваши слова.

Полицейский снова издал неопределенный звук и вышел не попрощавшись. Шура некоторое время продолжала стоять перед захлопнувшейся дверью с опущенной головой – вдруг господину офицеру взбредет в голову зачем-нибудь вернуться?

После визита полицейского и вахманов из ост-лагеря Шура накинула пальто и вышла на улицу. Она взяла метлу и ведро и принялась подметать вокруг дома. После того как мусор и черные хлопья пепла были убраны вокруг фасадной части дома, она заглянула во дворик. Это был огромный сук, оторвавшийся от дерева, росшего в углу дворика возле мусорного бака. Дерево было похоже на ясень. Ясени росли по краям оврагов вокруг Прудков. Шура осмотрела сук и сразу сообразила, что его можно распилить

на дрова. Фрау Бальк конечно же понравится ее бережливость. Дрова можно сложить возле сарая, под навес. А мелкие сучья порубить и связать в веники, опять же для растопки печей. Так они делали в Прудках. Но одной с этим огромным суком ей и за день не справиться.

Дверь сарая почему-то оказалась приоткрытой. Виднелась темная щель. Шура посмотрела на дверь, на висевшую внизу замочную накладку и начала вспоминать, ходила ли в сарай фрау Бальк после того, как Шура в последний раз подметала дворик и брала в сарае корзину для листвы. Нет, фрау Бальк в сарай не ходила.

Шура подошла к двери и прислушалась. Внутри стояла тишина и холодный влажный сумрак. Она осторожно открыла дверь. Дневной свет хлынул внутрь сарая на пол, выложенный из серого тесаного камня, на ряды ящиков, на инструменты, разложенные на полках, на садовую тачку и корзину для сбора листвы. В Прудках в таких корзинах носили сено. Корзина оказалась не там, где Шура оставила ее несколько дней тому назад. Она взяла садовую пилу и топор. Пила висела у двери. Неподалеку от входа в деревянной колоде торчал и топор. В глубину сарая она бы не пошла. Когда выходила, прикрывая за собою зверь, ее охватил мгновенный страх, что она даже вскрикнула и торопливо накинула на пробой кованую массивную накладку. Мгновенно вспомнилась косая угловатая тень крадущегося человека, которую она видела ночью во время налета. Или ей все примерещилось...

Работа ее немного успокоила.

Из центра города тянуло гарью. Оттуда по Domstrase на грузовиках возили обгоревшие бревна и щебень. Там разбирали завалы. Солдаты с лопатами прошли туда торопливым молчаливым строем. Они чеканили шаг, но в этот раз шли с серыми, угрюмыми лицами. Даже командир их выглядел не таким строгим, как всегда, устало смотрел под ноги и ни разу не взглянул, как маршируют его солдаты. Должно быть, для солдат это была вторая смена после бессонной ночи.

Напилив охапку кругляшей, Шура отнесла их к сараю. Сложила под навес. Тихонько подкралась к двери и прислушалась. Теперь ей было не так страшно. Кто мог ночью ходить по их дворику? Кого искали вахманы и полицейский?

Шура взяла в правую руку топор, левой откинула массивную кованую накладку и шагнула в сумрак сарая. Здесь царил запах старых вещей. Никто его не нарушал годами. И годами он накапливался и густел, как в бабушкином сундуке. И все здесь уже принадлежало ему. Шура тихо спросила:

– Кто здесь?

Она спросила по-русски.

– Я, – ответил сумрак мужским голосом. И тоже по-русски.

– Кто ты?

– Меня зовут Иван.

– Иван?

– Да, Иван. Я бежал из лагеря.

Она прикрыла за собой дверь и села на колоду, потому что почувствовала мгновенную усталость и дрожь в коленках. Топор выпал из ее руки.

– Ты русская? – с надеждой спросил ее сумрак, который стал теперь еще гуще.

Шура кивнула.

– Не выдавай меня. Я скоро уйду.

Сумрак говорил по-русски, и она его не боялась.

## Глава пятнадцатая

– Будь я маршалом, – сказал, задумчиво наблюдая за дорогой нештатный минометчик Седьмой роты Сидор Сороковетов, – приказал бы сейчас распушить из орудий вон те окопы возле поворота. Пока они там не освоились. А, Кондрат?

– Что, Сидор, надоело мины по снегу таскать?

– Надоело. Вон как хорошо сидят. Головами крутят.

– А попадешь?

– Попаду.

Нелюбин смотрел туда же, на дорогу. И думал он то же, о чем рассуждал сейчас минометчик. Но где они, орудия? Усиление, которое хорошо помогло им при штурме Дебриков, замешкалось и отстало где-то в лесу. Ждать, когда артиллеристы подтянутся? Но и к немцам, окопавшимся у дороги, тоже может подойти подкрепление. Выслушав минометчика, Нелюбин сполз по снежной бровке вниз, в овражек, в котором продолжали накапливаться остатки его роты, и сказал:

– Давай, Сидор, тащи свои «самовары». Будем атаковать дорогу. Раз другого выхода у нас нет. Не идти же нам опять всей ротой в штрафную.

Сороковетов на такую невеселую шутку ротного только крикнул и с застывшей усмешкой пополз на четвереньках в конец овражка.

Майор Лавренов перед атакой предупредил, что после боя разборку будет делать по каждой роте в отдельности. Лучшую роту – к орденам и медалям, худшую – всем составом на положение штрафной. Майор Лавренов конечно же преувеличивал, не было у него такой власти. Это Нелюбин понимал. Но не хотелось еще раз попадать под раздачу в штабе полка как размазне и неудачнику. Да и комбата подводить не хотелось. А с комбатом у майора Лавренова, похоже, распря пошла серьезная. Упущение по службе, если оно не осложнялось личными мотивами, командир полка мог простить и забыть. Но тут узел затянули не просто личные мотивы, а баба. Нелюбин давно заметил: как только появляется где-нибудь поблизости красивая медичка или связистка, на нее тут же находятся охотники. И рано или поздно она оказывается в офицерской землянке. Оно и понятно и объяснимо. Красивой женщине не место на фронте. Вон сколько кругом изголодавшихся мужиков. Не всякий имеет сдержанность и совесть разглядеть в той же санитарочке свою сестру или дочь. И, чтобы защититься от постоянных домоганий, лучше уж свить спокойное гнездо

где-нибудь при штабе полка или батальона, под присмотром и защитой командира, одно слово или взгляд которого отобьет охоту у любого охочего рысака. Когда в полку появилась старший лейтенант медицинской службы Игнатьева, на нее тут же обратил внимание майор Лавренов. Злые языки поговаривали, что до прибытия в полк она была «наездницей» у какого-то генерала в штабе армии, но потом там случилась какая-то заварушка, из Москвы прибыла комиссия, и того генерала с понижением в чине отправили на передовую. Разогнали по войскам и всю генералову свиту. Так ли, нет ли, но в санитарной роте появилась особа, мимо которой не смог пройти сам майор Лавренов. Цену она себе знала. Да и покровительства, похоже, не искала. Тут же навела в роте строгий порядок. За медицинским спиртом из батальонов уже не бегали. Лавочка прикрылась. Ухаживания командира полка Игнатьева в первое время вроде бы приняла. Но потом вдруг обратила внимание на капитана Солодовникова. Война войной, а баба есть баба...

Так что лишний раз подставлять комбата под лавреновский обух...

Нелюбин посмотрел в бинокль. Немцы закрепились вдоль дороги основательно. Но пугало даже не это. Что там, в глубине? Есть ли у противника резервы и какие? Последнее время немцы сильно досаждали им контратаками. Сунется полк в наступление, пройдет несколько километров, а там – мощная оборонительная линия, за нею артиллерия, самоходки, танки. Полк терял темп наступления, инициативу, безрезультатно топтался перед обороной противника. Роты мгновенно редели, теряя до трети списочного состава убитыми и ранеными. А вскоре оттуда, из глубины немецкой обороны, начиналась мощная контратака. Не везло тому батальону или роте, на которую приходился основной удар контратакующего клина.

Сегодняшний бой начинался хоть и сумбурно, но Дебрики согласованным маневром с левым флангом Восьмой роты они заперли красиво. И артиллеристы там поработали, и минометчики. Все в деле поучаствовали, всем хватило трофеев. Артиллеристы конечно же зачтут и ДОТ, и штурм каменного сарая в свой актив. Но и он, командир Седьмой гвардейской роты, отметит в донесении все, как было. Ему стесняться нечего. Взводы действовали согласованно. Взводные командиры вели бой грамотно. Бойцы проявляли храбрость и упорство. Замешкал немного Гудилин. Но окажись другой на его месте там, в чистом поле, под пулеметным огнем, еще неизвестно, как бы повел себя он. Хоть и с потерями, но взвод он все же вывел. И задачу выполнил.

Минометы Нелюбин в дело пока не пускал. Миномет хорош в

обороне. В наступлении управлять минометным огнем сложно. Пока определялись цели, пока пристреливались реперы, чтобы потом переносить огонь туда, куда необходимо, пехота, быстро продвигаясь вперед, могла оказаться в зоне собственного огня. И Кондратий Герасимович своим хозяйским умом давно понял, что лучше все же пару «самоваров» иметь своих.

Оба миномета они расположили на дне овражка, в самой глубокой впадине. Разгребли ногами снег. Положили плиты, придавили их как смогли, подрубили мерзлую землю саперными лопатками. Установили двуноги и трубы.

– Первый готов! – доложил Сороковетову пожилой ефрейтор.

– Второй готов! – тут же отозвался другой боец. – Какой прицел выставлять?

Правее и глубже в горловине вела бой соседняя Восьмая рота. Там тоже, видимо, пытались оседлать дорогу.

– Сидор, высчитывай прицел лучше, – беспокоились минометчики. Они-то знали, что, если сразу не накроют основные огневые точки, стрелять им долго не дадут.

Сороковетов и сам хорошо понимал, что тут надо все свои умения и навыки собрать в кулак, что реперы необходимо пристрелять сразу, одной-двумя минами, не разбрасывать по сторонам. Некогда, да и нечего разбрасывать. Огневого припаса у них немного. А немцы, гляди вон, уже насторожились.

Из окопов, отрытых у дороги, началась стрельба. Несколько пулеметных очередей простригли бровку оврага, так что Нелюбин с Сороковетовым, матерясь, скатились вниз. Минометчик отдышался и снова полез вверх. Через минуту передал расчетам координаты. Упруго хлопнул заряд, и мина, будто связанная с дымящимся стволом невидимой нитью, улетела вверх, туда, к дороге; нить с каждой секундой полета натягивалась, истончалась, мина завершала свою траекторию, заданную расчетом Сидора Сороковетова, и наконец лопнула дальним раскатистым: «Грак!» Сороковетов тут же зафиксировал точку взрыва и высчитал необходимую поправку.

– Первый, поправка... Один выстрел!.. Огонь!

Снова стремительно натянулась упругая нить и лопнула характерным «Грак!» у дороги.

– Первый и второй! Три мины на ствол! Беглым по площади! Прицел постоянный! Огонь!

Спустя несколько минут взвод старшины Пересвятова ворвался в

немецкие окопы у дороги. В бинокль Нелюбин хорошо видел, как развивалась атака. Как только разорвалась последняя мина, Пересвятов вскочил на ноги и побежал вдоль кромки оврага, поторапливая своих гвардейцев. Где одним своим появлением с автоматом в руках, где окриком, а где пинком и матюжиной, он поднял взвод, прикрыл левый фланг наступающих пулеметным огнем, и вскоре там, в придорожных кюветах, исклеванных минами, загрохотали гранаты. Бой быстро принимал характер ближнего. А в ближнем бою, как правило, преимущество всегда на стороне наступающего.

Пересвятова Нелюбин назначил на взвод из сержантов.

– Гудилин! Давай теперь ты! Занимай участок дороги правее!

Взвод Пересвятова еще дрался в окопах и придорожных кюветах, когда к дороге хлынула вторая волна наступающих. И в это же самое время из-за поворота выполз средний танк «Т-III», сделал короткую остановку и произвел выстрел. Снаряд разорвался прямо перед цепью второго взвода. Нелюбин увидел, как залегли сразу вокруг младшего лейтенанта бойцы. Некоторые тут же стали отползать назад, волоча кто руку, кто ногу. Снова не повезло второму взводу. Это Нелюбин знал по себе: как не задастся бой с самого начала, так все собаки и будут к тебе липнуть...

Танк сделал еще один выстрел. Но второй снаряд лег уже не так прицельно, с большим перелетом. Механик-водитель дал газу, и машина на полном ходу пошла на сближение с линией окопов, так что башенный стрелок точно выстрелить уже не мог.

Вернулся Звягин. Доложил: соседняя Восьмая перехватила дорогу и гонит противника по направлению к Яровщине, локтевой связи с Восьмой нет, разрыв примерно триста-четыре метра. Еще Звягин доложил, что вдоль дороги выходят из окружения отдельные группы, числом до трех-пяти человек, и одиночки противника, что одной из таких групп только что был обстрелян.

– Наглые, – прокашлявшись, завершил доклад Звягин. – Сдаваться и не думают. Я им: «Хенде хох!» А они на меня кинулись и – из автоматов. Насилу вот...

Нелюбин выслушал доклад связного, не отрывая глаз от бинокля.

– Звягин, – сказал он. – На тебя, брат, последняя надежда.

Звягин сразу насторожился, уже зная, что ничего хорошего эти слова ротного ему не обещают.

– Видишь, что на дороге делается. Сейчас мы и третий взвод потеряем. Гудилин залег. Пересвятова он из окопов не выпустит. Возьми противотанковую гранату и, пока он занят окопами, обойди его вон тем

березнячком.

Звягин посмотрел на ротного с такой тоской, что Нелюбин невольно выругался.

– Ну некого мне больше послать!

Звягин посмотрел по сторонам, будто пытаюсь уличить ротного в том, что тот не прав, что кругом много народу. Вон и пулеметчики бездельничают, нашли время патронами ленты набивать. И минометчики Сороковцова могли бы...

– На тебя у меня вся надежда, Звягин. – И, посмотрев в упор на Звягина, вдруг закричал: – Давай, ектыть, не мешкай! Исполни приказ!

Мгновенно всплыло в памяти, как вот точно так же на Днепре, на плацдарме, он посылал Звягина к пулеметчикам, проверить, остался ли в овраге кто живой. В тот раз Звягин тоже долго отказывался. Но потом пошел и выполнил приказ. И был благодарен ротному за то, что тот помог ему преодолеть себя. Звягин помнил тот случай крепче Нелюбина. Вернее и надежнее связного у ротного с тех пор не было.

– Ладно, старшой, двум смертям не бывать. А одну я уже пережил. Но если со святыми упокой, то отпиши моим, что, мол, смертью храбрых...

– Что ты, Звягин, мы с тобой еще, ектыть, по Германии пройдем! Победным маршем! Еще водочки ихней попьем!

– Водка у них, старшой, дрянь. И часы дрянь, штамповка. А бабы, ничего, красивые.

– Насчет баб не знаю, не скажу.

– А я знаю. В хате видел. Там, в деревне, где они жили, вся стена ими обклеена.

– Так это ж срамные.

– Какая разница. Все равно – бабы, немки.

Звягин сбросил вещмешок, достал завернутую в комплект запасного белья противотанковую кумулятивную гранату РПГ-43. Подтянул ремешок каски и вдруг деловито заметил:

– Нет, старшой, на такой войне побывать и немку не попробовать...

– Давай, давай, Звягин, не подведи. Танки ихние пожжем – и все немки наши.

– Как же нам трудно эти немки достаются. Хоть бы посмотреть на них... Говорят, старшой, такие же бабы, как и наши. Обидно будет, если это правда.

Звягин отпихнул к ногам вещмешок, как будто он ему больше не понадобится, взял за ремень ППШ и перебежал к срубке берез. Постоял там и снова сделал короткую перебежку к дороге.



Танк теперь маневрировал в березняке. Экипаж, убедившись, что русские не располагают эффективными противотанковыми средствами, выбрал дистанцию, с которой он мог безнаказанно вести огонь из башенного орудия и пулеметов, и медленно дожимал третий взвод. Несколько гранат вылетели из захваченных окопов в сторону танка, но все они разорвались с большим недолетом. Из оврага раз за разом хлестко били бронебойки. Но танк передвигался так, что ни бока, ни корму во время своих маневров не открывал. А усиленную пятидесятимиллиметровую лобовую броню пуля противотанкового ружья пробить не могла.

Нелюбин наблюдал, как Звягин одним броском перебежал дорогу и залег в зарослях низкорослого ивняка на той стороне. Через мгновение его грязный камуфляж уже мелькал среди молоденьких берез справа от танка. Звягин передвигался короткими стремительными перебежками, падал в снег и отползал на несколько шагов в сторону. Из окопов, где сидел, ожидая своей участи, третий взвод, прекратили стрельбу. Но и из танка, видимо, заметили Звягина. Над кормой взвился черный выхлоп, и стальная коробка, вздрогнув, начала пятиться назад. Одновременно разворачивалась его башня. Но тут под основанием приплюснутой башни чиркнула молния. Это бронебойщики, воспользовавшись моментом, вlepили в развернутую башню несколько пуль. Однако опасность появления в непосредственной близости от танка русского гранатометчика экипаж «Т-II» I расценивал как наибольшую. И началась охота за Звягиным.

Танк развернулся. Башенный пулемет плескал огнем не переставая. Пули рубили молоденькие березки над самой головой связного. Звягин исчез.

– Убило Звягина, товарищ старший лейтенант, – покачал головой пожилой раненый боец из недавнего пополнения, фамилию которого Нелюбин еще не запомнил. Многие в эти минуты наблюдали за поединком танка и человека. – Эх, голова его садовая! Надо было дальше обходить! Поторопился.

– А ты бы сам взял гранату и попробовал, – заметил ему санитар.

– Я уже отпробовался. – И боец поправил свою ногу, лежавшую на затоптанном снегу. – Если кость цела, то месяц-полтора проваляюсь. А вот тебе, молодому, в самый бы раз парню помочь.

– Вон он, наш Звягин! Хер ты его возьмешь! – Санитар радостно хакнул и указал рукой на березняк.

– Живой! – изумился и боец.

Скрюченная фигура Звягина действительно возникла среди обрубков молоденьких берез. Камуфляж на нем был в лохмотьях. Танк тем временем

двигался по прямой вправо, должно быть, рассчитывая найти гранатометчика там, где он минуту назад залег. А Звягин встал из снега ближе к окопам третьего взвода. Танк промчался рядом с ним, быть может, в каких-нибудь двух-трех шагах. Башенный и курсовой пулеметы распахивали снег по фронту движения.

Вот теперь, Звягин, не промахнись. Пальцы Нелюбина одеревенели на бинокле. Он увидел, как Звягин распрямился, и на корму танка полетел, кувыряясь, тяжелый предмет. Взрыв произошел мгновенно, как только брошенная Звягиным граната коснулась площадки трансмиссии «Т-III». Танк еще какое-то время продолжал двигаться своим курсом, но потом начал резко загребать гусеницей вправо, к дороге. Открылся люк и из него, как черная горошина, выкатился на горящую броню человек. За ним выполз другой.

Звягин снова встал из снега. Теперь он держал в руках ППП и опустошал диск, очередями в упор расстреливая немецких танкистов.

– Так-то им и надо, – выдохнул пожилой боец. Его уже начало колотить от холода и потери крови. Но он все же досмотрел поединок Звягина с танком до конца. – Это им не сорок первый год.

– А ты что, дед, в сорок первом воевал? Тебя ж недавно мобилизовали!

Только теперь Нелюбин рассмотрел рядом с пожилым еще одного раненого.

– Мобилизовали... А в сорок первом я добровольцем воевал. Только мы тогда недолго навоевали. Попали... Тут, недалеко, под Рославлем. До лета там прожил.

– Зятевал, что ли? – усмехнулся молодой, бережно придерживая толсто забинтованную руку.

– Зятевал! А что ж, в плен идти, что ли? Пристал к одной...

– И кто ж на тебя, дед, позарился? К старухе небось какой на печку заполоз?

– Зачем к старухе? К молодой.

И то, как Звягин расправился с немецким танком и экипажем, и разговор раненых бойцов напомнили Нелюбину первую военную зиму, искрящееся на морозе снежное поле под Иневкой, ослепительно-белое пламя горящего фосфора на моторной решетке самоходного штурмового орудия, на которой разбилась бутылка КС, деревню близ Варшавского шоссе, куда он забрел, спасаясь от холода и казаков атамана Щербакова. Пришлось в ту зиму и ему пожить в примаках.

– Карпов! – окликнул он санитаря. – Давай за санями! Живо! Чтобы через пять минут раненые были вывезены в тыл! – И он вскочил на

затекшие ноги и побежал в сторону дороги, где копошились в кюветах и окопах бойцы взвода старшины Пересвятова и где, немного правее, разгорался подожженный Звягиным немецкий танк. Ему захотелось срочно увидеть своего связного и обнять его, убедиться, что он, тот, посланный им на смерть, жив и здоров.

Мертвых и раненых, с оторванными руками и ногами, с раздробленными позвоночниками и выпавшими из глазниц вытекшими глазными яблоками от резкого удара взрывной волны в замкнутом пространстве, – всех их завалило битым кирпичом и обломками кровли. Бальк успел отползти на четвереньках от дверного проема, когда в сарай с ревом влетел первый фугасный снаряд.

Бальк лежал с открытыми глазами и не понимал, жив ли он, или его остывающий мозг все еще фиксирует происходящее вокруг, а тело уже умерло. Потом он услышал прорвавшиеся к нему, будто из преисподней, звуки. Вначале ему показалось, что это прямо над ухом стреляет через его голову противотанковое орудие. Но потом увидел красноармейца с перекошенным от злобы лицом. Тот стоял на середине сарая и, передергивая затвор винтовки с примкнутым штыком, старательно прицеливался и торопливо делал выстрел за выстрелом.

– Колобаев! – окликнули его другой, видимо, офицер. – Отставить, Колобаев! Отставить!

Но солдат снова открыл затвор, выбросил на пол дымящуюся гильзу, судорожным толчком дослал в патронник новый патрон и так же старательно прицелился. Теперь Бальк разглядел, куда стрелял солдат. В углу лежал, плотно прижав к животу босые ноги, второй номер Штриппель. Он еще двигался. Но очередной выстрел русского освободил его от предсмертных судорог. Штриппель выпрямился и затих. Рядом с ним лежал еще кто-то из расчета Пауля Брокельта. Но ни самого Брокельта, ни Буллerta, ни кого-либо из стрелков он не увидел. Из-под груды кирпичей торчал чей-то сапог с ровными рядами гвоздей. Вот и все, подумал Бальк, и ему стало жалко маму. Он мгновенно представил, как ей принесут извещение о его гибели. Мама, мама... Она не переживет этого. Зачем я здесь? Кого я защищаю в этом проклятом сарае? Какую позицию? И он заплакал от жалости и к матери, и к себе.

Видимо, он пошевелился или издал какой-то звук. Потому что красноармеец Колобаев тут же повернул к нему свое бледное лицо, тем же заученным механическим движением передернул затвор и прицелился. Стальное колечко дульного среза плавало, словно лунный диск, отраженный в черной воде Боденского озера. Сейчас луна взорвется

вспышкой огня, и из Боденского озера вырвется пуля калибра 7,62 мм, чтобы высушить напрасные слезы фузилера Балька, бывшего студента исторического факультета Дюссельдорфского университета, сына женщины, год назад потерявшей на Восточном фронте своего мужа. Вместо взрыва послышался металлический шлепок. Осечка! Нет, скорее всего, кончились патроны! Сейчас он зарядит новую обойму и тогда добьет его, беспомощного, умирающего среди обломков кирпича и кровельной черепицы.

Но красноармеец Колобаев вдруг перехватил винтовку на руку и, нагнув длинный штык, сделал шаг к вперед. Бальк понял, что умирать придется не от пули. Его приколют штыком. Зарежут, как теленка, привязанного к дереву.

– Прекратить! Колобаев, черт бы тебя!..

Кто-то сбил с ног идущего к нему со штыком наперевес. Тот упал, нелепо раскинув руки. Винтовку вырвали из его рук.

– Дай мне его! Дай гада! – вопил красноармеец Колобаев, катаясь в мерзлой пыли и кровавом снегу. – Дай мне его – штыком!.. Мне тогда легче станет! Дай, лейтенант!.. Я должен поквитаться!

– Поквитаешься, Колобаев, в бою. А сейчас встань и приведи себя в порядок.

Тот, кого красноармеец Колобаев называл лейтенантом, подошел к Бальку и наклонился над ним.

– Ну что, фриц, не хочешь уходить с нашей земли. Тем хуже для тебя. Сдохнешь здесь, как паршивая собака.

Через минуту снова послышался голос лейтенанта. Он стоял в дверном проеме, где всего несколько минут назад находилась позиция пулеметного расчета Балька, и разглядывал искореженный прямым попаданием сорокапятимиллиметрового артиллерийского снаряда Schrandeu.

– Собрать оружие и выходи строиться! – в следующую минуту скомандовал он.

Солдаты бросились исполнять его распоряжение. Захрустел под сапогами и валенками битый кирпич, закрипел снег. И наступила тишина.

Бальк закрыл глаза и прислушался к самому себе. Вначале подтянул одну ногу, потом другую. Зазвенели осколки черепицы. Ни позвоночник, ни ноги не повреждены. Он шевельнул рукой, и тут же острой болью пронзило лопатку. Правая работала лучше. Значит, ранило в спину. Шрам на спине – очень красиво. Но его еще нужно вынести отсюда. «Папаша» Гейнце, должно быть, уже далеко. Помощи ждать неоткуда. А с такой раной ему своих не догнать.

Никого из ушедших упрекнуть Бальк не мог. Ни он, с пулей или осколком в лопатке. Ни мертвые. Ведь для того они здесь, в этой каменной крепости, и остались, чтобы задержать иванов, а фельдфебель Гейнце мог увести остатки взвода и вывезти к отсечным позициям раненых. Отсечные позиции...

Он собрал все силы и сел. Нет, его скелет не распался на части. И мышцы, и сухожилия тоже целы. Правой рукой Бальк потрогал голову. Подшлемник оказался сухим. Стального шлема нигде не видно. Видимо, сорвало с головы во время взрыва снаряда. На четвереньках он подполз к Штриппелю. Его второй номер уже окоченел. Бальк приподнял его и сразу почувствовал боль в лопатке. Боль на этот раз молнией прошла по всему стволу от затылка до пяток. Но он все же смог приподнять тело своего второго номера и снял с него стальной шлем. Под кожаным амортизатором белела какая-то бумага, возможно, письмо, которое Арнольд написал перед боем и не успел отправить. Он надел на голову стальной шлем своего второго номера и сразу почувствовал себя более уверенно. Расстегнул камуфляжную куртку Штриппеля, нащупал нагрудный карман, сдернул с клапана пуговицу и вытащил солдатскую книжку и все, что оказалось в кармане. Сунул документы в противогазную коробку. Второго, лежавшего чуть дальше Штриппеля, он не узнал. Тому наполовину снесло голову, от лица не осталось почти ничего. Один подбородок. Плохо выбритый подбородок. Помощник адвоката всегда брился тщательно. «Когда я бреюсь, – говорил он, – я мысленно брожу по улицам своего любимого Кельна». «Возвращаться» из родного города назад, в вонючую траншею, он никогда не торопился. Значит, это Пауль. Он расстегнул пуговицы и отыскал его документы. Затем, в противоположном углу, нашел еще одно изувеченное осколками тело. Документы он запихивал в противогазную коробку. Почему русские не обыскали тела его товарищей и не забрали солдатские книжки? Он подумал об этом уже в лесу, когда выбрался из деревни. Теперь Бальк шел следом за канонадой. Доносилась она со стороны Яровщины. Значит, ему туда, к Яровщине. Если бы лейтенант приказал обыскать убитых, пристрелили бы и Балька. Или закололи штыком. Чтобы не обшаривать живого. Значит, лейтенант подарил ему жизнь и во второй раз. Как это ни странно, выворачивать карманы живого гораздо неприятнее, чем обшаривать окоченевший труп. Труп принадлежал уже не человеку, конкретному Ивану или Гансу, а войне.

Воронцов бежал по дороге вместе со вторым взводом. Правее цепью продвигался первый взвод. Лейтенант Петров, вернувшись из Дебриков, возбужденно доложил, что деревня полностью очищена, что захвачено трое

пленных, что последняя группа немцев засела в каменном сарае и их выкуривали оттуда с помощью «сорокапятки». Артиллеристы сделали несколько выстрелов через дверь и окна.

– Какие потери, Петров? – спросил лейтенант Воронцов.

– Двое убитых. Трое ранены. И еще. – Петров нервно ворохнул плечом. – Колобаева приходится чуть ли не под руки водить.

– Что с ним? Контужен? Струсил?

– Да нет. Озверел. Раненых немцев перестрелял. Когда патроны кончились, со штыком кинулся.

– Колобаев? Это из орловских, что ли?

– Да он из-под Орла, Новосильского района. Семью у него там каратели положили. Отца, мать, троих младших братьев.

– За что ж семью расстреляли?

– Обычная история. – Петров закурил. Пальцы его дрожали. – Партизанам ярку зарезали. Те пришли ночью, постучались. Давай, хозяин, что можешь. Кто-то стукнул. В деревне, знаешь, всякий народ живет. Утром – жандармы. В сенцах нашли свежую шкуру. Им бы хотя бы зарыть ее...

– Отправь его к старшине. Пусть пока в обозе побудет. Гиршман за ним присмотрит.

Петров ушел. А позади послышался конский топот. Воронцов оглянулся и увидел группу всадников. Коней он сразу узнал. Впереди скакал капитан Солодовников.

– Ну что, Воронцов? Наступаем без помех?

– Да в том-то и дело, – ответил Воронцов и медленно потянул к обрезу каски окоченевшую, непослушную ладонь.

– Ладно, ладно, ты мне так расскажи, что на душе. Остальное я видел.

– В районе Яровщины у них отсечные позиции. От болота до болота. Перекрывают всю горловину.

– Думаешь, там они нас поджидают?

– Думаю, что именно там, Андрей Ильич.

– Там-то там, – согласился комбат, – но куда они танки подевали?

– Мои разведчики сообщили, что танковые моторы слышны именно там, между Яровщиной и Омельяновичами.

– Твоя разведка уже там?

– Пришлось выслать сержанта с отделением. Разведданных-то...

– Ладно. Молодец. И вот что имей в виду. Нелюбин продвигается слева от дороги. Но немного задерживается. А второй батальон, похоже, прижали к болоту. Или хитрит сосед, хватить его в душу. Что-то почувствовал и теперь

топчется на месте, вперед не идет. Ты придержи своих, Нелюбина подожди. Если что, сразу окапывайся. Пока артиллерия и минометчики не отработают, людей не поднимай. – И вдруг спросил: – Санитарную роту не видел?

– Не было здесь никого, кроме наших санитаров.

– Черт знает, все перемешалось. Лавренов приказал выяснить местонахождение санитарной роты и доложить.

– За лейтенанта Игнатьеву беспокоится?

Комбат посмотрел на Воронцова и закурил. Сказал:

– Ну да. И зачем она со своим обозом сюда поперлась? Увидишь, скажи, чтобы поворачивала назад, в Дебрики. Там есть подходящие постройки. Несколько домов уцелело. Пусть там и развертывает свое хозяйство. А то другие займут.

По взгляду и жестам комбата Воронцов заметил, что тот и сам обеспокоен судьбой санитарного обоза. И он снова подумал о Веретеницыной. Вот кончится бой, и он сразу же напишет рапорт, чтобы старшину медицинской службы Веретеницыну перевели в тыловую часть.

## Глава шестнадцатая

В тот день почтальон, однорукий Кирдяй, с трудом пробившись по нечищенной дороге из Андреенок в Прудки, принес в деревню всего одно письмо.

– Петровна! – окликнул он еще издали Зинаиду, заведя ее идущей по стежке со стороны колхозных скотных дворов. – Наливай, краса моя, рюмочку! Весточку тебе принес! Только ради тебя и пугал волков в такую пропасть!

Кирдяй жил в Андреенках. Почту он носил им со станции, на два села. Вместе с письмами, газетами приносил в Прудки и последние новости, о которых не писали газеты и не рассказывало радио. Почтальону было лет тридцать. Руку он потерял под Сталинградом. Но это было не единственным его увечьем. Контузия затронула в нем какой-то нерв и случались периоды, когда Кирдяй запивал смертным недельным запоем, запирался в своем доме и никого к себе не подпускал. Все тогда знали, что у почтальона *рука растет*, и никто его не тревожил. Кирдяй сидел на пороге и немигающими глазами смотрел на свою левую культю. Ему казалось, что она отрастает. И именно для этого он держал под рукой топор. Чтобы отрубить пальцы, как только они покажутся. Кирдяй боялся, что, если рука вновь отрастет, его заберут на переосвидетельствование, а там неминуемо отправят на фронт.

До войны он работал электриком на станции и звали его Володей Кирдяшиным.

Война всех делала другими.

Зинаида свернула со стежки и побежала к дороге напрямик, по снегу. Она видела в руке Кирдяя белый, как кораблик, треугольник и уже не думала ни о чем.

– Володя! Ты меня не обманываешь? Володя! – выкрикивала она, проваливаясь в снег и не сводя глаз с белоснежного кораблика в руке почтальона.

– Танцуй, Петровна! Танцуй! – И Кирдяй, покашливая с придыханием, спрятал белый кораблик, на котором она уже увидела до боли знакомый почерк, обратно в брезентовую сумку армейского цвета. – Лебедушкой пройди! Лебедушкой!

Делать нечего, пришлось Зинаиде пройтись вокруг почтальона «лебедушкой».



– Эх, Петровна! Знаю, знаю, кто тебе пишет! – Кирдяй махал пустым левым рукавом, как флагом, и покашливал. – Соседи рассказывали. Это ж он, говорят, казаков перестрелял. С вашими мужиками да с окруженцами. А? И Хапок, говорят, от него пулю получил. Ну, чего молчишь?

Зинаида остановилась и смерила Кирдяю холодным взглядом:

– А ну-ка давай сюда мое письмо!

– На, на, Петровна, – засмеялся Кирдяй. – Рюмочка зеленой, краса моя, за тобой.

– Подождешь до Пасхи, – холодно бросила она почтальноу и торопливо развернула треугольник.

– До Пасхи? До Пасхи, Петровна? – покашливал Кирдяй. – Что ж, подожду до Пасхи.

*«12.12.1943. Действующая армия.*

*Здравствуй, Зинаида Петровна!*

*С тех пор, как мы расстались...»*

Торопливые строчки, прыгали перед ее глазами, слова сливались, и она несколько раз принималась читать письмо сначала.

Письмо было хорошее. Зинаида поняла, что на фронте, где находится Сашина часть, временное затишье. Посмотрела обратный адрес. Номер полевой почты тот же. Если судить по дате армейского штемпеля, письмо шло почти две недели. Долго.

Зинаида огляделась по сторонам. Кирдяя на дороге уже не было. Зря она его обидела. Ничего, до вечера он никуда из Прудков не уйдет. Видимо, пошел проведать кого-нибудь из фронтовиков. Зайдет. К отцу зайдет. Рюмка зеленой ему теперь покою не даст, пока он ее не заполучит.

Она сунула треугольник под ватник. Прошла несколько шагов и потрогала его. Он уже нагрелся, вобрав ее тепло. Теперь ей не хотелось расставаться с ним, давать в чужие руки. Но она знала, что сейчас придет домой, возьмет на руки Улиту и расскажет девочке, что ее папка жив и здоров, бьет фашистов и гонит их с родной земли. А потом даст ей поддержать письмо. Улита все понимает.

Начинались Васильевские морозы. Занятия в школе отменили.

Директор школы Серафима Васильевна, доводившаяся Петру Федоровичу двоюродной сестрой, привела в колхозное правление свою бригаду и сказала:

– Вот, Петр Федорович, принимай на полный штат. Пилы и топоры имеются.

Председатель покачал головой, вздохнул. Но ничего не сказал. Только уже на улице, когда отвязывал от столба Гнедого, передавая Серафиме

Васильевне настывшие на морозе пеньковые вожжи, распорядился:

– На сучки станете. Сучкорубами. Поняла, Серафима?

– Сучкорубами, Петр Федорович, ты инвалидов назначай. Либо старух.

А мы там работу себе сами найдем.

Председатель только рукой махнул.

В Красный лес они въехали с песней. Хоть и крепок держал мороз, и губы жгло низовым каленым ветром, а все же пелось. На делянку, где работали лесорубы, они прибыли веселые, раскрасневшиеся.

Серафима Васильевна тут же выпрягла из саней председательского коня, накинула на него попону и привязала к дереву. Крикнула бригадиру:

– Принимайте подкрепление, Иван Лукич!

– Да вы сперва обогрейтесь, – обрадовавшись нежданной помощи, сказал Иван Лукич. – Чайку вон попейте. С калиной.

На просторной росчисти среди пней горел костер. На камнях в мерцающих углях стоял артельный чайник. Носик лениво посапывал, похлюпывал и ронял на черные угли бурые капли.

– Расставляй, Иван Лукич. Некогда нам чай распивать.

Дед Киря и Дмитрий Иванович Степаненков вымеряли и обрезали бревна, вытаскивали их на лошадях, раскладывали по периметру будущего сруба. Вальщики работали уже в дальнем конце вырубki. Валили сосны и ели, обрубали сучья и макуши. Подтоварник складывали в отдельные штабеля – на стропила и стойки, на леса и перекладины. Стройка потребует много расходного материала.

В первый день работы в лесу Анна Витальевна так наломала тело, что утром с трудом встала с кровати. Болели все мышцы, все суставы. Она наскоро умылась, оделась и побежала в школу. В это утро Серафима Васильевна приказала им собраться пораньше, чтобы отправиться в Красный лес вместе с лесорубами и плотниками Ивана Лукича.

Возле школы Анну Витальевну поджидала Зинаида. Она ушла из дому рано, еще пылил над деревней Млечный Путь. Петр Федорович из полеводческой бригады перевел ее на ферму. Родила одна из доярок, Надя. Надя рожала уже второго. Вначале от окруженца, от старшего лейтенанта.

– Ну, Надя! Мужика три года как нет, а она – рождает! – качали головами прудковские старики.

Муж Нади пропал без вести в первое военное лето.

– Анна Витальевна, миленькая, иди-ка домой. Маме поможешь, за ребятами доглядишь. А в лес я за тебя денек съезжу. – И Зинаида потянула из руки Анны Витальевны топор.

Но та отвела ее руку и сказала:

– Хоть это и непривычная для меня работа, но то, что положено, отработаю сама. Спасибо тебе, Зиночка, добрая твоя душа. – И она обняла Зинаиду, как сестру.

После полудня учительская бригада покончила с расчисткой хлыстов. Сучья стащили в костры, и те запылали, гудя под самое небо. Смолистый запах разнесся по всему Красному лесу.

Стали обедать. Возле крайнего костра, хорошенько уже прогоревшего и пылавшего ворохом раскаленного, как лава, мелкого угля, навалили лапника, сверху застелили солдатским одеялом и выложили из узелков у кого что было. Иван Лукич окинул живым взглядом обширную артельную скатерть, оценил ее обилие и сказал:

– Ну, дай-то Бог, чтоб и дальше ни хлеб, ни сало на нашем столе не переводились! – Взглянул на учительниц, подмигнул им и вытащил из солдатского вещмешка бутылку мутноватой самогонки. – А ну-ка, девушки-красавицы, давайте ваши кружки.

Выпила и Анна Витальевна. Обрубая сучки и работая пилой, она вспотела, а потом, когда стали собираться к обеду, остыла и немного продрогла. Потому и выпила глоток. Слезы брызнули из ее глаз. Она закашлялась.

Иван Лукич был доволен работой артели. Уже разложили комлей на первые подоконные венцы. Уже дед Киря с мужиками принялся обивать топорами кору и верхний рыхлый слой.

– Сгоняй в яйцо, – приказал Иван Лукич. – Дерево зрелое, век стоять будет. Пускай в нашей школе и внуки учатся, и правнуки. Постарайтесь, мужики. Чтобы потом не говорили: деды топора в руках держать не умели. Отнюдь!

После обеда на делянку прибыл Петр Федорович. Распряг Гнедого, кинул ему охапку сена и выхватил из-под подстилки топор.

– Назначай и мне фронт, Лукич!

– А вот, становься рядом с Кирей, – распорядился бригадир. – Разводите фасадный угол.

Тяжелая физическая работа не угнетала Анну Витальевну. На станции в райцентре, куда ее уже не раз приглашали вести географию, она сейчас вряд ли бы прожила. В деревне, на вольном молоке и картошке, она была спокойна за Алешу. В райцентре же учителя перебивались кое-как, а некоторые, у кого были дети и кто не получил по аттестату воюющих мужей, голодали. Далеким и чужим сном казалась теперь ей жизнь за границей, дорога в Россию, краткосрочные курсы в абвер-школе. Георгий сказал ей: «Забудь. Жить надо на родине. А родина твоя – Россия». И она

изо всех сил старалась следовать его наказу. Однако жизнь на родине оказалась настолько тяжелой, что не раз она украдкой плакала и ей казалось, что сил больше нет, что надо что-то предпринимать, куда-то ехать, лучше в город, искать работу, жилье. Но уже в следующие минуты она думала: а как же Георгий? Где он будет искать их, когда вернется? Как он разыщет их в чужом городе? Нет, надо терпеть. Надо ждать его здесь. В конце концов в Прудках ей и сыну живется вполне сносно. Алеша всегда под присмотром. Сыт. Одет. Трудное время надо пережить здесь.

Работа в школе приносила ей радость. В конце концов ведь это именно то, о чем в эмиграции мечтали многие – вернуться на родину, скромно жить где-нибудь в глухой деревне, обучать детей местных крестьян грамоте и топить вечерами печь. Романтические бредни жен и дочерей эмигрантов оказались довольно суровой действительностью. Но Анна Витальевна сумела вписаться и в нее.

– Георгий, – сказала она ему во время последней встречи. – Я устала жить одна, в постоянном страхе быть обнаруженной большевиками. Что будет с нашим сыном, если Смерши каким-то образом выяснят, кто я на самом деле? Это такой риск.

– Аннушка, милая, – ответил он, глядя ее волосы, – я знаю, что это уже не наша война. Но мне необходимо доделать кое-какие дела.

Какие еще дела, недоумевала она, чувствуя, как к горлу подступают рыдания.

– Давай поселимся здесь, на хуторе, – уговаривала она его, целуя. – Никуда не уходи. Они тебя здесь не найдут. И меня не найдут. Ни те ни другие. Будем жить, как Сидоришины. Доживем здесь до старости и умрем в один день. И Алеша нас похоронит на песчаном берегу в березах. Уютнее и умиротвореннее кладбища, чем здешнее, я не встречала еще нигде. Ни здесь, в России, ни в Сербии, ни во Франции.

Работу в лесу она восприняла как неизбежное испытание, которое необходимо пройти с достоинством. «Будь такой же, как все, и ни у кого не возникнет никаких вопросов: кто ты? откуда ты здесь появилась? по настоящим ли документам проживаешь? Растворись. Ты – сельская учительница, из беженцев. Твои все погибли во время бомбежки под Минском. Все». – Так наставлял ее Георгий.

Она собрала обрубленные сучья, обхватила их покрепче, чтобы ни один не выпал, пока по глубокому снегу она будет пробираться к костру. Возле костра всегда хотелось задержаться. Хотя бы на минутку. Погреться. Ощутить кожей щек упругое тепло гудящего огня.

Когда они только начинали валить первые сосны, очищать их и

распиливать по размеру, трудно было представить, что из этих смолистых, тяжелых, как свинец, бревен и их труда получится нечто похожее на стены будущей школы. Но теперь, обходя вырубку, очищенную даже от кустарника, и оглядывая белые бревна, аккуратно выложенные на такие же белые обрезки-пеньшки, Анна Витальевна уже видела очертания тех самых стен и вполне представляла, как естественно они лягут на фундамент в центре деревни у колодца. Она смотрела на сосредоточенные лица Ивана Лукича, деда Кири, на то, как старательно, поправляя друг друга, они отбивали шнуркой, черту на очередном бревне. На то, как Петр Федорович поплевывал в ладони и снова азартно брался за выглаженное до костяного блеска топорище. Слышала скрип деревянного протеза Дмитрия Ивановича Степаненкова, который, по признанию стариков, лучше всех умел зарубать углы и поэтому его просили подойти то туда, то туда, чтобы плотнее и правильнее придавить очередной венец.

– Клади! Девятая надавит! – смеялся бывший танкист, и морщинистый шрам ожога на его подбородке натягивался в жуткой гримасе.

Непонятной для женского уха шутке смеялись все плотники. Выкатывали из штабеля очередное бревно, внимательно осматривали его, заходя и с той стороны, и с другой. Так цыган на базаре осматривает приглянувшегося коня. Иногда бревно отбраковывали. Выкатывали другое. Подводили под него жерди и катили ближе к срубу. Закрепляли скобами. И дружно принимались за топоры.

Анне Витальевне нравилось наблюдать за работой плотников. В Европе почти все было построено из камня или кирпича. Кровли покрыты черепицей. А здесь, в глубине заснеженной России, где и сама она родилась когда-то в год начала Первой мировой войны, все возводилось из дерева и деревом отделялось. Дерево росло и созревало в местном лесу. Его не привозили издалека. Мастеров тоже не приглашали со стороны. Собирались старики, ветеринар, конюх, председатель колхоза, приносили с собой топоры, пилы, другие простые инструменты, изготовленные, быть может, в здешней кузнице, и, глядя на них, можно было предположить, что этим они занимались всю жизнь, изо дня в день. О деле, которым заняты и о котором, должно быть, думали каждую минуту, они почти не говорили. Перекинутся порой двумя-тремя словами, смысл которых понятен только им, перевернут бревно, примерят его, ладно ли лежит на углу, снова снимут и подрубают по новым отметкам, сделанным обожженной в костре палкой. Ее они используют как карандаш. Но если уже заводят разговор, то их работы он, как правило, не касается. Старики вспоминают истории из своей далекой молодости. Те, кто помоложе, о довоенном. И – ни одного грубого

и матерного слова. Деликатность прудковских мужиков Анну Витальевну восхищала.

Язык курсантов абвер-школы и русских из боевой группы Радовского был иным.

Анна Витальевна подтащила к костру свою охапку, с ходу развернула ее и, приподняв, с силой бросила в огонь. У нее уже получалось так, как у тех, кто всю жизнь прожил в деревне и для кого работа в лесу была обычным делом. Она стащила сырые рукавицы и с облегчением вытянула к огню ладони. Ладони ее парили. Она улыбнулась, чувствуя, как тепло огня через кожу ладоней проникает в самое сердце. Потому что в этот миг она вспомнила другой лесной костер и подумала о Георгии.

Взрыва она не услышала. Просто костер вдруг вздыбился перед ней багровым гейзером, гейзер стремительно увеличивался с каждым мгновением и вскоре закрыл все пространство.

– Скорее! Скорее! Кладите ее в сани! – услышала она голос Петра Федоровича.

Хорошо, что он здесь, подумала она. Слышался чей-то плач. Плакала Серафима Васильевна. Нет, это был не плач, а рыдание. Неужели случилось что-то страшное? Так рыдают только по умершим. Что случилось? С кем? Неужели кого-то придавило деревом?

В деревне она пришла в себя. Открыла глаза. Сквозь розовую пелену увидела склоненное над нею лицо Зинаиды. Она вдруг поняла, что надо сказать ей то главное, для чего ей, видимо, и даны судьбой эти последние мгновения. Она поняла, что еще не мертва. Что надо говорить.

– Алешу... Алешу никому не отдавайте. Отец придет за ним. Георгий придет... – Она торопилась. Потому что не знала, сколько продлится этот дар. Но то, что он вот-вот будет отнят у нее, она уже чувствовала. – Петр Федорович, миленький. Я вас любила и уважала, как отца. Зиночка, сестрица... Не бросай Алешу. Христом Богом заклинаю: не бросай. Георгий за ним придет. Он придет за сыном. Но если не придет... – Она тяжело вздохнула. Некоторое время лежала молча, собираясь с силами. – Тогда воспитай его как своего сына. И Саше наказ мой передай. Он хороший, чистый человек. И любит тебя. Такие люди редкость. А больше мне некого просить. Отвезите меня туда... Туда... Там хочу лежать... В березах, на солнышке, под черничником. Рядом с Пелагеей. Там такое теплое солнце! Он туда вернется. Только туда. Туда...

– Куда, Анна Витальевна? – Зинаида гладила ее холодную руку.

– На озеро. Туда...

## Глава семнадцатая

Глаза постепенно привыкли к темноте, и Шура увидела человека, стоящего возле опорного столба, на котором висел велосипед, старый абажур и еще что-то, чему в доме уже не находилось места, но что выбросить в мусорный контейнер было все-таки жаль. Человек был среднего роста, одет в залатанную красноармейскую шинель, из-под которой виднелась такая же ветхая гимнастерка и брюки. Обут в деревянные башмаки. Такие носили большинство русских военнопленных.

– Прошлой ночью я работал во вторую смену, – заговорил стоявший перед ней. – Началась бомбежка. Бомба попала в наш цех. Почти всех ребят... Остальных всех переранило. У некоторых ожоги. Я их всех стащил в одно место, где было безопасно. В эту ночь двое наших должны были бежать. Оба погибли. Я нашел их сумку. Вот она. В ней продукты. – И он указал на солдатский вещмешок, лежавший на опрокинутом ящике. – То, что мы собирали всей группой. Но маршрута я не знаю. Карта, которую рисовали для наших ребят французы, осталась где-то под завалами, вместе с теми, кто должен был бежать. К тому же я не успел добежать до леса, до гор. Самолеты улетели, и по дороге началось движение. На дороге они бы меня сразу заметили. Тебя как зовут?

– Шура, – ответила она.

– Ты «остовка»?

– Да.

– А ходишь без нашивки.

– Мне хозяйка разрешила.

Человек, назвавшийся Иваном, тут же отступил на полшага в глубину сарая, где сумрак был погуще и понадежнее. И спросил шепотом:

– Она дома?

– Нет. Фрау Бальк уехала в деревню.

– В доме еще кто-нибудь есть?

– Нет. Только я. Фрау Бальк живет одна.

– Ты меня ночью заметила?

– Да. Я увидела, что кто-то пробежал под окном.

– Там, недалеко от вашего дома, бомба попала в магазин. Под ним было бомбоубежище. Все разворотило. Очень много убитых.

Так вот откуда на машинах в сторону санатория и лазарета везли раненых, несколько машин «Скорой помощи» и грузовиков. Когда машина

проходили мимо дома, Шура слышала стоны и плач. И Шуре показалось, что это машины плакали и стонали от боли. Хорошо, что она не пошла в бомбоубежище.

Вначале Иван показался ей старым. Потом, когда она увидела его глаза, поняла, что ему не больше тридцати. А теперь, когда всего его разглядела хорошенько, она обнаружила, что ему лет двадцать пять, не больше. Глаза Ивана ей показались знакомыми. Настолько знакомыми, что с какого-то момента она боялась в них заглянуть. Потому что уже точно знала: она где-то встречала его, и это было совсем недавно, может, в дороге сюда, в Германию, когда все происходившее казалось кошмарным сном, который и снится-то не ей... Серая, холодная пелена, словно пыль, которую нельзя стереть ни с глаз, ни с души, покрывала все, что случилось с ней в последний год. И когда оттуда, из этой пелены, на нее посмотрели глаза Ивана, боль снова вернулась и захлестнула, так что надо было найти силы, чтобы удержаться хотя бы от слез.

– Не бойся, Шура, я скоро уйду. – Иван подошел к двери, посмотрел во дворик, в конце которого виднелась чугунная решетка ограды, за оградой мостовая, а дальше лежала долина, все еще заполненная дымом ночного пожара, который из города сполз туда, в низину. Дым лежал в долине реки, как будто утренний туман. Дальше, за рекой, уже начинались предгорья, покрытые пятнами леса. Туда жадно смотрел Иван.

– Я не боюсь.

– Но мне надо побыть здесь хотя бы до ночи. Когда приедет твоя хозяйка?

– Не знаю. Она может появиться в любую минуту.

Иван снова заволновался. Посмотрел на свои деревянные башмаки. Сказал:

– И обувь у меня не для такой дороги. – Он кивнул на горы. – А у раненых ребят я попросить сапоги постеснялся. Вот дурак. Надо было снять с кого-нибудь из убитых. У сержанта Петрова были неплохие ботинки. Он выменял их во французском бараке. В ботинках Петрова мне эти горы пройти ничего бы не стоило.

Теперь не только глаза, но и осанка, и что-то в голосе Ивана напоминало ей о недавнем прошлом.

– Что ты так смотришь на меня? – заметил он ее пристальный взгляд.

– Ты есть хочешь? – И она опустила глаза.

– Не отказался бы. То, что там, в мешке, пригодится в дороге. Я ведь не прошел еще и километра.

– Я сейчас. – И она шагнула к двери.



– Подожди-ка, – остановил ее, схватив за руку. – Если что, ты меня не видела. Мне придется сказать все как есть. Но ты меня не видела. Иначе они схватят и тебя.

– Хорошо, я поняла.

Она принесла ему кастрюльку с остатками каши, немного хлеба и печенья. Иван сразу же вывалил содержимое кастрюли на полу шинели и сказал:

– На, забери. Унеси сразу в дом. Тебя здесь, в сарае, не было. Когда ты заходила за инструментами, я прятался. Ты меня не заметила. Поняла?

В словах Ивана, в том, как он говорил, как потом сидел на корточках и ел, как жадно заталкивал в рот холодные, как студень, куски каши, Шура вдруг увидела такую незащищенность человека, оказавшегося перед копьем своей судьбы, что она забыла обо всем и стала думать только о том, как помочь ему. Фрау Бальк, если она приедет сегодня, в сарай вряд ли пойдет. С деревом Шура справится сама. И вдруг она вспомнила, что полицейский обещал прислать рабочих. Они ведь вот-вот придут!

Рабочие пришли примерно через час. Это были братья из деревни Гольтьево Серега и Коля. Гольтьево в нескольких километрах от Прудков. Их угнали в один день, и ехали они сюда в одном вагоне. Вначале Шура не поняла, почему они появились здесь, когда весь город разбирал завалы, когда и она, Шура, тоже должна была работать вместе со всеми там, в центре города, откуда еще тянуло дымом пожара. Все дело в том, что полицейский, видимо, проявляет к фрау Бальк особое внимание. Шура много читала, внимательно наблюдала за взрослыми, слушала их разговоры, прислушивалась и к тому, что происходит в ее сердце, и кое-то уже понимала. Внимание полицейского к ее хозяйке было не просто вниманием друга погибшего мужа, а чем-то большим, что иногда связывало людей даже такого возраста, в каком пребывали фрау Бальк и городской полицейский.

– Нас прислали сюда на помощь, – сказал Серега.

– Здесь не бомбили. – Коля огляделся, взгляд его на мгновение задержался на сарае, дверь которого впопыхах Шура так и не успела закрыть.

– Они думали, что только у них есть самолеты. Бомбоубежище разнесло в щебень, – снова заговорил Серега, и на лице его Шура прочитала выражение удовлетворенного злорадства.

– У англичан очень хорошие самолеты. Французы говорят, что теперь они летают с юга, с какого-то острова в Средиземном море. Выбили оттуда итальяшек и разместили авиабазу.

Примерно то же чувство испытывала она ночью, когда слышался гул моторов и вой падающих бомб. Но когда мимо дома провезли к лазарету раненых, когда она услышала их стоны и плач, когда поняла, что так плачут от боли и страха смерти, ей самой стало страшно.

– Бомбы падают на всех, – сказала она. – На детей тоже.

– Здесь нет детей. Здесь все – фашисты.

Шура промолчала. Она знала, что это не так, но спорить с братьями не стала.

Втроем они быстро принялись за работу. Сучья порубили и повязали вениками. Дерево распилили и покололи. Колотые дрова сложили под навесом ровным штабельком. Шура знала, что фрау Бальк, которая вот-вот должна была приехать из деревни, их работа понравится и, возможно, довольная тем, что дом во время налета не пострадал и что следы ночного беспорядка убраны, она прикажет накормить работников. Тем более когда узнает, что их прислал ее знакомый полицейский. Наблюдая за братьями, Шура спросила:

– Как вас там кормят, ребята?

– Да как... На завтрак дали по четыре картофелины и по кружке теплой кавы. Кава горькая, такая противная, что на рвоту тянет. На обед дадут суп из брюквы. Баланда, в которой плавают кусочки брюквы. Мать пороссятам такое варила. Только погуще. Да еще мучицы туда сыпала. Летом – мелко порубленной крапивы или лебеды. А нам – так, без витаминов.

– А хлеб вам дают?

– Дают. Один раз в день. Утром.

– Да, утром, – подтвердил младший, Коля. – Наверное, для того, чтобы весь день хорошо работали.

– А вы слышали что-нибудь о Тегеране? – осторожно спросила Шура.

– О чем?

– О Тегеране? Это город такой, столица Ирана.

– Иран наш союзник?

– Скорее всего, да, – немного подумав, ответила Шура.

– Французы принесли листовку, – сказал Серега, – в ней написано, что, если немцы будут относиться с населению оккупированных стран так же, как в начале войны, то им за все придется ответить.

– Французы знают все. – Коля заметал остатки мусора и поглядывал на дверь сарая. – Они получают письма из дома.

Письма из дома? Какое счастье – получать письма из дома! От мамы! Шура даже на мгновение перестала дышать. Единственное письмо от мамы

она хранила в коробке из-под чая и перечитывала его почти каждый день. Особенно когда скучала по дому. А скучала Шура почти всегда. Она даже заметила, что в выражении ее лица и глаз появилась едва уловимая печаль. Шура подходила к большому зеркалу, улыбалась, но тень глубоко залегшей печали не исчезала. Она светила своим тусклым светом как бы изнутри.

– Французы рассказали, что у Красной Армии появились новые, более мощные танки и самоходки, новые самолеты и противотанковые пушки, которые прибивают броню «тигров» и «пантер». Скоро наши будут здесь.

– А вы знаете того француза, который работает в парикмахерской? – вдруг спросила она.

– Да, это Арман. Он-то как раз и приносит нам все новости. Иногда даже кое-что из продуктов. Для Володи.

Братья переглянулись.

– Если наши к весне не придут, мы все уйдем в горы. Арман знает, где прячутся партизаны.

– Маки? – спросила Шура.

– Да, маки, – ответил Коля и снова посмотрел на приоткрытую дверь сарая.

– Ты одна? – насторожился и Серега.

– Одна.

– Ты врешь. – И старший из гольтьевских братьев заглянул в проем сарая.

Иван Воронцов попал в плен в октябре 1941 года под Вязьмой, когда немцы в ходе операции «Тайфун» окружили шестьдесят четыре наших дивизий, одиннадцать танковых бригад, пятьдесят артполков, а потом, организовав внешнее кольцо, быстро добились их. Окруженные несколько раз пытались прорваться. Выйти удалось немногим.

О тех днях, постепенно утративших черты реальности, как и все то, что последовало потом, когда его втолкнули в колонну военнопленных, покорно бредущих на запад, сержант Воронцов старался не думать. Сил это не прибавляло. А в лагере, и потом здесь, в Баденвейлере, в относительном благополучии, силы нужно было хотя бы беречь, и при возможности накапливать. Как патроны перед решающим боем. Как патроны... Потому что их может попросту не оказаться в тот момент, когда они особенно понадобятся. Но сны и случайные фразы, произнесенные кем-нибудь из товарищей, снова и снова возвращали его туда, в сорок первый год, в осенний вяземский лес. Словно конвой невольника. Ему, невольнику, хочется бежать, душа его рвется на свободу, на родину, а тело уже не может обеспечить ни быстроты побега, ни скрытности; лагерная же охрана всегда

начеку...

Навсегда он запомнил этот день: 24 ноября 1941 года и опушку леса неподалеку от небольшой деревушки. В деревню ушли его товарищи, чтобы раздобыть хоть немного еды, и они, девять человек бойцов, остались их ждать в березняке. А часом раньше он закопал там же, под приметной березой с раздвоенным стволом, окоченевшее тело отца.

Уже больше месяца они скитались по лесам.

После прорыва фронта 5 октября их 91-я стрелковая дивизия несколько раз меняла позиции. Держала оборону вначале в районе Холма севернее железной дороги Вязьма – Смоленск, потом на Днепре. 8 октября пронесся слух, что немцы обошли их с севера и с юга и замкнули кольцо. Слухам какое-то время не верили. В роту пришел комиссар из штаба батальона и сказал:

– Товарищи бойцы, паникеры разносят слухи о нашем окружении. Все это неправда. Дивизия готовится к решающему удару, в ходе которого положение будет восстановлено. Задача остается прежней: удерживать свои позиции, крепить большевистский дух и воинскую дисциплину, увереннее громить врага!

Но все дороги, которые проходили через их окопы, уже были забиты обозами с ранеными. Мертвых стаскивали с повозок и оставляли прямо на обочине, в том числе и возле их окопов. Все чаще налетали «лаптежники». Все больше потерь было в их роте. Вскоре нечем стало перевязывать раненых. И снова слухи: окружены, окружены, окружены. Взводный лейтенант сказал:

– Ребята! Держаться! Другого приказа нет!

Но нервы расшатались уже до предела. Командиры выглядели растерянными. Отдавали приказы неуверенно. Их ротный вел себя так, как будто что-то знал, но сказать им всей правды не может. Кому верить? Что впереди? Что позади? Где немцы? Где тыл?

Вся правда стала известна уже наутро. На рассвете обозы, всю ночь шедшие в сторону Вязьмы, хлынули в обратном направлении.

– В Вязьме немцы! Мы окружены!

Вот тут и началось.

Подошел какой-то взвод, снял пулемет с кузова полуторки. Тут же из обоза, где уже вперемешку двигались и раненые, и бегущие, нахватали человек десять-двенадцать. Отбирали тех, на ком не было кровавых бинтов, кто шел без командиров и оружия. Отбирали ловко, и чувствовалось, что делают они свою работу не в первый раз. Встав плотными группами по пять-шесть человек по обочинам напротив, одна из групп, наметив какого-

нибудь бедолагу, ударом в плечо или в спину выталкивала его из колонны, а вторая тут же подхватывала его под руки и – в овраг.

– Кого это они? – спросил Ивана его второй номер Нестер.

– Ты ж видишь, кого. Без винтовок, без подсумков. Кто оружие побросал, того и забирают.

– Зачем?

И тут начался артобстрел. Вначале позади окопов, в лесу, лег одиночный снаряд. Потом, с небольшим интервалом, уже ближе, на краю поля, шарахнул другой. А третий уже разорвался во втором взводе.

– Ну, ребята, надевайте каски, – сказал им взводный.

Стало ясно, что огонь немецкой артиллерии, корректировался. Снаряды ложились точно по линии окопов и по дороге, запруженной повозками, грузовиками, санитарными подводами, кухнями и разным тыловым барахлом на колесах. С дороги народ хлынул в лес, в окопы. К ним в просторный пулеметный окоп прыгнул один из тех, кого взвод, приехавший из тыла на полуторке с «максимом», выхватил из колонны бегущих. Но в овраг его отвести не успели, начался артобстрел. Молодой, лет, может, девятнадцати, примерно одногодок Саньки, младшего брата. Уткнулся в угол окопа, голову руками закрыл и трясется. Его Нестер растолкал и говорит:

– Ты чего трясешься?

– Так страшно же.

– Всем страшно. Немец сейчас в атаку пойдет, так и ему тоже страшно будет.

Малый смотрел на них ошалелыми глазами.

– Это кто? – К ним в окоп спрыгнул взводный, внимательно посмотрел на чужого. – Дезертир? Паникер? Что, увидел немца, так и в штаны сразу наложил?! Или ты его еще и в глаза не видел?

– Не видел, – прошелестел пересохшими губами боец.

– Или деранул от него, когда увидел?

– Нет, правда, не видел.

– Андреенков, дай ему винтовку, – приказал вдруг взводный и кивнул на плащ-палатку, под которой лежали винтовки выбывших.

Нестер потянул на себя брезент, вытащил винтовку и первый попавшийся под руку подсумок.

– На, бери. Винтовка хорошая, пристреляна как надо. С нею Гришака воевал. Двоих танкистов с башни так и срезал.

– Слыхал? Героическая, можно сказать, винтовка. Доверяем ее тебе с надеждой, что доверие оправдаешь. – Взводный прислушался. Артобстрел,

похоже, прекратился. – Как твоя фамилия, боец?

– Ефимов.

– Ну вот, боец Ефимов. Видишь пустой окоп? Дуй туда. Занимай его. И слушай мою команду. Понял?

– Понял.

Обстрел действительно прекратился. В овраге неподалеку заработал пулемет. Одна нескончаемая очередь. Как будто немецкая цепь подошла вплотную. Там расстреливали дезертиров и паникеров.

– Ну вот, – сказал лейтенант, – одно отделение наша дивизия уже потеряла.

Только затих в овраге пулемет, в поле, куда уходила дорога и где горели разбитые грузовики и телеги с разным тыловым имуществом, появились танки. За танками цепью шла пехота.

Первую атаку они отбили. Хотя ни одного танка поджечь не удалось. Танки вдруг развернулись и начали уходить в балочку. А через минуту они, а может, другие, понять уже было ничего нельзя, выскочили с тыла и начали перемешивать с землей окопы второго взвода.

Кто побежал первым, они с Нестером потом так и не могли вспомнить. Им казалось, что вроде бы все сразу и побежали. Опомнились уже в лесу, в овраге. Боя не слышать. В стороне дороги урчат танки. Стрельбы особой вроде бы и нет. Так, одиночные винтовочные выстрелы в стороне их окопов.

– Ну что, ребята, бросили позиции? Что будем делать? – Лейтенант ходит вдоль оврага, винтовка с примкнутым штыком на плече.

– Да что делать! Что делать! Не видишь, пи... роте!

– Роте, может, пи..., но мы-то живы. И при оружии. Слушай мою команду! Сейчас всем построиться на той стороне оврага. А там разберемся, что делать.

В тот день лейтенанта еще слушали. Построились. В строй встали все. Даже те, кто уже откровенно посматривал в лес и не особо дорожил ни винтовкой, ни петлицами, да и на лейтенанта косился зло, недоверчиво.

Пересчитал лейтенант свое войско. В строю оказалось девятнадцать человек. Часть из первого взвода, часть из второго. Кое-кто заблудился и из третьего, и даже из санчасти двое санитаров.

Иван готов был выполнить любой приказ лейтенанта, даже если бы тот приказал в тот момент контратаковать немцев не дороге. Потому что не увидел в строю отца.

– А где дядя Гриша? – толкнул его в бок Нестер, когда они стояли на краю оврага, поправляя одежду и осматривая снаряжение.

– Не видел я его, Нестер. А ты?

– И я не видел. Скорее всего, на дороге остался. – И Нестер вдруг спохватился: – Неужто взводный на дорогу поведет? Куда ж мы, с винтовками, против такой-то силы?

– Пойдем, Нестер. Пойдем, если командир прикажет. Там, на дороге, много наших осталось.

Но на дорогу лейтенант их не повел. Повел в лес. Иван хотел уйти. Не мог он бросить отца. Нестер стал отговаривать:

– Брось, Вань, не трави душу. Если в плен попал, то его уже угнали. Ты ж видел, какую колонну они там наверстали. А если ушел, то тоже где-нибудь тут, в лесу бродит.

Двое суток блудили по лесу. Доели последние сухари. От раненых потянуло смрадом, запахло бинты. Перевязку не меняли с тех пор, как бежали в лес. У некоторых под бинтами появилась опухоль. Их пошатывало от высокой температуры. Стало ясно, что с такими далеко не уйти. Запах гангрены – это запах скорой смерти.

Однажды под вечер вышли к деревне. Деревенька так себе, дворов шесть. Не деревня, а лесной хутор. Лейтенант остановил их, долго слушал, вглядывался в сумерки, в затеплившиеся красноватыми огнями керосиновых ламп окна, казавшиеся издали совсем низкими, придавленными к земле. Потом сказал:

– Вот тут, ребята, и разживемся. Тут переночуем и просушим одежду.

Хорошо бы, подумал Иван. Но не шел из головы отец. Как бы он ни прокручивал назад произошедшее, какие бы варианты ни просчитывал, выходило всякий раз одно: отца он бросил. Там, на дороге бросил. Как бросил окоп. Пулемет Иван не бросил. «Дегтяря» они тащили с Нестером по очереди. Один нес пулемет, а другой сумку с тремя запасными дисками. Винтовку Нестер где-то потерял. Да и черт с ней, с винтовкой. О ней даже лейтенант Нестеру не вспомнил. Хорошо, что пулемет вынесли с запасом патронов. Лейтенант у них был – человек. Со взводным им повезло. Но отец остался где-то там, на дороге. И эта постоянная мысль разъедала душу сильнее гангрены.

– Воронцов, – приказал лейтенант, – займи-ка позицию вон там, чтобы улицу мог свободно простреливать. Если что, я по улице не побегу. Так что лупи вдоль дороги, патронов не жалей.

Иван залег за березой. Поставил пулемет на сошки. Прислушался. Лейтенант ушел в деревню не один, с Нестером. А через минуту оттуда – крики и пулеметная очередь. Пулемет – немецкий. Иван уже научился различать пулеметные голоса. Запустил очередь и он. Но стрелял не вдоль

улицы, как приказывал лейтенант, а прямо по вспышкам пламени работающего пулемета. Вскоре загорелся крайний дом. Вышло так, что Иван стрелял по крыше. Крыша соломенная, занялась легко. А пули – трассирующие. Трассирующими ночью стрелять лучше, можно трассой управлять, к цели ее подводить.

Замолчал пулемет. Дом горит. А от деревни к лесу человек ползет. Один. Значит, кто-то там остался. Кто? Нестер? Или лейтенант?

– Воронцов! – услышал он голос взводного. – Снимайся! Уходим!

Значит, там остался Нестер. Так потерял он и Нестера Андрееenkova, с кем вместе уходил на войну из своего села Подлесного. Последнего своего земляка.

Километра два бежали лесом, пока вконец не выдохлись. В какой-то лощине, у ручья, повалились, чтобы отдышаться. Лейтенант рядом, хрипит, матерится, никак откашляться не может, дрожащими пальцами снимает с нижней губы тягучую слюну.

– Разжились, – говорит. – И пожрали, и обсушились, и раны чистыми бинтами... Была бы моя воля, всю деревню бы спалил. Гад на гаде.

– Деревня тут ни при чем, – сказал один боец из ополченцев. Иван его по голосу узнал. Ополченцами, как раз перед немецким прорывом, пополнили их батальон. Во взвод к ним пришли четверо. Все пожилые. Стрелять умели неплохо.

– А кто тут при чем?

Иван почувствовал, как напрягся взводный, зашевелился, начал вставать.

– С немцами надо воевать, а не дома в деревнях жечь. В этих домах наши люди живут, советские. Вот сожгли дом – и где теперь жить людям? – Голос ополченца становился все тверже. – А от немцев побежали, как зайцы от гончей.

Это точно, сглотнул комок в пересохшем горле Иван – как зайцы. Даже отца бросил...

– Где наши танки? Где артиллерия? Где самолеты? – Ополченец стоял перед взводным смело, разговаривал, как с равным. Что ж, на свои вопросы он право имел. Эти вопросы мучили всю роту. Да и не только роту. Точно так же спрашивали друг друга и не слышали ответов и в других ротах, батальонах, полках и дивизиях.

– Вы меня об этом спрашиваете? – вдруг сказал осекшимся голосом лейтенант. – У меня одно право: умереть вместе с вами в окопе. А то, что я вместе с вами драпанул, не лезет ни в какие уставы. Вот в этом я виноват по горло. Надо было за дорогу зубами держаться и вас не пускать. Под



револьвером держать там всех.

Все слушали своего командира молча. Иван вдруг почувствовал, что и лейтенант не всесильный человек и что если и он сейчас скиснет, то им точно конец.

– Вот что, мужики, послушайте теперь меня. Я командир небольшой, всего лишь сержант. – Так начал свое слово и он, до этого времени молча наблюдавший за происходящим. Он понял, что начинается разброд, что все уже не доверяют друг другу и вот-вот вспыхнет огонь взаимной вражды и группа распадется на пары и одиночки. И тогда не выйти никому из них. – Всем нам тут несладко. Но давайте договоримся вот о чем. На лейтенанта не залупаться. Он, между прочим, нас не бросил. А вы видели, какие толпы по дороге без командиров шли. Ефимов! – позвал он бойца, который теперь, после того как увидел расстрел своих товарищей в овраге у дороге, не отставал от них ни на шаг.

– Я! – брякнув винтовкой, вскочил на ноги Ефимов.

– Что будет с нами, я не знаю. – Иван толкнул бойца к ополченцу. – А вот ему наш лейтенант жизнь уже спас. Вы все знаете. Так что как хотите, а я с лейтенантом до конца. Если бы «особняки» начали разбираться, то и лейтенанта могли поставить к березе. Вы как хотите, а я с таким командиром до конца!

Ночью в лесу они набрали на костер. Возле него сидели и сушились несколько бойцов из их роты. Иван сразу спросил об отце.

– Воронцов ушел вместе со старшиной, – ответил один из бойцов.

В лицах сидевших у костра чувствовалась настороженность. Видно было, что на гостей они не рассчитывали. Ни на гостей, ни на пополнение, ни на то, что сами могут стать пополнением.

– А вы? Вы почему не со старшиной? – спросил взводный, сразу все поняв.

– Мы сами по себе.

– Что? По домам? Где ваши винтовки? Бросили? – И взводный рывком расстегнул кобуру.

Сидевшие у костра некоторое время подавленно молчали. Потом встал один, в летах, чем-то похожий на отца, и заговорил спокойным голосом:

– Ты, лейтенант, нас не стражай. Война для нас уже кончилась. Ты что, не понял? Там, на дороге, и кончилась.

Лейтенант молчал. Он и сам понимал, что все действительно кончилось на дороге.

Пожилой сглотнул и заговорил дальше:

– Что ж это за армия у нас?! Как своих расстреливать, так и пулеметы

нашлись. А тут – три «дегтяря» на всю роту. Так что мы идем домой. С такой армией, как наша, мы против германской – стадо. И пастуха у нас, как выяснилось, тоже нет. Вот ты, лейтенант, за последние дни, когда германец на прорыв пошел, видел хотя бы один наш самолет? Ну вот, и мы не видели. Где они, наши сталинские соколы? На каком фронте дерутся? А может, их и вовсе нет? Или сразу на аэродромах попрятались, когда «мессершмитты» в небе появились? А где старшие офицеры? Что-то я в окопах ни одного командира батальона не видел, ни командира полка. А где наши комиссары? Все попрятались. Только болтать, когда пули не летают? Сытые балаболки. Штабные крысы. Трепачи и трусы. Все попрятались. Солдата одного в окопе оставили. Так получается.

Пожилой сел и принялся поправлять ботинок, надетый на колышек у костра. От ботинка шел густой пар.

Они постояли немного и пошли дальше. Все понимали, что пожилой прав. Но Иван вернулся. Подошел к пожилому, спросил:

– Куда ушел старшина?

– Твой батька шел со старшиной. Они пошли в сторону Вязьмы. У них карта есть. Зря они туда полезли. – И вдруг пожилой предложил: – Оставайся-ка, парень, с нами. Заведет вас лейтенант...

Иван догнал своих уже в поле.

– А я думал, ты, Воронцов, остался, – сказал устало взводный.

– Где? У костра?

– Ну да, с этими... пораженцами.

Вскоре они догнали группу старшины. Они почти одновременно вышли на лесную полянку и замерли, наставив друг на друга винтовки. Иван сразу узнал отца, хотя тот оброс седой щетиной, осунулся, постарел.

И тогда, близ той деревушки под Вязьмой, когда он лежал в перелеске с пулеметом, а позади виднелась приметная береза с раздвоенным стволом, и теперь, сидя в сарае на юге Германии, перед ним стояли глаза отца, полные страдания, лицо, обметанное седой недельной щетиной.

Они обнялись. Отец гладил его стриженую голову, и Иван чувствовал щеками его слезы.

– Как ты думаешь, где сейчас наш Санька? – спросил отец. Это был его первый вопрос.

– Последнее письмо пришло из Подольска. Он писал, что их снова направляют в летние лагеря. Куда-то под Серпухов.

– Об отправке на фронт он ничего не писал?

– Нет, даже намека не было. У него выпуск весной следующего года. Будет лейтенантом. Получит взвод.

– Лейтенанты на фронте долго не живут. – Отец вздохнул. – Два-три боя – и либо в госпиталь, либо в братскую воронку... А до весны их в училище держать не будут. Немец вон как попер. Фронт прорвал. Завтра у Подольска будет. А Серпухов еще ближе.

– Ты что, думаешь, что и Санька уже на фронте?

– Может, и не на фронте. Но думаю, что где-нибудь там, позади нас, уже копает свой окоп. А почему не сказал, что письмо от него получил?

– Вначале некогда было. Отступали. А потом забыл.

На следующий день снова наскочили на немецкий пулемет. Потеряли двоих. Потом их обстрелял танк. Вышли на дорогу, а он стоит на повороте и контролирует перекресток. Еще трое до оврага не добежали. Ночью ушли несколько человек в деревню и не вернулись. Утром лейтенант пошел проверить посты, а постов нет, ушли. Через несколько дней соединились с другой группой, которую вел генерал Малышкин Василий Федорович. С ним несколько подполковников и майоров и до роты бойцов и лейтенантов.

Пошли дожди. Захолодало. Однажды утром выбрались из землянки – снег кругом. Каждый след виден за версту. В лесу стало неприятно. Да и еду стало добывать с каждым днем все труднее. Однажды заночевали в землянках. Утром встали. Генерала нет. В землянке, где он ночевал, лежит его одежда. Пошли по тропе, протоптанной через болото. Вскоре нашли изорванное на клочки удостоверение.

Отец сказал:

– Все, ребята, дальше идти незачем. Когда генерал в солдатскую шинельку переодевается, он уже не солдат. У него теперь своя дорога.

Но встретиться им еще пришлось. Дважды.

Первая встреча произошла 24 ноября. Утром он похоронил в перелеске отца.

Отца ранило осколком мины. Когда переходили поле, из деревни их обстреляли из пулемета. Они побежали к лесу. И тогда немцы бросили несколько мин. Осколок вошел отцу в спину. Всю ночь они несли его на носилках. На рассвете лейтенант остановил их на отдых. Иван наломал сосновых веток, лег рядом с носилками и задремал. Вскоре его разбудил старшина:

– Воронцов, вставай, твоя смена.

Он вскочил и сразу нагнулся к носилкам. Снег на лице отца уже не таял.

– Что, помер Григорий Александрович? Царствие ему небесное. – Старшина стоял под сосной, пошатываясь от усталости и недосыпания. – Ладно. На час освобождаю тебя от службы. Бери кого-нибудь из своих

ребят и похороните красноармейца Воронцова по-человечески. Боец он был добросовестный, исполнительный. Правда, повоевать вот ему не пришлось. Такая наша судьба. – Так старшина простился со своим верным солдатом и одновременно утешил, как мог, Ивана.

Иван разбудил Ефимова и еще одного бойца из третьего взвода, который пристал к ним в лесу.

– Где копать, товарищ сержант? – спросил Ефимов, расчехляя саперную лопатку.

Иван кивнул на березу. Ефимов начал копать.

Иван сидел рядом с отцом и счищал ледяную корку с его лица и рук. Потом достал из вещмешка новое вафельное полотенце и закрыл им лицо. Сказал бойцам, по очереди копавшим могилу:

– Хватит. Давайте положим.

Когда начали класть, оказалось, что могилка коротковата. Ефимов тут же кинулся подрубить один край.

– Простите, товарищ сержант, не рассчитали.

– Ничего, – сказал боец из третьего взвода, – снег лег на талую землю, подается хорошо. Сейчас все будет готово.

Положили. Прикопали. Сверху холмик замаскировали еловыми лапками. Под лапник подсунули каску.

Иван еще минуту постоял у могилы, посмотрел в небо. Вот и вся панихида.

А еще через минуту он уже лежал с пулеметом в отпаханной от леса меже, в притоптанном снегу и разглядывал в прицел крайние дворы деревни. Посланные в деревню за едой опасно задерживались.

– Что-то там не то, товарищ лейтенант, – сказал он взводному, чувствуя, что голос его дрожит от страха.

Несколько суток они кружили возле шоссе, которое нужно было перейти, чтобы выбраться к Можайской линии обороны. Они бродили по лесам и не знали, что позади них никого нет, что никакого Резервного фронта уже не существует, что в окружении в вяземских лесах сейчас так же, как и они, бродят семь армейских полевых управлений и что генерал Малышкин, начальник штаба 19-й армии, переодетый в форму рядового бойца, захвачен в плен немецким патрулем. 19-я должна была организовать и возглавить прорыв, но была, как и все другие, разбита, разметана, рассеяна по лесам после неудачной попытки пробиться через немецкие порядки северо-западнее Вязьмы под Богородицком Орлянкой. Теперь они лишь видели следы этого прорыва, унесшего тысячи и тысячи жизней. Трупы и у дорог, и в лесу, и в старых окопах, и в оврагах, и прямо в поле.

Иногда по позам, в которых бойцов застала смерть, можно было понять, куда они бежали и откуда велся огонь. Такие поля и овраги группа, которую вели лейтенант и старшина, обходили стороной.

Лучше бы они обошли стороной и эту деревню. Но уже не оставалось сил. Мучил голод. Вдобавок почти все были простужены. Сказывались дневки в лесу, под открытым небом, на стылой земле, когда ни костра развести, ни одежду просушить, ни согреться.

Ивана вдруг охватил страх. В диске его пулемета патронов оставалось всего на две-три очереди. Гранат уже не было ни у кого. В подсумках у товарищей по одной обойме.

И тут из деревни выскочили мотоциклы. Они быстро миновали подъем и веером рассыпались по полю, поднимая колесами неглубокий снег.

– Огонь! – скомандовал взводный.

Иван прицелился в самый ближний мотоцикл. До него оставалось метров пятьдесят. Никогда он еще не видел противника так близко. Он тщательно прицелился и дал короткую очередь. Трасса воткнулась прямо в колесо мотоцикла, потом полоснула по коляске и косо пошла вверх, захватывая и мотоциклиста, и сидевшего за ним автоматчика. Мотоцикл перевернулся, как игрушечный. Немцы с криком полетели в снег. Двое тут же вскочили. Один пытался снять с турели и вытащить придавленный опрокинутой коляской пулемет. Иван дал прицельную очередь вначале по нему, а потом по другому, стрелявшему с колена из карабина. Вот за что его потом били больше других, когда привели в деревню. Его взяли возле пулемета. Немцы сложили своих на одеялах вдоль дороги. Их оказалось четверо. Четвертого он не помнил. Иван посмотрел на них и подумал: за отца. И еще подумал: если его сейчас поведут на расстрел, то смерть надо принять как в бою. Свое дело он сделал. Вон они, лежат, его крестники. Четверо. Один – за отца. Другой – за Нестера. На его долю оставались еще двое. Хорошая цена.

Но расстреливать не повели. Избили. Избили так, что долго потом кашлял с кровью.

В деревне их загнали в коровник. А вечером пригнали еще одну группу. Взяли их где-то неподалеку, в лесу. Среди них Иван узнал генерала.

– Здравствуйте, Василий Федорович, – сказал он.

Тот некоторое время рассматривал его избитое лицо. Потом узнал:

– А, пулеметчик. А где лейтенант?

– Убит наш лейтенант.

– А старшина?

– И старшина тоже погиб.

– Что, – спросил генерал, – был бой?

– Да, – ответил он, – это был хороший бой. Настоящий. Никогда я так удачно не стрелял из своего пулемета, как в последний раз. Жаль, патроны кончились.

– Значит, вы в плен попали в бою? – Генерал неожиданно перешел на «ВЫ».

– Так точно, в бою. Когда уже исчерпаны все возможности сражаться. Они посмотрели друг другу в глаза.

– Рядовой Володин, – сказал ему вдруг генерал и подал руку. – Будем друзьями. Мы из одной роты. Ты меня понял?

Иван все понял. Свои сержантские петлицы ни с гимнастерки, ни с шинели сдирать он не стал. Потом, зимой, в Минске, в лагере Пушкинские казармы эмалевые треугольнички сняли охранники – на сувениры. Больше взять у него было нечего.

А генерала в лагере потом кто-то выдал. Говорили, что кто-то из своих, из штабных. Увели Василия Федоровича, которого он в лагере называл Володиным и делился табачком. Правда, табак чаще всего оказывался у Володина и угощал Ивана он.

А второй раз генерала Иван встретил в лагере на севере Германии, в Киле. Шла агитация во власовскую армию. К ним в лагерь прибыл генерал. На нем была странная форма: серый мундир немецкого покроя, но нашивки незнакомые. Как потом выяснилось, новой русской армии. Он произнес речь. Несколько человек тут же вышли из строя и стали рядом с ним. Генерал каждому из них пожал руку. Добровольцев тут же отправили в карантинное отделение, переодеваться в новую форму. Как все просто, думал Иван, наблюдая за добровольцами, два шага из строя, и ты уже другой. Он вспомнил отца и оглянулся на своих товарищей. У некоторых на лицах выступил пот. Они стояли бледные. Каждый решал за себя сам. Из их группы не вышел никто.

Иван сразу узнал генерала, с которым бедовал общую беду под Вязьмой. Странно, подумал он, генерал снова в генеральской форме. И довольствие у него, должно быть, снова генеральское. Он боялся, что Василий Федорович узнает его. Узнает. Подойдет. Позовет. Предложит хорошие условия.

Генерал еще раз скользнул взглядом вдоль строя. Ивана он не узнал.

И Иван никому не сказал ни слова, что знает генерала, что они вместе выходили из окружения и почти одновременно попали в плен под Вязьмой в ноябре 1941 года, что в лагере его звали рядовым Володиным.

В личной карточке, которую на него завели еще в концлагере в

Рославле, значились две попытки побега. Иван надеялся на третью. Третья – последняя. Он это знал.

Весной 1943 года Ивана и всю его группу неожиданно перевели на юг Германии. С тех пор он работал в кожевенной мастерской. Побег они планировали на весну 1944 года. Вернее, планировали французы из соседнего барака. Всеми делами здесь заправляли французы. Из всех военнопленных, содержащихся в бараках Баденвейлера, именно они были более осведомленными и менее истощенными, чем те, кто прибывал с Восточного фронта и даже из Африки.

Ивана, как руководителя русской группы, вскоре свели с Арманом. Арман работал в городе парикмахером. Когда познакомились ближе, Иван узнал, что Арман – бывший капрал из спецподразделения ВВС «Сражающаяся Франция», в плен попал в ноябре 1941 года в Северной Африке неподалеку от форта Капуццо. Где это точно, Иван не знал. Так же, как и Арман долго переспрашивал о том, где находится Вязьма. Выходило так, что в плен они попали почти одновременно. Помогая друг другу и готовя массовый побег в горы, назначенный на весну следующего года, они никогда не забывали об этом. Во время последней встречи Арман сказал, что из Франции поступили точные сведения о том, что следующей весной англичане, американцы и канадцы, а также ударные батальоны «Сражающейся Франции» во главе с генералом де Голлем высадятся на севере Франции, в Нормандии, и на Балканах, чтобы начать мощное согласованное наступление.

– Вот тогда и пойдем в горы, – подытожил Арман.

– Значит, снова откладываем. Ребята уже на пределе! И нервы, и физическое состояние таково, что до весны мы не дотянем.

– Скажите им: пусть держатся, – стоял на своем Арман. – Сейчас уходить бессмысленно. Уйдем в горы перед высадкой союзников. Таков приказ штаба. Пойми, Иван, мы там, в горах, нужны весной. К тому времени для нас там будет все: и оружие, и продовольствие, и одежда, и французский коньяк.

Иван понимал: Арман ведет свою политику. В горах они нужны только весной. А как быть им сейчас? Как пережить зиму? Французы и бельгийцы, на посылках из дома и от Международного Красного Креста могли ждать и дольше. А он готовился к побегу каждый день. Армана он тоже предупредил, что уйдет в горы со своей группой, как только подвернется случай. А ждать до весны – это означало медленно терять группу от истощения и болезней. Одного за другим. Уже заболел туберкулезом летчик лейтенант Трегубов. Начал отекать от недоедания Володя Минаев,

прекрасный снайпер. Через пару недель вахманы его уведут в изолятор, а оттуда одна дорога – за реку, на русское кладбище. Вот наша дорога в горы!

Авианалет решил все. Из всей группы надежных и не единожды проверенных товарищей, в которую вошли и бывшие пехотинцы, и минометчики, и артиллеристы, и один интендант, и летчик, после точного попадания бомбы в цех в живых остался только он один. Одному бежать в горы было безумием. Но ждать побега до весны означало сгнить в холодном сыром бараке, медленно доходить на жидкой вонючей баланде из брюквы и горькой, как полынь, «каве». Жажда свободы пересиливала все.

Когда его в сарае обнаружила «остовка», он испугался. Он знал, что последует за этим. Если она сообщит хозяйке. Но потом испуг сменился надеждой. Девушке было лет семнадцать. Худенькая, бледная, недокормленная, как и все «остовки», работавшие в городе, где с продуктами становилось все хуже и хуже, она осматривала его с таким радостным беспокойством, как будто видела человека, обретшего, наконец, желанную свободу. И он сразу понял, что она его не выдаст. Потом пришли двое парней, заговорили по-русски. Он их узнал. Они жили в бараке остарбайтеров напротив. В бараке были более мягкие порядки. И на работу они ходили без охраны. Старшего из этих двух звали, кажется, Серегой. Именно он принес к ним накануне Октябрьских праздников листовку. Да, это был тот самый Серега из гражданского барака. Оставалось надеяться, что он знаком с Арманом.

Иван вдруг понял, что Шура может не справиться с тем, что он задумал. Он пробрался поближе к двери и тихо позвал:

– Серега! Это я, Иван Воронцов из лагеря военнопленных! Не оглядывайся и внимательно слушай меня.



## Глава восемнадцатая

Радовский бежал через болото. Он торопливо перепрыгивал с кочки на кочку, стараясь не промахнуться и, ступив мимо, не оказаться по грудь в прорве.

Болото еще не замерзло. Зима не спешила в эти края. Кочки под ногами хрустели смерзшейся травой и мохом, вздыхали, будто сердясь, что их потревожили не к сроку, и медленно опускались вниз, в бурую жижу. Так что надо было выбирать следующую кочку, для следующего прыжка, чтобы не остаться в этом болоте навсегда. Наконец почва под ногами стала тверже. Туман, кутавший болото в свои влажные пелены, стал редеть. Болотный запах, чем-то напоминающий запах старого хлама, сваленного в сенях брошенного дома, исчез. Радовский перешагнул ручей с неожиданно прозрачной водой и ухватился рукой за чахлую березу. Деревцо было небольшим, тонким. Снизу ствол уже разошелся трещинами застарелой коры. Но вверху, там, где он держался, береста была ослепительно-нежной, и ему в какое-то мгновение показалось, что он держит запястье ребенка.

Радовский прислушался. Погони не было. Что ж, он позаботился о том, чтобы и мотоцикл, и танкистов нашли не сразу. Впереди, в березняке, какое-то время слышались голоса. Судя по интонации, разговаривали немцы. Значит, нейтральную полосу он миновал. Голоса затихли.

Он огляделся. Болото осталось позади. Оттуда тянуло холодной сыростью и запахом ненужных вещей, которые зачем-то собрали в одну большую кучу под протекающей крышей... Радовский смотрел в стылую мглу со смутным чувством тревоги и опустошенности. Он пришел оттуда. И его вдруг настигло то, что, как ему казалось, уже пролетело мимо. Что это? Почему у судьбы такая замысловатая траектория? *Значит, настала пора. Лучшие слепое Ничто, чем золотое Вчера...* Нежная береста оставляла на ладонях белый меловой налет, похожий на раздавленную цветочную пыльцу. Он понюхал пальцы, на которых виднелись меловые следы пыльцы. Запах молодой бересты был таким же, как в детстве. А еще он напоминал запах волос сына.

Настал миг, о котором Радовский мучительно думал все эти месяцы. Однажды ему показалось, что этот миг прощания со всем, чем он жил, что любил и к чему стремился, он уже пережил. Когда расставался с Аннушкой и Алешей. Он простился с ними, зная, что, возможно, прощается навсегда. И земля под ним не разверзлась. Он даже почувствовал облегчение. Быть

может потому, что вновь обрел свободу. Он понял тогда в себе одну очень важную вещь: свобода заключается не в свободе *жить*, а в свободе *умереть*. Это была какая-то высшая свобода, которую не стесняли уже ни семейные узы, ни религиозные догматы, которым, впрочем, он никогда не следовал, ни, тем более, рамки и требования уставов. Всех уставов, которым он когда-то следовал.

*Значит, настала пора...*

Золотого Вчера уже не будет. Это он знал точно. Это он уже определил для себя раз и навсегда. О слепом Ничто можно поразмышлять. Но не теперь. Лучше за стаканом рома. И лучше в чьей-нибудь компании. Например, Зимина. Или Владимира Максимовича. Но Владимира Максимовича уже нет.

И все же пора настала.

Он снова потрогал нежную кожуру березы и понюхал ладонь. Запах был тем же. Ничего не исчезло. Боли не убавилось. Но теперь можно было пожить и с нею, с этой внезапной болью. Чтобы оставить позади и ее. Как он оставил усадьбу, могилы родителей, а потом жену и сына. Он думал, что удалось проститься со всем и со всеми постепенно. Но он ошибся. Все сошлось вот здесь и сейчас. На этой худосочной березке, на нежности ее молочной белизны, на ошупь напоминающей прикосновение к детскому запястью. Все, что родственно, сходится в одной точке. Зачастую неожиданной. До этого казавшейся незначительной, малозаметной.

Радовский внимательно осмотрел свои руки. Никаких посторонних пятен, кроме берестяной пылицы, он не обнаружил. Тут же вспомнил: и бритву, и руки он вымыл сразу, как только подошел к болоту. И теперь бритва снова лежала за голенищем сапога, нагретая его теплом, чистая, сухая, как будто он ее оттуда и не вынимал. В сущности, он ее и не вынимал. Он ее выхватил. Когда их всех, встретившихся там, на дороге, настигло то мгновение, которое уже не могло разлучить просто так, как незнакомых людей, случайно встретившихся на лесном проселке. Уже завтра он тщательно побреется этой бритвой и будет свеж и полон сил.

Что ж, пора идти. Пора сбросить с себя весь морок условностей, что в иных обстоятельствах можно было бы назвать долгом, памятью и еще чем-то обязывающим, что сейчас не имело никакого значения. Он достиг той абсолютной свободы, за которой зияли пустота. Он снова оглядел окрестность. Там, за березняком, наверняка проходит немецкая траншея. Именно оттуда минуту назад слышались голоса. Может, охранение. Может, опорный пункт с пулеметом. Эти, не задумываясь, могут дать очередь наугад. На звук. Для острастки, побаиваясь разведгрупп противника. Нет,

окликать немцев он не будет. Выстрелят так выстрелят. Значит, судьба. *Мне ясно кажется, что кровь пятнает многие страницы...* Так оно и есть. Лечь здесь, под этой березкой, и лежать потом, пока не расклюют птицы и не растащат звери. Пока кости не врастут в почву. Никто и никогда не найдет его здесь. Дожди и талые снега омоют последний тлен с его костей. Они окаменеют и станут частью земли. И тогда уже родина всегда будет с ним навсегда. Потому что он сам будет частью этой земли. Какая прекрасная участь для солдата... У него даже пересохло в горле.

Но пулемет в березняке молчал. Ни голосов, ни выстрелов. Похоже, там ждали. Слушали его шаги и ждали.

И он ждал.

Звуки, которые он различил в тишине леса в следующее мгновение, ни с какими другими он спутать не мог. Он сразу понял, что по лесной тропе идет конь, под седлом, но без седока. Идет на ощупь, осторожно, как ходят по незнакомой местности. Пустые стремяна позванивали, как колокола давно минувшего и забытого. Он напряженно смотрел в березняк, откуда доносились звуки, разволновавшие его настолько, что он на мгновение забыл, кто он здесь, на болоте, между окопами красноармейцев и немцев, зачем и как должен действовать в следующую минуту. Канонада, казалось, тоже затихла. Словно весь фронт, на несколько километров вправо и влево, и в глубину в обе стороны, замер вместе с майором вермахта и бывшим поручиком 1-го Русского корпуса Георгием Алексеевичем Радовским в ожидании своей судьбы.

Серый в яблоках конь мелькнул в дымке березняка. Исчез. Снова появился. Радовский узнал его. Конь был похож на его Буяна, с которым он отступал к Новороссийску и которого потом бросил в степи вместе с седлом и притороченной к луке саблей. Кончик клинка, примерно на полтора-два вершка, был обломан. Потому он ее и не пожалел оставить. Потом, уже в городе, раздобыл другую. Но ту помнил. Потому что с нею ходил в бой под Ново-Алексеевкой. Буян тоже прихрамывал. Вначале потерял подкову. Потом, когда Радовский кое-как перековал его, поранил стрелку копыта. Он, может, и взял бы его с собой в город, но Буяна стало нечем кормить. Коней разрешили взять только чинам не ниже командира полка.

Но этот был не хром. И чем-то походил на Серка, который ходил под его курсантом Донцом в прошлую осень. Такой же разметистый шаг и твердая поступь.

Конь приближался. Пустые стремяна позванивали тихим дорожным звоном. Конь выбежал навстречу. Перемахнул через валежину и

остановился. Конь увидел человека. Он смотрел на него так, как смотрят на знакомого, но давно забытого хозяина, который уже не заботился о нем и перестал быть другом.

Как окликнуть его, в смятении подумал Радовским. Буяном? Серком? Буяна здесь не может быть. Буян остался там, под Новороссийском, в выжженной солнцем степи. И достался какому-нибудь красному командиру. Или простому бойцу. Хромой конь – не великий трофей. Хромой конь со сломанной саблей, притороченной к седлу... Да и Серка нет в живых. Срезан наповал пулеметной очередью. Радовский хорошо помнил, как это произошло, и подходил потом к мертвым. Серко со своим хозяином, Донцом, лежали рядом. Вот уж у кого была красивая смерть, так это у них. Под пулеметом. На полном скаку.

– Буян! – окликнул он коня и по привычке сунул руку в карман. Но ни куска сахара, ни даже сухаря там не оказалось.

Ничего у него не было. Ни родины, ни коня, ни хлеба. Только одна бритва за голенищем сапога.

Конь вскинул голову, звякнул уздечкой и резко повернул назад. Радовскому казалось, что конь побежал прямо на пулемет. Вскоре он исчез в белой дымке березняка. Слышалось только позванивание стремян да стук копыт. Вот-вот могла ударить пулеметная очередь. Радовский стиснул зубы и закрыл ладонями уши. Но пулемет молчал. И вместо выстрелов через минуту из березняка вновь послышались голоса. Его окликнули. Он не ответил. Молча пошел вперед. Вскоре разглядел тщательно замаскированный бруствер. Над бруствером встал человек в немецкой каске и жестом руки остановил его:

– Иван! Стоять! – Немец подал команду по-русски.

Удивительное дело, подумал он, когда неприятели долго стоят напротив друг друга, они вскоре начинают разговаривать на языке противника. Они понимают друг друга больше, чем своих командиров.

Радовский поднял руки. Нужно было улыбнуться. Для полной картины. Он видел, как сдавались красноармейцы. Подходили к немецким окопам, выходили из лесу к немецким колоннам с высоко поднятыми руками и жалкими улыбками на лице. Примерно то же нужно было изобразить и ему теперь. Но он увидел жалкую, замызганную физиономию немца, выглядывавшего из-за бруствера, и вдруг подумал: и с этими я пришел, чтобы вернуть себе свое Отечество?..

– Солдаты! – крикнул он по-немецки. – Я – офицер вермахта! Отдел Один-Ц! Прошу доставить меня в ближайший штаб!

В пулеметном окопе с минуту длилось молчание. Потом замызганная

физиономия исчезла. Послышались голоса:

– Вернер, там какой-то придурок пришел.

– Гони его в шею.

– С русской стороны. И несет какую-то чушь.

– Мы никого оттуда не ждем. Разведка сегодня не уходила. Пусть идет назад, к своим.

– Он говорит, что из наших. Из отдела Один-Ц. Какая-нибудь важная шишка. Ну его к черту, Вернер. И по-немецки чешет почти без акцента.

– А акцент какой? Русский?

– Да черт его разберет! Все немцы говорят по-разному. Акцент вроде бы не русский.

– Опять напился кто-нибудь из этих силезцев и бродит по болоту.

Высунулись две головы.

– Брось оружие и подойди на десять шагов! – скомандовал Вернер.

– У меня нет оружия. Прошу немедленно выполнить то, о чем я вам заявил. И еще: советую зафиксировать точное время выхода к вашему окопу.

Выдержка и самообладание тут же вернулись к Радовскому, и он смотрел на окоп и сидевших в нем пехотинцев с хладнокровием солдата, знающего все, что здесь может произойти не только по опыту этой войны, а по опыту всех войн, которые пережило человечество. И немцы это почувствовали. Солдаты всегда чувствуют сильного. С первой же минуты. Радовский не раз наблюдал, как в траншее, когда новоприбывшие встречаются с местными, кто-нибудь из стариков вдруг протягивал незнакомому человеку щепоть табаку или сигарету. Они обменивались двумя-тремя фразами, и уже не слышали голоса других. Русские воевали уже третий год. Немцы – пятый. Им было о чем поговорить друг с другом, не расстегивавшим ремней с начала боев, отдохавшим лишь в госпиталях. Им было за что презирать тех, кто долго отсиживался в тылу и появлялся в окопах только для того, чтобы пополнить нужной формулировкой свои анкетные данные и получить на грудь еще один Железный крест или Красное Знамя.

Сколько лет воевал он, Радовский уже не помнил. Но сидевшие в окопе сразу почувствовали, что – много. Быть может, казалось им, с Польской кампании. Или с Франции. А может, воевал еще во время Великой войны. Только неизвестно, на чьей стороне. Хотя теперь это неважно. Многие иваны, которые еще вчера стреляли в них с той стороны, сегодня исправно служат во вспомогательных частях. Несут охрану тыла, мостов, складов. Обеспечивают подвоз. Правда, им нельзя доверять

оружие. Так решил фюрер. А фюреру они все еще верили. Не потому, что он говорил им правду, а потому что у них не было другого выхода.

Радовский не остановился на той черте, в десяти метрах, которые определил для него первый номер пулеметного расчета. Он продолжал идти прямо на окоп, опустив руки и глядя на опешивших солдат. И тогда один из пулеметчиков, тот, которого звали Вернером, дал короткую очередь поверх головы идущего и остановил его. Остановил в пяти шагах от бруствера. Он тоже воевал уже пятый год и имел право на эту очередь.

Проверка длилась почти месяц. И все эти дни и недели Радовский жил в прифронтовом Витебске, в обшарпанной гостинице и пил. Вначале коньяк. Потому что его вдруг навестил Вадим Зимин. Потом, когда Зимин уехал и кончились запасы французского и греческого коньяка, он покупал бренди и ром у местных контрабандистов, как он называл торговцев спиртным, пронырливых и учтивых юнцов призывного возраста и с повадками трактирных половых, то ли поляков, то ли евреев. Но однажды, во хмелю, он обронил какое-то неосторожное слово по поводу их семитской внешности, и контрабандисты, исправно снабжавшие его благородными, хоть и жутко дорогими напитками, исчезли. И к концу месяца с тем же ожесточением Радовский пил злую самогонку. И, пряча в пахнущую хлоркой подушку мокрые щеки, исступленно шептал:

*Желтое поле,  
Солнечный полдень,  
Старая липа.  
Маленький мальчик  
Тихо читает  
Хорошую книгу.  
Минут годы,  
Маленький мальчик  
Станет взрослым  
И позабудет  
Июльский полдень,  
Желтое поле.  
Лишь умирая...*

Проверка окончилась накануне католического Рождества. Немцы готовились к своему празднику. А после Рождества его отозвали в штаб группы армий. Потом направили в Берлин. Там он снова встретился с Зиминым. Теперь инициатором встречи был Радовский.

– А не махнуть ли нам в Париж, дружище! – однажды, проснувшись в мучительном похмелье, предложил Зимин. – Пока здесь относительно спокойно и партизаны не стреляют по окнам проходящих поездов. Гулять так гулять!

Зимин напропалую сорил деньгами. Но Радовский сразу расставил все на свои места и предупредил, что свои расходы он оплачивает сам. Зимин только усмехнулся. И в первый же вечер им в номер шофер притащил корзину с коньяком и закусками.

– Ты по-прежнему считаешь, что французские проститутки лучше, чем, к примеру, немки или польки?

– Считаю, – усмехнулся Зимин. В его усмешке чувствовалась уверенность знатока. Так рекомендуют непревзойденные вина, которым по сотне лет, и лошадей, которые не подведут.

– А я бы снова съездил в Смоленск, – нахмурился Радовский.

– Не забыл. Девочки там были очень даже хорошенькие. Что с ними теперь? – Зимин налил коньяка и выпил. – Я тебе не говорил, Сиверс пропал во время эвакуации из Смоленска.

– Сиверс? Ты думаешь, он попал к большевикам?

– Все может быть.

И вдруг Радовский спросил Зимина:

– Вадим, ты помнишь моего коня?

– Какого коня, Георгий?

– Буяна. Которого я бросил после боя у Ново-Алексеевской или у Ново-Алексеевки... – И Радовский растерянно посмотрел на Зимина. – Представляешь, я уже не помню, где и ради чего мы тогда умирали. Это что, возраст или что-то другое?

– Дружище, не задавай себе роковых вопросов. Да. А конь был хороший, – вздохнул Зимин и с размаху плеснул в стакан Радовского французского коньяка.

– Ты его помнишь?

– Да, помню. Ты оставил с ним свой клинок.

– Сломанный клинок.

– Неважно. – В голосе Зимина вдруг послышалась твердость.

– Я недавно видел его.

Зимин внимательно посмотрел в лицо друга и сочувственно качнул головой.

– Там, в лесу, под Могилевом. Когда переходил.

– Ты что, Георгий? Я опасаясь тебе наливать еще, дружище. А мы только начали.

– Наливай. Но Буяна я видел. И он видел меня.

– Тебе нужен отдых. Хочешь, я об этом позабочусь? Поживешь месяц-полтора в каком-нибудь замке в горах. На полном пансионе. Под присмотром молоденьких ариек. А? – Зимин снова внимательно посмотрел на Радовского. – Послушай, Георгий, ты слишком всерьез все принимаешь.

– Ты что, не видишь, все летит к чертям! Большевики сейчас ведут перегруппировку. Они накопят сил и снова ударят. Они каждый раз наращивают силу удара. У них хорошие танки и самолеты, пушки и реактивные установки. У них пока еще плохая тактика, но хорошие солдаты и офицеры во взводах, ротах и батальонах. И тактике они постепенно тоже учатся. Москва, Сталинград, Орел и Курск. И каждый раз поражение немцев все сильнее и очевиднее. Масштабнее! Следующий удар будет катастрофой.

– Ну и что? – Зимин побледнел и выпрямил спину. – Это было ясно с самого начала. Помнишь, в Смоленске Штрикфельд с Сиверсом носились со своим меморандумом? Русская Освободительная Армия! Русская Освободительная Армия! И – что? Эти балтийцы, должно быть, думали, что их пустят дальше прихожей... Они даже нашли генерала на роль командующего Русской Освободительной Армией. И носятся теперь вокруг него, пытаясь преподнести Гитлеру фигуру Власова как лучшего исполнителя воли самого фюрера на Восточном фронте. Но немцы даже Власову, даже под присмотром немецких офицеров, никакой армии формировать не позволят. Ты лучше меня знаешь, чем закончилась смоленская идея. Нам, русским, на этом фронте, Георгий, больше батальона не дадут. Батальон! При немецкой дивизии. Во втором эшелоне! Вспомогательные функции и прочее... Тебе еще повезло, ты попал к людям вменяемым. В абвере меньше политики. На твоих курсантов не смотрят как на «остовцев» и «хиви». Хотя... Сколько батальонов для русского дела ты успел сформировать, дружище?

– Я тебя сейчас ударю, Вадим. Потому что два года назад ты говорил совершенно другое!

– Два года? Боже, сколько времени прошло! Давай, бей! Это не будет иметь для нас особых отрицательных последствий, даже если дело дойдет до полицейского разбирательства. А они слетятся на шум тут же. Начнут разбираться... Русские... А, эти недочеловеки способны на все... В худшем случае нас выселят из этой гостиницы. Куда-нибудь попроще, где живут их союзники, чехи, венгры, румыны. И при досмотре стащат из корзины пару бутылок самого лучшего коньяка.

– Ладно, Вадим, черт с тобой. Давай выпьем и говори свои скверные



речи дальше. Я буду терпеть.

Они выпили.

– А к девочкам? – засмеялся Зимин.

– К девочкам пойдем завтра.

– Зачем завтра? Да и идти никуда не надо. Они придут сами. У меня есть парочка телефонов. Девочек сюда пускают. За определенную плату. Я узнавал. Как хорошо в Европе! За деньги можно все! Но старушку-Европу они сейчас разрушат до основания.

Наутро, мучаясь похмельем, Радовский услышал над собой голос Зимина. Открыл глаза. Тот стоял в не застегнутом мундире оберштурмфюрера СС и, мрачно глядя куда-то мимо Радовского, говорил ему:

– Помнишь, Сиверс говорил, что любая миссия не может быть эгоистичной. Он говорил это еще там, в Смоленске, два года назад. Тогда у Гитлера был в активе еще только один опыт поражения. Под Москвой! И какую положительную мораль вынес наш гений из этого урока? Он счел, что его генералы и фельдмаршалы недостаточно умны и сделал себя верховным главнокомандующим! Браво! Ну, а потом был Сталинград. Потому что он должен был случиться. А ты в это время формировал свои батальоны. Понимаешь, Георгий, невозможно сделать солдат из тех, кто не знает, за что они будут драться.

– И ты тоже этого не знаешь?

– И я тоже! – Зимин сделался вдруг еще прямее, и Радовский понял, что он еще не протрезвел. А может, уже опрокинул стопку-другую с утра. Проводил девушек и засел за стол, не желая тревожить спящего друга.

– Вот как?

– А ты знаешь? И ты не знаешь! Потому что именно ты мне рассказывал о зачистках партизанских районов и о том, что происходит во время этих людоедских мероприятий!

– Вадим, замолчи. У меня раскалывается голова.

– У тебя болит голова. После французского коньяка?

– Я от него отвык.

– Вам там выдают так называемый ликер. Бурду, получаемую в результате смешивания шнапса со спиртом невысокого качества. Даже солдаты проклинают это пойло. Ты всегда считал меня циником. Но это меня хотя бы спасает от риска сойти с ума. Попомни мое слово, нас очень скоро вышвырнут из России. А потом твои русские батальоны заставят драться где-нибудь на севере или юге Франции, в Италии или на Балканах. Против союзников Сталина! Но не против Красной Армии, о чем

постоянно мечтаешь ты, Штрикфельд и кое-кто даже в высших кругах. Об этом мечтал и Андрик Сиверс. Русские батальоны будут воевать против англичан и американцев, против канадцев и австралийцев. И тогда уж нам с тобой, старина, бежать уже будет некуда. Весь мир будет против нас. Нам припомнят все. Еще бы! Русские – либо большевики, либо фашисты!

– А, вот ты о чем.

– Да, Георгий, пора подумать и об этом. У тебя здесь, в Европе, есть гражданство?

– Да. Я гражданин Франции.

– Вот это может быть существенным. Немцы этим никогда не интересовались?

– Да нет. Я несколько раз писал в анкетах. Только и всего. Вопросов по этому поводу не было.

– Ну да, они ведь знают, что русские осели во Франции, в Германии, в Югославии.

– Я тоже долго был в Югославии. Но когда надо было искать Аннушку, необходимо было иметь чье-то гражданство. Мне подсказали, что лучше – французское.

– Постарайся сохранить свои документы. Они могут очень скоро и очень сильно понадобиться. Союзники Сталина не могут долго откладывать высадку. Когда они хлынут со всех сторон, события будут происходить стремительно. Ты видел, как падают подбитые самолеты? Их падение не поддается общим законам физики. Иногда кажется, что дотянет. Но что-то взрывается, вспыхивает изнутри, ломается траектория, и вниз летят горящие обломки. То же самое произойдет и с этой империей. Третий рейх рухнет очень скоро и очень стремительно. Одно дело наблюдать трагедию падающего самолета со стороны, другое дело оказаться под его падающими обломками. К счастью для нас, дружище, в тот самолет нас уже не пустили. Ну и черт с ними! – И Зимин громко рассмеялся. – Только не вздумай воевать против французов. Луи тебе этого не простят. Постарайся относиться к ним как к соотечественникам. – И Зимин скривил пьяный рот в ироничной ухмылке.

Да, вне всякого сомнения, он был уже пьян.

Радовскому тоже захотелось вдруг напиться. Он встал, осмотрел комнату.

– Я их проводил, – предупреждая его вопрос, сказал Зимин. – Тебе они понравились?

– Я ничего не помню.

– Не притворяйся. Та Fraulein, которая осталась с тобой, просто

прекрасна! Тебе всегда везет! Я все помню. Всех твоих девочек. И тогда, в Смоленске, когда мы навестили нашу незабвенную Елизавету Павловну, она именно тебя осчастливила очаровательным созданием из своего собрания.

– Зачем ты их помнишь, Вадим?

– Не знаю. Так, коллекционирую. Надеюсь, что мне зачтется на страшном суде. Никому из них я не сделал зла. Мне хотелось, чтобы и они меня помнили. Глупость, конечно. Но когда ты одинок... – И Зимин снова сморщился в мучительной улыбке.

Они продолжили свою заурядную русскую пьянку. Их откровения после каждого выпитого глотка становились все отчаяннее и опаснее.

– Все рухнуло, дружище, – сказал Зимин. – Давай это признаем как неизменное. И попытаемся извлечь из этого еще один урок. Нам будет легче, когда тут, вот тут, где мы сейчас сидим и наслаждаемся уютом абсолютной безопасности, будут лететь с неба горящие обломки. Мы хотели вернуться в Россию, как капитаны. Как там, у твоего любимого поэта? *Пусть безумствует море...* Ну, как там дальше? Ты должен помнить.

Радовский махнул рукой, поморщился.

– Нет-нет, вспомни, пожалуйста, это очень важно.

И Радовский, уступая другу, процитировал:

– Пусть безумствует море и плещет,  
Гребни волн поднялись в небеса —  
Ни один пред грозой не трепещет,  
Ни один не свернет паруса...

– Вот тут мы, дружище, и попались! Мы мнили себя Одиссеями! Капитанами! Царями, возвращающимися на свою родную Итаку! Мы грезили о своих имениях с тучными стадами и с просторами, засеянными хлебами. Мы были уверены, что Пенелопа верна, что никто не осквернил наше ложе. Но все, дорогой мой, оказалось не так. Женихи оказались хитрее и сильнее. Да и Пенелопа...

Радовский жестом прервал его, потянулся за бутылкой, быстро плеснул коньяк на дно фужеров и сказал:

– Давай, Вадим, выпьем, за Пенелопу.

Зимин удивленно посмотрел на друга. Хотел что-то сказать, но передумал. Выпил вслед за Радовским. Но погода все же спросил:

– Ты сказал, что она пропала без вести.

– Да.

Зимин мотнул головой, поморщился. Сказал:

– Как у вас в абвере все сложно. Все покрыто каким-то мраком. На всем лежит вуаль. – И он сделал нелепый жест. – Вы великие мастера... – Но не договорил.

Радовский ухватил его руку и сказал:

– Лучше давай поговорим о наших Fraulein.

– Ты прав. К черту войну! Я позвоню девочкам. Мы продолжим. Не думай, они из хороших семей. Шалуны. Как это по-немецки... Schelmerei.

– Да, по сравнению с тем, что на фронте делают их мужья, отцы и братья, это всего лишь невинная шалость в пределах игры жизни.

– Шалость с русскими офицерами, во время войны – это серьезное преступление против нации. Даже, как ты выразился, в пределах игры жизни.

– А мы с тобой разве русские офицеры, Вадим?

– Странно, что ты об этом забыл.

– Я не забыл. Я просто думал, что ты пьян.

– Я всегда пьян. И всегда трезв. Так звонить мне нашим шалуням?

– Звони.

Через несколько дней он стоял перед своим шефом, оберстом Эрвином фон Лахоузен-Вивермонтом. Руководитель Управления Аусланд ОКВ Абвер-2 был вежлив и внимателен. Вопреки ожиданиям, его совершенно не интересовали подробности последней операции, гибели группы и перехода Радовским линии фронта. Видимо, его удовлетворили отчеты, в которых Радовский подробно изложил хронологию событий вплоть до выхода на боевое охранение вермахта. Полковник наклонил к нему свою крупную бритую голову и сказал, вытаскивая из стола стопку чистых листов:

– Напишите подробно о том, что наблюдали в ближнем тылу у русских. Все – подробно. Темы бесед. Довольствие. Настроение. Состояние дорог. Где накапливается техника. Об аэродроме Шайковка – отдельно. – И, когда уже Радовский встал, чтобы перейти в другую комнату для составления подробного отчета, Лахоузен-Вивермонт вдруг спросил:

– Где сейчас дислоцируется ваша группа?

– В одной из деревень между Оршей и Могилевом.

– Каково ее состояние?

– Абвергруппа Schwarz Nebel пополнена новыми курсантами из числа советских военнопленных и выполняет текущие задания в прежнем режиме.

– Вы скоро поедете туда. Но пока для вас есть работа здесь. Да и отдых

для вас, я думаю, не будет лишним.

– Благодарю вас, господин полковник.

## Глава девятнадцатая

Они лежали, зарывшись в солому и прижавшись друг к другу. Неподалеку похрустывал обледенелыми подошвами валенок часовой. Хрумкали сеном привязанные к деревьям лошади санитарного обоза. Часовой кашлял. Задышливо бухал в шапку. И Воронцов подумал: все-таки разгильдяй этот Петров или слишком самонадеян, поставил в наряд больного человека. Надо бы встать и сменить часового, послать его отдыхать. Пусть попьет кипяточку и полежит в теплой соломе. Но мерзлые подошвы часового, как метроном, продолжали отсчитывать секунды, один приступ кашля сменялся другим, а Воронцов продолжал лежать неподвижно.

Сбоку к Воронцову приткнулась старшина Веретеницына. Тихо сопела, надвинув на лоб шапку. Вроде бы спала. Из-под белого лохматого каракуля надвинутой на лоб шапки виднелся контур ее губ. Слава богу, уснула, подумал он.

Когда укладывались, пулеметчик Лучников весело подмигнул ей:

– Товарищ гвардии старшина, а я вам вот тут постелил. – И бережно, как по высоко взбитому матрасу, похлопал по свободному месту рядом с собой.

– Тебе, Лучников, по штату положено спать рядом со своим пулеметом, – быстро нашлась Веретеницына, при этом насмешливо поглядывая то на пулеметчика, то на ротного. – А я рядом с Воронцовым лягу. Он хоть приставать не будет.

Она уколола не только Лучникова, но и Воронцова.

– Ну да, – особо не желая схватываться с санинструктором, согласился второй номер, – это так, что кому по штату положено...

– Ты бы, по штату, лучше помалкивал. Членовредитель! – добила его Веретеницына.

И Лучников, уязвленный и обидным прозвищем, с некоторых пор прилипшим к нему, и снисходительным тоном Веретеницыной, буквально взвизгнул:

– Так ты ж сама мне этот самый член и повредила!

Бойцы засмеялись. Не до смеха им было здесь, заночевавшим непонятно где, то ли у немцев в тылу, то ли на нейтральной полосе. Но все же посмеялись, поговорили, улеглись, притихли.

Все в роте знали эту историю. С тех пор над Лучниковым

подтрунивали все кому не лень. Но с него как с гуся вода. И даже отговорку придумал. Правда, в нее никто не верил. Мол, приснилось ему, что лежит он в окопе, а мимо немецкая разведка крадется, и потянулся он за пулеметом...

Однажды на марше заночевали в полусожженной деревне. Третий взвод занял баню. А перед этим ее хорошенько вытопили и помыли всю роту. Натаскали вот так же соломы и улеглись в тепле. Старшина Веретеницына с двумя легкоранеными, которых утром надо было отправлять в тыл, расположилась со взводом. Место ей досталось рядом с пулеметным расчетом. Намаявшись за день, она быстро уснула. Но вскоре проснулась оттого, что под шубой у нее что-то шевельнулось и зашуршало. Вначале она подумала: мышь. И едва не вскрикнула. Но тут в темноте увидела горящие глаза второго номера пулеметного расчета. Тот давно увивался вокруг нее, норовил то ухватить, то погладить. Давай-давай, подумала она и тихонько потянула из ножен лежавшего с другой стороны бойца немецкий штык-нож. И когда «мышь» подобралась к ее коленке и потом поползла выше, она вскочила и с силой пригвоздила ее к деревянному полу. Клинок пробил ладонь, но, к счастью для обоих, не задел ни кости, ни важных сосудов. Перевязывать она его не стала, хоть он долго потом матерился. Сдуру ума, а скорее всего от обиды, он выпалил ей: «Кому-то можно! А кому-то нет?» – «Кому-то, может, и можно, – спокойно ответила Веретеницына. – А кому-то – нет». Темников, в тот момент находившийся рядом, поправил указательным пальцем свои пышные усы и назидательно сказал своему второму номеру: «Ты, Лучников, лучше поищи в бору другую сосенку. А эта тебе не по плечу. Иди-ка лови немецкую разведку в другом окопе». – И добродушно засмеялся, похлопывая бойца по плечу и одновременно подталкивая к выходу.

Когда о ночном ЧП доложили Воронцову, он сказал: «Уговаривай ее как хочешь, но чтобы рану она обработала как следует и дело не дошло до воспаления или заражения. Иначе оформлю как членовредителя. В штрафную пойдешь за милую душу». Вот с той поры и закрепилось за Лучниковым обидное прозвище – Членовредитель.

В соломе было тепло. Вверху, в ветвях деревьев, зашуршало. Дернул ветер. Похоже, начинался снегопад. Значит, мороз к утру отпустит. Хоть одна радость, вздохнул Воронцов. И тут услышал шорох и тихий, как дыхание, шепот Веретеницыной:

– Спиртику хочешь?

Он видел ее губы и даже глаза. Видимо, он все же задремал, что даже не заметил, когда она проснулась и подняла белый клапан шапки. Она

улыбалась. Дышала теплом прямо в его губы и улыбалась.

Воронцов снова устало закрыл глаза. И подумал: хоть бы немцы в атаку пошли.

Но их потревожили не немцы. Часовой вдруг остановился, скрип его шагов прекратился. Воронцов замер, прислушиваясь. Послышались голоса. Потом мерзлые валенки заскрипели совсем рядом.

– Товарищ старший лейтенант, – позвал часовой, – тут делегат из Седьмой роты. Говорит, что от старшего лейтенанта Нелюбина.

Воронцов вскочил на колени. Застегнул ремень. Проверил автомат. Вылезая из теплого своего лежбища, мельком взглянул на старшину медицинской службы. Веретеницына с ненавистью смотрела на часового.

Нелюбин стоял на границе леса и болота и хладнокровно наблюдал в бинокль, как его второй взвод загонял в дымящуюся незамерзшую полынью остатки немецкого дорожного заслона. Немцы поднимали руки и что-то кричали в сторону автоматчиков, которые перебежали от дерева к дереву и, ведя огонь короткими очередями, продолжали сжимать кольцо.

Младший лейтенант Гудилин, потерявший во время атаки на Дебрики часть своего взвода, теперь отводил душу. Надо было его остановить. Но и Нелюбину не хотелось брать пленных. Зачем они ему? Сейчас, когда непонятно, кто у кого в окружении и кто у кого в тылу, пленные – лишняя обуза. Брать, потом выставлять посты, мучить и без того измотанных людей, и в конце концов расстреливать этих пленных где-нибудь в овраге.

К вечеру воздух стал как будто мягче. Запорхал снег. Вначале Нелюбину казалось, что всему причина близость болота. В полночь северо-восточнее из правого крыла метрах в ста вспыхнул костер. Беспечность Воронцова его удивила. Он хотел было позвать Звягина, но вспомнил, что тот еще с вечера залег в одних из саней санроты. Теперь его вряд ли поднимешь, да и хватит с него на сегодня. Танк подбил. После боя надо будет писать представление к ордену.

– Чебак! Проснись, Чебак! – Нелюбин растолкал бойца, спавшего на корточках под сосной и велел ему разведать, кто зажег костер в лесу в ста метрах северо-восточнее их НП. – Там должна быть Восьмая рота. Разущи старшего лейтенанта Воронцова и дай ориентировку нашего НП.

– Что еще? – Чебака от усталости и недосыпания пошатывало.

– Больше ничего. В остальном он сам сориентируется.

Вскоре Чебак вернулся и доложил:

– Там немцы.

– Где немцы?

– Возле костра.



Нелюбин осмотрелся и почувствовал, как вспотела спина. Слева, метрах в пятидесяти, колыхались смутные тени и слышались голоса первого взвода. Лейтенант Мороз только что ушел проверять посты. Дальше начинались болота, и там вообще никого не должно было быть. Правее расположился младший лейтенант Гудилин с остатками своего взвода. Старшине Пересвятову он приказал отойти в тыл, чтобы во время ночевки рота могла прикрыться с востока. А теперь получается, что никакой локтевой связи у него с Восьмой нет. Что там, где он предполагал позиции левофлангового взвода роты Воронцова, немцы. Откуда они там появились? Гудилин прочесал участок леса возле болота. Там никого не оставалось.

– Ты толком говори, Чебак. Где немцы? Кто костер запалил?

– Я и говорю, немцы.

– А ну, ектыть, пойдем, вместе посмотрим.

– Нет, я больше туда не пойду, – вдруг заявил Чебак и отвернулся; он торопливо докуривал, тягая из рукава, словно вот-вот поступит команда строиться.

– Это ж почему?

– А потому, что они сказали больше не приходить.

– Кто?

– Кто... Я ж говорю, немцы.

И только тут Нелюбин понял, что несколько минут назад произошло в лесу северо-восточнее, где по-прежнему горел костер, и начал понимать, в какой переплет попали и его Седьмая, и соседняя Восьмая роты, а возможно, и весь батальон.

Блокирующий огонь немецких танков остановил не только атаку Второго и Третьего батальонов, но, как по команде, прекратили выход группы немцев, оставшихся во время стремительного продвижения полка вперед в их тылы. Связисты и разведчики докладывали, что в лесу позади них рыскают небольшие группы немцев, вооружены легким стрелковым оружием. Нелюбин по себе знал, что такое оказаться в окружении. Тут надо поскорее собирать остатки сил и пробиваться. И он ждал, что ночью немцы, объединившись в более многочисленные группы, попытаются выйти к своим. Предупредил взводных, чтобы держали под рукой дежурных пулеметчиков.

И вот окруженные не только не предпринимают никаких действий к выходу, но они еще и разожгли костры.

Костер теперь горел и левее, позади взвода лейтенанта Мороза, и в полосе обороны Восьмой роты. Чебак рассказал, что, когда он спросонья

вышел к костру, оттуда его окликнули по-русски, но с акцентом. Он не придал значения, так как с акцентом в батальоне говорят многие. И действительно, в ротах были и узбеки, и латыши, и молдаване. Когда Чебак подошел к костру, то вдруг увидел, что возле него стояли немцы. Вначале он подумал, что – пленные. Потом увидел, что все они вооружены. Испугался. Но виду не подал. Тот, кто позвал его, стоял и улыбался. И тогда Чебак двумя пальцами похлопал по губам. И немец понял его жест и вытащил из кармана пачку сигарет. Чебак закурил от зажигалки, повернулся и пошел по своему следу назад. Никто его не окликнул, никто не выстерлил.

Переполох начался и во взводах. Гудилин и Пересвятов прислали связных, а лейтенант Мороз прибыл сам.

– Вот что, ребята, – сказал Нелюбин, – запаливайте и вы костры. Будем и мы греться.

В полосе Восьмой роты стояла темень. Нелюбин позвал первого попавшегося на глаза связиста и приказал бегом бежать в Восьмую, к Воронцову.

Снег валил и валил, залепляя глаза и уши. Со стороны болота тянуло настылой сыростью. Чуть погодя оттуда поволокло туман. И костры в этой вязкой пелене тумана и усиливающегося снегопада вначале окутались, как в армейские шубы, в лохматые нимбы, а потом и вовсе стали угасать. Туман и снегопад отъединяли костры и людей, сгрудившихся вокруг них, от остального мира, от войны, от противника и соседей. В какой-то момент люди перестали ощущать время и реальность. Предоставленные сами себе, они думали свои думы, разговаривали тихо, стараясь при этом не греметь оружием, словно боясь разрушить то, что подарила им эта ночь и этот час. Они даже не оглядывались на соседние костры, откуда доносилась чужая речь, потому что и там на время позабыли о войне.

Капитан Солодовников наконец-то разыскал заплутавший обоз санитарной роты и старшего лейтенанта медицинской службы Игнатьеву. Он распорядился очистить лесную сторожку, натопить печь и разместить здесь часть санитаров. Но спустя некоторое время, когда он решил поинтересоваться, как те устроились и нуждается ли в чем передвижной пункт первой медицинской помощи, к разочарованию своему узнал, что старший лейтенант Игнатьева с тремя подводами уехала куда-то вперед, в сторону дороги, где днем шел бой и где, возможно, остались раненые.

Вот тебе и генеральская «наездница», подумал он об Игнатьевой. День и ночь летает по передовой, ничего не боится, ничего не требует. А ты, Дмитрий Вадимович, товарищ майор, из своей тыловой землянки о ней

беспокоишься...

Он вышел из сторожки. Закурил с часовым. В стороне дороги было тихо.

– Старший лейтенант Игнатьева когда уехала? – спросил он часового.

– А как раз я заступал после Сверчкова. Полтора часа тому будет. Ну да, через полчаса мне сменяться.

– Не сказала, когда вернется?

– Начальство. Оно нам не докладывает, куда поехало, когда вернется. – Часовой обрадовался папиросе, которой его угостил комбат-3, затягивался глубоко, с наслаждением, пряча огонек в рукаве. – Что-то затихло на дороге. Неужто наши прорвались?

– Стоят перед Яровщиной, – сказал Солодовников.

– Стало быть, опять там остановили. Там у них, товарищ капитан, крепкая оборона. Окопы в полный профиль.

Полк уже не первый раз атаковал в этом направлении. И этот боец из санитарной роты, должно быть, уже бывал здесь, подумал Солодовников, торопливо докуривая свою папиросу и поглядывая на коня, которого держал в поводу адъютант.

Через минуту они уже скакали по хорошо утоптанному проселку в сторону большака.

Последние донесения из рот не обнадеживали: остановлены сильным пулеметным и минометным огнем; впереди противник имеет сплошную линию обороны в виде разветвленной траншеи в полный профиль; в стороне Яровщины слышен гул танковых моторов. Капитан Солодовников знал, что это такое. Утром начнется контратака. И его роты, оказавшиеся справа и слева от большака, будут сметены и раздавлены в первую очередь. Неужели в штабе полка не понимают, что наша атака уже провалилась, что перспектив развития ее в глубину нет. Что пауза, допущенная по причине того, что замешкалось усиление, на руку только противнику. Что первоначальная артподготовка совершенно не нарушила оборону противника в горловине между болотами, а именно эта линия, судя по всему, и является основной. Что было бы благоразумным отойти километра на полтора и окопаться фронтом на запад и на юго-запад, перехватив большак и удерживая его до подхода свежих сил.

Комбат заскочил на минуту в штаб батальона, разместившийся в одной из уцелевших хат на краю Дебриков. Начштаба не спал. Встал из-за стола, на котором была разложена карта, придавленная керосиновой лампой, и спросил:

– Ну что там, Андрей Ильич, в ротах?

– А что. Дело хуже некуда. Утром они, судя по всему, начнут контратаку. С танками. Как в прошлый раз. Если батальон до утра не отвести, Седьмая и Восьмая останутся возле дороги. Мы сможем отвести только Девятую. И то, если успеем и если на то будет разрешение. Ты сегодня не спи. А я поеду к Воронцову и Нелюбину. Какие новости оттуда?

– Немцы костры жгут.

– Какие костры?

– Те, которые не вышли, сгруппировались в тылу и жгут костры. Либо немцы их не выпускают, боясь, нашей инфильтрации. Либо что-то задумали. Скорее всего, все же первое. Вот они и палят костры. А Нелюбин с Воронцовым тоже костры запалили.

– Связь со штабом полка есть?

– Есть. И со штабом полка, и с батальонами.

– Это хорошо.

Солодовников налил полкружки водки и выпил. Крякнул, закусил тушенкой прямо из банки и сказал:

– Говорят, немцы какие-то таблетки жрут, чтобы не спать. Не слыхал?

– Есть у них такой препарат в виде таблеток, первитин называется. Что-то вроде наркотика. Человек ощущает прилив сил и энергии, может до трех суток выдерживать без сна.

– До трех суток? Хорошие таблетки. А на меня в этом смысле положительным образом, так сказать, действует вот это дело. – И капитан Солодовников щелкнул ногтем по бутылке.

Спустя некоторое время он скакал по лесному проселку на запад.

Когда Воронцов увидел капитана Солодовникова, в его короткополой телогрейке с автоматом за спиной, сразу понял, что и комбат прибыл к ним не с доброй вестью.

– Жгут? Греются? – спросил комбат, спрыгнув с седла в снег.

– Как видите, Андрей Ильич. Не прячутся. Как на показ.

– Срочно пошли за Нелюбиным. И срочно доставить сюда солдата, который к ним ходил. И пусть он его предупредит, чтобы не боялся. Ничего ему не будет. Мне правда нужна. А не объяснения, как такое могло случиться.

Нелюбин с Чебаком и связными вскоре прибыли в расположение Восьмой роты.

Капитан Солодовников выслушал Чебака, отпустил его и сказал:

– У нас в батальоне если какой курьез случается, то непременно в Седьмой роте.

Нелюбин даже ухом не повел.

– Ну что, окопники мои? Чужие сигареты быстро кончаются. Что думаете? Давайте, выкладывайте.

Воронцов с Нелюбиным переглянулись.

– А вот то и думаем, Андрей Ильич, что в дождь сено не сушат. Мы с вами давно в одних окопах. Нам друг от друга вилять незачем. Выбираться нам надобно отсюда, пока они там чухаются. По своим они лупить не будут. Так что сняться можно тихо и без потерь отойти к сторожке. А там как прикажете. Там можно и окопаться. В лесу танки полезут по дороге. Вот наши ПТО там их и встретят. В узком месте. А тут что? Тут они нас обойдут и будут потом по лесу да болоту гонять, как гончие зайцев.

Капитан Солодовников выслушал Нелюбина, посмотрел на Воронцова:

– А ты, Сашка, что скажешь?

– Кондратий Герасимович все сказал. Единственное, что хотел бы добавить – немедленно вывести в тыл санитарный обоз.

Воронцов чувствовал, как от капитана Солодовникова густо пахнет сивушным духом. И он подумал, что несколько хороших глотков водки или разведенного спирта сейчас бы не помешали и ему. Когда они отошли от костра, промозглая стынь охватила промокшие ноги и начала пробираться под шинель. Кондратия Герасимовича тоже трясло. Но не будешь же отвинчивать фляжку при комбате.

– Приготовьтесь к отходу. От каждого взвода – троих человек, с пулеметом, в заслон. Отберите людей понадежней. Поеду договариваться с героем Днепра.

Когда всадники исчезли в лесу, Нелюбин кивнул на фляжку, висевшую на ремне Воронцова, и сказал:

– Давай, Сашка, твоего, неразведенного. А то что-то суставы выворачивает.

– Это к непогоде, Кондратий Герасимович, – усмехнулся Воронцов и отстегнул фляжку.

Бальк тащил свое усталое тело через кустарник и валежины. Иногда присаживался под деревом, чтобы отдышаться. Но вскоре с ужасом чувствовал, как холод охватывает его немощное тело, и, боясь, что он замерзнет здесь, в лесу, под деревом, последним усилием воли заставлял себя подняться на ноги и идти дальше. Ориентиром ему служила канонада, которая гремела в нескольких километрах западнее. Русские прорвались к Яровщине, возможно, перехватили большак. Вот почему их взводу приказали срочно покинуть Дебрики.

Он хотел было взять с собой винтовку. Но у той, которую он нашел в

сарая возле окна, был в щепки разбит приклад и вывернута прицельная планка. И он бросил ее. Только в лесу он вдруг обнаружил, что за ремнем у него торчит граната. Он вытащил ее, осмотрел, нет ли где повреждений. Граната оказалась целой. Он сунул ее за ремень и передвинул поближе, где всегда висел «парабеллум», а теперь хлопала не застегнутым клапаном пустая кобура. Пистолет ему выдали уже здесь, в Дебриках, когда назначили первым номером расчета Schrandeu. «Парабеллум» у него вытащили иваны, которые первыми вскочили в сарай. Возможно, тот самый лейтенант, который не дал солдату заколоть его штыком. Конечно, после того, что они, нация господ, здесь, в России, натворили... Никто их теперь не убережет от мести. Никто. Даже фюрер. Фюрер...

Бальк остановился, подумав вдруг о Гитлере. Здесь, раненому и контуженому, мысль о том, кто послал его сюда, в Россию, защищать интересы рейха, показалась Бальку настолько абсурдной и нелепой, что он замер посреди своего пути и некоторое время отупело смотрел по сторонам. И все это нужно Германии?! Перед глазами Балька мгновенно, как в кино, промелькнула череда лиц людей, убитых сегодня во время атаки русских. Солдат из недавнего пополнения, пробитый противотанковой болванкой в доте. Двое в кровавых и уже бесполезных бинтах, которых они оставили в доме. Его второй номер Арнольд Штриппель с подведенными к животу босыми ногами. Солдат, фамилию которого он так и не узнал и который, изрубленный осколками, как исколотый штыками манекен на плацу, лежал на каменном полу сарая. Подбородок Пауля Брокельта. Разве Германии нужны их жизни? Ради чего они погибли? И вдруг он все понял. Его товарищи погибли ради того, чтобы кто-то из уцелевших мог уйти к своим и рассказать, как они умерли. Других объяснений того, как храбро они сражались, не существовало. Бессмысленно погибнуть они не могли. Ведь тот, кто в Берлине отдавал приказы и перед кем вытягивались генералы и фельдмаршалы, но кому уже не верили старые солдаты, не стоил того, чтобы за него умирали такие люди, как Пауль или Арнольд.

Бальк с трудом нагнулся, чтобы зачерпнуть горсть чистого снега. Левая рука тоже упала вниз, и его опять пронзило болью. Снег освежал и давал силы и надежды. Он осторожно поднял левую руку, свисавшую вниз плетью, и пошел дальше.

Как хорошо, что пошел снег, думал он. При таком снеге и тумане у него появляется больше шансов пройти незаметным мимо русских патрулей. На дорогу он не выходил. По всем дорогам сейчас сновали тыловые службы и связисты русских. Только попробуй выйти, и они тут же заметят одиноко бредущего немца и подстрелят. Или передадут в руки

своим комиссарам. А уж те позаботятся, чтобы ты проклял, что ты немец.

Вилли Буллерт рассказывал, как он однажды во время контратаки запрыгнул в окоп к русским. Начался минометный обстрел. Иваны прихватили атакующих прямо перед своими окопами. Похоже, что их офицеры вызвали огонь минометной батареи на себя. И Буллерту ничего другого не оставалось, как прыгнуть в первое попавшееся укрытие. Им оказался пулеметный окоп. В окопе, прижавшись к стенкам, лежали, скорчившись, трое русских. Среди них был офицер. Он увидел Буллерта и толкнул его в ногу, давая, видимо, понять, чтобы он уходил отсюда. Буллерт пришел в себя и ударил штыком одного из иванов. Но тот выбросил вперед руку и штык проткнул руку, не достал до корпуса. И тогда Буллерт метнулся от окопа в сторону, потому что офицер, злобно крича, начал стрелять в него из пистолета. Он так и носил пробитую пулями шинель. В ней было три пробоины. К счастью, ни одна из пуль русского офицера не задела его.

Где теперь помощник адвоката? С кем он теперь будет ругать фюрера и его «золотых фазанов»? Буллерт успел окончить юридический факультет и поработать в адвокатской конторе. А Бальк ушел на фронт студентом. Буллерт, если не врет, был дважды женат и имел много подружек. А у Балька в жизни была всего одна женщина, и то русская.

Боль стягивала все его тело. Она затрудняла движения. Вслед за болью тело охватывал холод. Одна надежда была на то, что уже не морозило так сильно, как днем, и шел снег, от которого, казалось, исходит тепло.

Когда в очередной раз Бальк опустился под деревом, чтобы отдохнуть и отдышаться, ему показалось, что впереди горят костры. Их было несколько. Два или три. Кажется, все же три. А может, два. Просто в левом глазу двоилось. Пятна костров расплывались, как акварельные краски на мокром картоне. Однажды на первом курсе он решил брать уроки живописи. Ничего у него не вышло. Краски не расцветали на его холстах, не собирались в композицию, они будто умирали, словно напрасно сорванные и брошенные на асфальт цветы. И тогда художник, который давал ему уроки, предложил ему попробовать себя в акварели. И у Балька получилось! В своей комнате в Баденвейлере он хранил папку с акварельными листами. Там был один, самый удачный. Во всяком случае, художник отметил его. А Бальку он и вовсе казался шедевром. Цветок клевера. Он его так и назвал: «Цветок клевера». Когда прошлым летом он попал под налет «тандерболдов» и, прячась от бомб, встретил в овраге у ручья русскую, он посмотрел ей в глаза и подумал: цветок клевера. Почему он ей не сказал тогда, что она похожа на цветок клевера? Возможно, никто

теперь ей так и не скажет, что она – цветок клевера. И она так и состарится и умрет, так и не узнав о том, что тот, кто ее любил, дал ей имя – Цветок клевера.

Солдат на войне не должен жалеть себя и давать волю слабости своего сердца. Но в эти мгновения Бальк почувствовал себя человеком. И ему стало жаль и себя, и русскую, и маму.

Он собрал силы, встал и зашагал сквозь заросли кустарника. Там, впереди, на большой поляне под огромной елью действительно горел костер. Вокруг костра ходили люди. Бальк прислушался и услышал русскую речь. И в тот момент, когда он повернул назад, кто-то окликнул его:

– Эй, фриц!

Бальк оглянулся на голос и в разводах струящегося снега увидел две фигуры, стоящие на краю поляны. Он безошибочно определил на одном из них русскую офицерскую шинель, перетянутую ремнями, а на другом белый полушубок. Ну вот и конец, подумал он уже без всякой боли, и, чувствуя, что силы покидают его, повалился в снег. Ему казалось, что он летит в преисподнюю, что полету нет конца, так глубока оказалась та пропасть, которая разверзлась вдруг под его ногами. Он летел и хватался за гранату, так и не решив, что с нею делать. Но руки не слушались его, и длинную рукоятку гранаты он смог вытащить только наполовину.



## Глава двадцатая

Когда Шура слышала шепот Ивана, она сразу вспомнила, где видела это лицо и эти глаза. Курсант! Тот самый Курсант, который пришел в их деревню в октябре сорок первого и который потом уводил их в Красный лес, а потом на хутор Сидоряты к озеру Бездонь, спасая от казаков атамана Щербакова. Но тот был выше ростом. Она хорошо запомнила его. Потому что в деревне все о нем только и говорили. О нем и о Пелагее Бороницыной. А Иванок готов был выполнить любое его поручение, только чтобы тот взял его с собой в отряд. Курсанта звали так же, как и ее, Александром. Этот назвался Иваном.

Как его спасти? Если он сможет уйти в горы, к партизанам... Тогда надо немедленно уходить. Скоро немцы опомнятся, начнут искать беглых. Однажды она видела, как вели сбежавших из каменоломни военнопленных. Среди них были в основном русские, один поляк, бельгиец и француз. Их всех расстреляли возле колючей проволоки. На тела положили доску, на которой было написано по-русски и по-французски: «Они хотели стать партизанами». И провели мимо расстрелянных всех обитателей барака.

– Оставаться здесь опасно и для меня, и для Шуры. Мне нужно встретиться с Арманом. Француз-парикмахер. Он носит черный берет наизнанку.

Сергея кивнул, давая понять, что он знает французского Армана.

– Сегодня нам запретили ходить по городу. Только сюда и обратно, в барак. Арман вряд ли будет сегодня в парикмахерской. Если даже она не пострадала.

– Всех погнали на разборку завалов, – сказал Коля. – Здесь мы тоже по приказу начальника лагеря. Приказано убрать рухнувшее дерево. После обеда погонят щебень на машины грузить. Или кирпичи складывать.

Иван понял, что ребята боятся.

Фрау Бальк приехала, когда дерево уже было распилено, дрова поколоты и сложены под навесом возле сарая. Она оставила у калитки свой велосипед. Быстро переоделась и приказала Шуре следовать за ней.

До наступления темноты они работали на разборке рухнувшего от прямого попадания бомбы трехэтажного дома в центре города. Солдаты вытащили из-под обломков тела старика и старухи. Их тут же опознали. Пожилая чета во время авианалетов никогда не спускалась в бомбоубежище. Когда они возвращались домой, фрау Бальк сказала:

– Бедные Леманны. У них было два сына. Оба офицеры. Они погибли в России. А теперь и старики...

– Война – это несчастье для всех, фрау Бальк, – ответила Шура.

Фрау Бальк посмотрела на Шуру и кивнула:

– Да, девочка. И ты, и я слишком хорошо об этом знаем. Но совсем недавно почти никто из нас, немцев, так не думал. – И она приложила к губам палец. Палец фрау Бальк дрожал. То ли от усталости, то ли от того, что она только что произнесла.

Шура иногда, входя в гостиную с подносом, слышала, о чем разговаривала хозяйка со своим сыном. Фрау Бальк была немкой, такой же, как большинство немков. Но женское, материнское в ней было все же сильнее. Оно лежало в глубине и прорывалось наружу не всегда. Шура знала, что фрау Бальк уже не верит газетам, которым должна была верить. Что уже не так твердо верит в победу Германии. Иногда она выключала радиоприемник в тот момент, когда из него лился поток слов того, чьи портреты висели везде, в том числе и в гостиной фрау Бальк. Но однажды портрет исчез. Шура нашла его в прихожей. Так он теперь и стоял там, обернутый в старые газеты, за шкафом. А в гостиной появилась увеличенная копия фотографии мужа фрау Бальк, погибшего прошлой зимой под Сталинградом. Однажды Шура принесла чай. Фрау Бальк поблагодарила ее и предложила сесть с ними. Шура для вежливости отказалась и, когда хозяйка повторила, а Арним посмотрел на нее и кивнул, тоже приглашая ее к столу, она села и замерла с кружкой в руке. Шура отпивала по глоточку, стараясь не издавать ни звука, ни шороха. Немного погодя мать и сын продолжили прерванный разговор.

– Но фюрер обещал вам дать новое оружие, которое сокрушит большевиков, – сказала она.

– Чудо-оружие... Мама, все это блеф Министерства пропаганды. Неужели ты еще не понимаешь?

– Говорят, где-то в горах в Южной Баварии работают заводы, где лучшие ученые...

– Мама, перестань. Эти слухи распространяются из тех же партийных кабинетов.

– Но за что вы тогда воюете на фронте?! – вдруг воскликнула фрау Бальк, уронив чайную ложку.

Шура вздрогнула, замерла.

– Мы воюем за то, чтобы выжить. И чтобы сюда не пришли ни французы, ни англичане, ни американцы, ни, тем более, русские. И там, под Смоленском, мы давно поняли, что наше солдатское товарищество – самое

лучшее и надежное оружие для достижения этой победы.

– Но мы все-таки победим, Арним?

Сын посмотрел на мать, потом на портрет отца, и ничего не ответил.

– Сынок, Арним, раньше, провожая на фронт, я желала тебе победы. Что тебе пожелать теперь? Чтобы ты снова вернулся живым.

– Пожелай мне и моим товарищам выжить. Поверь, мама, это для нас самое главное. После сдачи Орла и Белгорода мы уже не можем наступать. У нас нет ни достаточного количества танков, ни самолетов, ни солдат. Если союзники высадятся в Северной Франции, то в России мы не удержимся.

Они молча допили чай. Фрау Бальк сказала:

– Арним, постарайся об этом больше не говорить нигде.

– Хорошо, мама. Я все понимаю.

После вечернего чая с бутербродами фрау Бальк вдруг спохватилась:

– Шура, я забыла убрать свой велосипед! Надеюсь, он цел.

– Да, фрау Бальк, когда мы вернулись, он стоял там же, где вы его оставили.

– Хорошо. Поставь его в сарай.

– Слушаюсь, фрау Бальк. – И Шура сделала легкий полупоклон, как привыкла это делать всегда, когда хозяйка отдавала ей какое-либо распоряжение.

– Шура, как ты думаешь, – вдруг спросила фрау Бальк, – они сегодня прилетят снова?

– Возможно, нет. Сегодня плохая погода.

– Гальс сказал, что для тяжелых бомбардировщиков это не помеха. Теперь они бомбят по ночам. Ты видела ту неразорвавшуюся бомбу, которую увезли солдаты? В ней не меньше пятисот килограммов. Ее сбросили с тяжелого бомбардировщика. – Фрау Бальк напряженно смотрела на фотографию мужа. – Нас не может защитить даже Арним со своими товарищами. Шура, ложись сегодня здесь, в гостиной, на диване. И не раздевайся. Они могут прилететь в любую минуту.

– Хорошо, фрау Бальк. Может, они сегодня и не прилетят.

– Я видела, как ты убрала наш участок. Ты молодец.

– Герр полицейский, который иногда бывает здесь, прислал двоих рабочих. Основную работу выполнили они. Одна я не справилась бы с этим деревом.

– Да, получилось очень много дров. – И вдруг вздохнула и снова посмотрела на портрет мужа: – Бомба угодила прямо в убежище. Погибли почти все, кто там был. Семья доктора Шумахера, Эрлеры вместе с детьми

и стариками, Фриц Кастнер. Он был прекрасный пианист, работал в театре. Баденвейлер больше не услышит его игры.

– Фрау Бальк, а что в деревне? – наконец осмелилась Шура. Она волновалась за Ганьку и девушек.

– Там не упало ни одной бомбы.

Шура с облегчением вздохнула.

– Там все живы и здоровы, – повторила фрау Бальк и неожиданно спросила: – Шура, а у вас, то есть я хотела сказать у Красной Армии, тоже есть такие самолеты, которые могут бросать пятисоткилограммовые бомбы?

Шура кивнула.

– Это ужасно. Значит, это правда, что Пруссию и города по Одере они уже бомбят.

Сердце у Шуры забилося: значит, наши уже совсем близко!

Уже стемнело, когда она вышла во дворик, отыскала возле калитки велосипед фрау Бальк и повела его к сараю. Никелированный руль велосипеда и узкое кожаное сиденье покрывала холодная роса. Шура сняла тяжелую накладку с пробоя. Она тоже была мокрой и холодной. Когда она поставила велосипед к опорной стойке, прислушалась и сказала тихо:

– Это я, Шура.

В дальнем углу послышался шорох, а потом голос Ивана:

– Хозяйка приехала?

– Да. Мы до вечера работали на разборке завалов. Рабочие, в том числе и французы, тоже все были там. Они восстанавливают те мастерские и цеха, которые не пострадали так сильно.

– Значит, на ребят надежды мало?

– Я постараюсь разыскать Армана сама.

– Он не поверит тебе. Что ты ему скажешь?

– Не знаю. Ты должен знать, что ему сказать, чтобы он поверил.

Иван молча стоял в темноте. Она слышала его дыхание. Теперь, когда она не видела его, в том числе и того, что ростом он ниже Курсанта, ей казалось, что с нею разговаривает именно он.

– Он совсем не разговаривает по-русски, – вздохнул Иван.

– А как же вы понимали друг друга?

– Иногда нам переводили его друзья. С ним работает бельгиец или поляк. А когда не было никого, он говорил по-немецки. Немецкий я немного знаю.

– Я тоже.

– Скажи ему: «Сражающаяся Франция» и укажи пальцем на его берет.

Он его носит наизнанку. А потом назовешь мое имя и расскажешь, где я нахожусь. Решение примет он сам.

– А если он не поверит?

– Значит, не придет. Тогда придется идти в горы одному, без проводника. Но для этого нужно выбраться из города.

– Ты сказал, что я должна указать на его берет и что он носит его наизнанку. Почему?

– Берет – часть формы батальона, к которому он принадлежал до того, как попал в плен. А наизнанку он его носит потому, что на лицевой стороне – нашивка, лотарингский крест. Это что-то вроде нашей звезды.

Утром фрау Бальк, просматривая газеты, нашла листовку.

– Шура, – сказала она, – ты это читала?

– Да, – призналась Шура.

– Это было в почтовом ящике?

– Да.

– Как ты думаешь, каким образом это попало в наш почтовый ящик?

– Не знаю, фрау Бальк. Этот листок лежал внизу, под газетой, когда я забирала почту.

– Когда сюда приходил герр Шлейхер, он не видел этого листка?

– Нет, фрау Бальк, герр полицейский не просматривал вашу почту. Листок лежал между газет. Его никто не трогал.

На какое-то мгновение лицо хозяйки приняло то выражение надменности и высокомерия, какое она увидела в тот день, когда впервые увидела ее.

– Что ты думаешь по поводу прочитанного?

Шура молчала.

– Ты ведь сказала, что прочитала то, что здесь написано?

– Да, прочитала.

– И поняла смысл прочитанного. Так ведь?

– Да, фрау Бальк, поняла.

– И что ты думаешь по этому поводу?

Шура молчала, опустив голову.

– Да, девочка, да... Трудно быть искренним, когда ты в неволе. Но ведь и мы, немцы, сейчас в неволе. Мой сын – там, на самом трудном фронте. И я не знаю, что с ним в эти минуты? Здоров ли он? Не угрожает ли ему опасность? Мы все похожи на заложников. В том числе, как это ни странно, и фюрер.

Шура думала о другом. Как помочь Ивану?

Армана она отыскала на следующий день в парикмахерской. Француз

улыбнулся ей, как будто сразу понял, зачем она пришла. Но, когда выслушал ее, побледнел, оглянулся и приложил палец к ее губам. По-немецки он говорил хорошо.

– Если я не приду сегодня или завтра, то искать меня не надо, – сказал Арман. – Распорядок дня сейчас ужесточился. По городу уже так просто не походишь. Твоя хозяйка когда уезжает в деревню?

– Она боится налетов и поэтому долго здесь не пробудет. Сегодня или завтра она уедет.

И вдруг Шура испугалась, что фрау Бальк, не дождавшись ее возвращения, сама пойдет в сарай за велосипедом.

Ночью, когда над городом опустилась непроницаемая мгла светомаскировки, Шура вывела Ивана из сарая и впустила в дом. То, что хозяйка уехала, он знал: после полудня Шура пришла за велосипедом и тихо сказала в сумерки сарая:

– Фрау Бальк уезжает в деревню. Армана я оповестила. Ночью я переведу тебя в дом.

И Иван, и Шура знали, что, если их схватят, то они через месяц умрут в городской тюрьме, в бетонном бараке среди нечистот и стонов больных и обреченных.

Шура включила воду, пустила ее в ванну. Потом нагрела кастрюлю и вылила туда же. Вода стала теплой.

– Ты должен помыться. От тебя пахнет бараком. – И протянула ему горящую свечу.

– Спасибо тебе. Ты очень смелая. Я сегодня же уйду. Придет Арман, и уведет меня в горы.

– Вот белье.

– Где ты его взяла?

– В шкафу хозяйки. Это принадлежало ее покойному мужу. Он погиб под Сталинградом.

– А она не хватится?

– Думаю, что нет. Там этого белья целые стопы. Одну смену возьмешь с собой.

Когда он вышел из ванной комнаты, одетый в белоснежное белье, она уже затолкала в печь его истлевшую гимнастерку и остальные лохмотья. А из кладовки она принесла альпийские ботинки на толстой подошве, охотничьи брюки, поношенную, изрядно потертую, но еще крепкую кожаную куртку на цигейковой подстежке и толстый свитер. Иван быстро переоделся.

– Сегодня спать можешь внизу, в подвале. Там тепло и сухо. А я

подожду Армана, – сказала она. – Сумку твою я принесу попозже. Все переложешь в рюкзак. С рюкзаком тебе будет удобнее.

Они спустились в подвал.

– Ты можешь спать на моем матрасе. Здесь я сплю во время налетов, когда вверху страшно.

– А как же ты?

– Сегодня же нет налета. Я буду там, вверху. Посижу у окна. – Она поднесла свою свечу к его лицу и спросила: – Сколько тебе лет, Иван?

– Двадцать пять. Что, старовато выгляжу?

– У тебя есть брат?

– Да, есть. Санькой зовут. Младший.

– Я его знаю, – сказала она.

– Как? Он здесь?

– Нет. В октябре сорок первого он пришел в нашу деревню и зимовал у нас в Прудках. Все его звали Курсантом. Вы с ним очень похожи. Даже голоса. Но он выше тебя ростом.

– Точно, выше. Братень у меня гвардейского роста – метр восемьдесят два!

– Вначале он жил у нас в Прудках, у одной женщины. В примаках, как и все окруженцы. Потом ушел в лес, стал командиром партизанского отряда.

– Прудки? Что-то знакомое. Это где?

– На Варшавском шоссе между Юхновом и Малоярославцем.

– А мы с Санькой из Подлесного! Это же совсем недалеко! Расскажи, как он там, братень мой?

– Он с отрядом ушел. Мы зимовали на одном лесном хуторе. А он увел отряд к Вязьме. С ним уходил мой брат, Иванок. Потом вернулся. Их отряд почти весь погиб во время окружения.

– А Санька? Санька жив?

– Иванок о нем ничего не говорил. Значит, живой. Брат вспоминал только погибших.

– Санька учился в Подольске, в пехотно-пулеметном училище. Он был лейтенантом? Какие у него были петлицы?

– Нет, он был в курсантской одежде. И петлицы на нем были курсантские. И звали его, я ж говорю, Курсантом. В него Пелагея Бороницына влюбилась. У нее трое детей, муж на фронте, а она в вашего младшего брата влюбилась.

– Откуда ты знаешь?

– Вся деревня об этом знала.

– Расскажи, Шура, расскажи о нем еще что-нибудь. – Иван схватил девушку за плечи и начал тормошить.

– Иванок говорил, что Курсант очень хороший командир, что его все слушались. Они казаков в поле перебили. Вначале в поле, потом в деревне.

– Казаков?

– Да, полицейские у нас были казаки. Форму казачью носили. И гуторили с южным и украинским акцентом. Правда, не все. Вот с ними у нашего отряда была война. Казаки, когда захватили нашу деревню, требовали, чтобы им девушек отдали и молодых женщин. А наши не согласились. Ночью казаки перепились и уснули. Наши вошли в деревню... Никого не оставили. А потом нашу деревню сожгли. Иванок говорил, что Курсант очень метко стрелял из винтовки и убил многих немцев и казаков.

Шура задула его свечу и ушла. А он лег на матрац, набитый то ли соломой, то ли половой, и никак не мог уснуть. Перед глазами вставал то Санька, то отец, то будто он стреляет из своего пулемета по мотоциклистам и у него кончаются патроны в тот самый момент, когда мотоциклисты приблизились на расстояние верного выстрела...

Иван проснулся оттого, что услышал сверху голоса. Говорили по-немецки. Мужчина и женщина. Женский голос принадлежал Шуре. Сверху по ступенькам, ведущим вверх, лился свет наступившего дня. Сколько же он спал, что проспал утро? Иван замер, прислушался. Нет, мужской голос не был похож на голос Армана. Неужели Арман прислал кого-то другого? Иван держал связь только с ним. И Арман знал только Ивана. Француз сам выстраивал структуру подполья, объясняя это тем, что, если в одну из групп проникнет человек, завербованный гестапо или лагерной полицией, погибнет только эта группа. Он общался только с командирами групп. И командиры групп знали только его. Иван даже не знал, сколько групп, готовых уйти в горы, томится в бараках и заводских цехах.

В какое-то мгновение голоса сверху стали громче, и Иван понял, что открылась дверь. На ступенях колыхнулись тени. Мужчина что-то спросил. Он вдруг узнал этот голос, который ненавидел, как ненавидел все, что было связано с промозглым лагерным бараком на окраине Баденвейлера в продуваемой всеми ветрами пойме реки.

– Где он? – спросил немец. Но в голосе его не было той раздраженной надменности, с которой он обычно покрикивал на военнопленных.

Иван вскочил с лежанки. Перед ним стоял его лагерный вахман Керн.



## Глава двадцать первая

Воронцов разбудил Веретеницыну и приказал осмотреть раненого.

– Откуда у нас раненый?

– В лесу нашли. Поторопись.

Они положили Балька возле костра на плащ-палатку. Веретеницына расстегнула его камуфляжную куртку, ощупала его и сказала:

– Он не ранен. У него вывих лопатки. И это – немец. Немцу вправляйте кости сами. Тут – ничего сложного.

– Веретеницына, ты лучше меня не зли. Делай свое дело.

– Ухаживать за немцем не входит в круг моих обязанностей.

Воронцов молчал. Нелюбин, видя такое дело, отошел в сторону: набрали баб на ответственные должности, вот и терпи ее капризы.

Веретеницына взглянула на Воронцова, поджала губы. Сказала:

– Мне нужны двое здоровых мужиков. Вроде вас, товарищ старший лейтенант.

Нелюбин шепнул Воронцову:

– Строгий у тебя хвершал, Воронцов. Одним глазом глянула, а сразу забраковала. – А про себя подумал: баба-то – яд. Таковую рядом держать опасно. Как он с нею справляется?

Подошел Екименков. Вдвоем они принялись вправлять немцу лопатку на место. Тот вскрикнул и пришел в себя. Пот выступил на его лице. Вскоре он встал на ноги и посмотрел по сторонам. Увидев русских солдат, успокоился. Видать, все понял, куда попал.

– У вас был вывих плеча. Она доктор и вправила вам лопатку на место. Теперь вы здоровы. Обморожений и ранений, кроме небольших царапин и ушибов, у вас нет. Доктор обработала все ваши царапины. – Воронцов говорил медленно, стараясь правильно произносить слова. Сказав о докторе, кивнул на Веретеницыну.

Немец внимательно посмотрел на нее и в изумлении произнес какую-то фразу.

– Что он бормочет? – спросила Веретеницына.

– Он сказал: «оленуха».

– Это что такое?

– Самка оленя.

– Корова, что ли? Да пошел он!..

Немец снова заговорил.

– Он говорит, что наблюдал за тобой. Из каменного сарая в деревне. Ты вытаскивала раненых. В соснах. Раненых было двое. Ты тащила их по очереди. Он и его товарищи любовались тобой. Они решили не стрелять. Один из его товарищей, которого уже нет в живых, назвал тебя оленухой. Ты заботилась о раненых, как оленуха заботится о своих оленятах. Вот в чем суть.

– Надо же, – не поднимая головы, усмехнулась Веретеницына, застегивая санитарную сумку и вдруг посмотрела на Воронцова, как утром в траншее: – А не сочиняешь?

– Не вижу смысла.

– Ну да, конечно. Немец и тот больше разглядел. Издали. Чем ты вблизи.

– Все, Веретеницына, спасибо, можете быть свободной.

– Да я уж поняла.

Нелюбин проводил взглядом старшину медицинской службы и сказал:

– Что, Сашка, подсуропил тебе комбат бодливое веретено?

– Вот выберемся отсюда и сразу же подам рапорт о переводе ее куда угодно, только подальше от Восьмой роты!

– Зря. Она хоть и бодливая, а справная. Вон как фрица выходила! В один момент на ноги поставила.

– Забирай себе! Прямо сегодня!

– Подумаю. У меня баб пока не было. Обхожусь. Ну, давай, допрашивай его, а я по двору пойду. Надо ж роту готовить на выход. Если комбат у майора Лавренова толку добьется.

Допрос немца никаких особых результатов не дал.

– Где ваше оружие? – спросил, заканчивая допрос, Воронцов. – Вы его бросили? Почему? Не хотели воевать?

Немец усмехнулся и указал на гранату, торчавшую за ремнем у Нелюбина.

– Мое оружие погибло в бою. Так же, как и мои товарищи.

– Кто вы по профессии? – спросил Воронцов. Он вдруг подумал вот о чем: после допроса надо что-то решать с этим немцем. Куда его девать? Отправить в штаб батальона? Но вряд ли он сейчас заинтересует кого-либо в штабе батальона. Если бы он был из Яровщины, тогда другое дело. Вести его в овраг?..

– Я студент Дюссельдорфского университета.

– Какой факультет?

– Исторический. – И вдруг спросил: – Простите, я не должен задавать вопросы, но вы, как мне кажется, тоже не профессиональный военный?

– Я тоже студент. Агрономический факультет.  
– О! Если я выживу в этой войне, то стану садовником. Историком я уже побывал. – Бальк устало махнул рукой.

Воронцов протянул немцу фляжку:

– Выпейте. Это спирт. Вам станет легче.

Немец взял фляжку и спросил:

– Меня расстреляют?

– Нет.

Немец выпил и закашлялся. Взял горсть снега, сунул в рот и с хрустом жевал.

– Русский ром! – сказал он, когда дыхание его восстановилось.

– Кондратий Герасимович, отведи его к тому костру, куда ходил твой связной.

– Пойдем, фриц, – махнул рукой Нелюбин. – Так и быть, отведу тебя. Нам ты не нужен. Патроны на тебя тратить... Ехали бы вы все в свою Германию, и войне бы конец настал. Небось тоже matka дома дожидается. А мы бы тоже к своим бабам по деревням... Ну, пошли.

Нелюбин понял, что Сашка просто-напросто сплавил ему пленного немца. Вон он, костер горит, шагов сто до него, не больше. Пусть бы сам и шел туда.

– Только мороки с тобой, фриц, – сказал Бальку Нелюбин. – Пожалел тебя Сашка. Так и быть, отведем тебя к твоим фрицам. Небось обрадуются, когда увидят живого да невредимого.

Бальк закивал и, дыша в ладони, сказал по-русски:

– Да, да, понимаю, товарищ.

Он понял, что расстреливать его не будут, что где-то рядом находятся немецкие посты, и его хотят вывести на один из них. Почему они сохраняют ему жизнь? Кто эти русские офицеры? Почему они не такие, как все?

– Э, фриц, гусь свинье не товарищ! – засмеялся Нелюбин. – Твои товарищи, вон они, возле тех костров. Возле того и того. Ферштеен? А мой вон там и там. Не перепутай. Ну, так и быть, я тебе проводника дам. Товарищ... Ты что, коммунист, что ли? Рабочий? Пролетарий? А какого ж, ектыть, хрена на чужую землю попер? В фашисты записался? А?

– Я не есть фашист, – сказал Бальк. Он почувствовал, что тот глоток спирта, который он жадно выхватил из фляжки молодого офицера, спас его, что и руки, и все тело оживают, слушаются. Он уже может идти, шевелить пальцами. Он может разговаривать и понимать, что говорит этот пожилой русский офицер. Правда, не все. Русский говорил много, и, видимо, на

каком-то местном диалекте. Так у них разговаривают в швабских деревнях. Что такое «гусь» и «свинья» Бальк тоже понял. Но смысла фразы не уловил. Возможно, иван имел в виду, что в немецкой армии много мародеров, которые отнимали у местных жителей скот. Но решил об этом лучше промолчать. Сделать вид, что ничего не понял.

– А кто же ты?

– Студент.

– Студент?

– Да, да. Университет. Дюссельдорф.

– Сашка вон тоже студент. Сейчас бы уже агрономом был. И я бы в своих Нелюбичах хлеб да лен сеял. Да бабами управлял. Бабы у нас в деревне хорошие. И работающие, так, по женской части... Не хуже медички Сашкиной. И как такую на фронт допустили? Попади она в мою роту, – мечтательно произнес Нелюбин, – она бы в одну неделю дисциплину разложила. Правильно ты ее назвал – оленуха. Мои бы олени уже давно бы роги заломили.

О женщинах Бальк тоже ничего толком не понял. Только когда иван взглянул на него хитрым глазом и подмигнул, он кое о чем все же догадался.

Подошли к костру. Возле него грелись солдаты, одетые кто во что горазд: в полушубки, в шинели, поверх которых болтались балахонистые камуфляжные накидки-халаты, в короткополые стеганные телогрейки. Вооружены тоже пестро. Кто с винтовкой, кто с автоматом. Пулеметчиков Бальк сразу определил, те стояли без оружия. Их пулеметы с длинными раструбами и широкими дисками стояли на сошках рядом.

– Чебак! – окликнул Нелюбин молодого бойца, сидевшего рядом с костром с винтовкой на коленях. – Проводи ганса к своим.

– Так мне сказали больше не приходить, – живо ответил Чебак, вытягиваясь перед ротным с винтовкой у ноги. – Из-за этого обмороженного доходяги жизнью рисковать...

– В овраг его, – слышалось из темноты, где в ворохе лапника отдыхал первый взвод.

– Пиманов, проследи, чтобы все было исполнено. Немца отвести. Самому к костру не подходить. На угощение в виде сигарет и прочего не напрашиваться. Понятно? Исполняйте.

Чебак развернул Балька в сторону леса и толкнул в спину прикладом винтовки. Бальк с ужасом оглянулся на Нелюбина и прохрипел:

– Герр офицер!..

Нелюбин махнул рукой:

– Не бойся, фриц, не расстреливать тебя ведут. К своим. К камерадам. Туда. – И Нелюбин указал в сторону соседнего костра, ярким оранжевым шаром колыхавшимся в березняке на другой стороне поля. – Там – твои. Дойче зольдатен. Домой. Нах хауз. Ферштеен? Только больше не попадайся. Чебак, дай-ка мне твою винтовку. – И Нелюбин взял из рук Чебака винтовку и передал ее сержанту Пиманову. – Вот так-то тебе легче будет приказание командира исполнить. А гранату твою я себе на память оставляю. Не забывай об этом.

До рассвета батальон капитана Солодовникова отошел на несколько километров назад. Сомкнул правый фланг со вторым стрелковым батальоном и начал усиленно долбить мерзлую землю всем, что имелось под рукой. Артиллеристы устанавливали свои пушчонки, вырубали деревья и кустарники, расчищая перед собой секторы для ведения огня в сторону большака, расширяли тропы для беспрепятственного выдвижения на запасные позиции.

Старшина Гиршман привез горячую кашу. С закиданных снегом саней сгружал прямо под сосны ящики с патронами и гранатами.

Среди бойцов, помогавших старшине, Воронцов увидел и Колобаева. Колобаев перетащил под сосны последние цинки с автоматными патронами и кинулся к Воронцову:

– Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Разрешите во взвод вернуться?

– Что, Колобаев, отпустило?

– Так точно, товарищ старший лейтенант, отпустило.

– Добивать уже побитых – дело, Колобаев, не солдатское. Вот сейчас он пойдет в контратаку. Возможно, танки пустит. А ты его останови. Идите и доложите лейтенанту Петрову, что я приказал вам вернуться во взвод. Окоп есть чем копать?

Колобаев похлопал по черенку саперной лопаты.

Взвод младшего лейтенанта Одинцова, составлявший второй эшелон наступавшей роты, по приказу Воронцова был отведен на линию лесной сторожки еще с вечера. В лесу земля промерзла неглубоко. Проломив железный панцирь, бойцы быстро углублялись в податливый песчаный грунт. И когда к ним подошли остальные два взвода, Воронцов увидел только часовых. Первый взвод, основательно окопавшись, уже отдыхал.

Воронцов собрал взводных, быстро расчертил прямо в снегу трассировку для окопов.

– Быстрее, ребята! – поторапливал он взводных и сержантов.

Бойцы долбили мерзлую землю, не поднимая голов. Стучали

лопатами, выгребали песок руками и касками. Поскорее забраться под корни деревьев, поскорее набросать перед собой брустверы.

Воронцов тоже орудовал саперной лопаткой, подравнивая угол пулеметного окопа. ДШК уже стоял под плащ-палаткой на дне неглубокой ячейки. Снег засыпал его, как будто совсем ненужный предмет, который в ближайшее время вряд ли кому понадобится. Но именно на 12,7-мм пулемет и надеялся Воронцов в предстоящем бою. На расчет осторожного Храпунова да на бронбойщиков Зиямбаева. Артиллеристами управляли свои командиры.

Когда окоп был почти готов, Храпунов принялся вырубать нишу. А через полчаса они вчетвером, бросив лопаты, подняли тяжелый ДШК и установили его на площадку. Бруствер перед стволом убрали. Ствол свободно ходил над самой землей, сантиметрах в десяти. Бруствер и остатки земли закидали снегом. Все. Оставалось ждать.

Как это все напоминало Воронцову октябрь сорок первого года! И запахи те же. И так же надсадно дышат в соседних ячейках бойцы. И тот же блеск в их глазах. И тот же гул в глубине лесного проселка.

– Танки! – пронеслось над наспех отрытыми и кое-как замаскированными окопчиками Восьмой роты.

– Без приказа огня не открывать! Сигнал к началу огня – зеленая ракета! – крикнул Воронцов и потряс над головой своим тяжелым «ТТ». – Сидеть тихо! Бронбойщикам приготовиться!

## Глава двадцать вторая

Беда не ходит одна. Похоронили Анну Витальевну. Отвезли гроб на озеро. Выдолбили в мерзлой земле могилу. Монах Нил прочитал над телом молитву. Петр Федорович и Зинаида вернулись с хутора и принялись за привычную каждодневную работу. Но тут в Прудки наведалься районный оперуполномоченный НКВД лейтенант госбезопасности Флягин. Приезд его был связан с тем, что на ферме пало два теленка. Оба из группы Зинаиды.

Петр Федорович встретил оперуполномоченного на крыльце правления, как встречал когда-то таким же метельным днем на школьном крыльце начальника жандармерии господина Штрекенбаха. И так же, как Штрекенбаха, он угостил лейтенанта госбезопасности Флягина самогоном с солеными грибочками. Правда, тот, увидев на рабочем столе председателя походную сервировку, вначале вроде даже оробел, потоптался, видать, соображая, как поступить, потом выразительно посмотрел на Петра Федоровича и сдержанно кивнул:

– А что, оно и можно. И даже нужно. Дорога к вам не ближний свет. И опять же морозит с утра...

– Так именно это, товарищ Флягин, я имел в виду. А то, знаете, ноги застудите и всякое такое... – И Петр Федорович кивнул на хромовые сапоги оперуполномоченного. – Сапожки-то у вас, товарищ Флягин, можно сказать, не по сезону. Вот то-то и оно...

Петр Федорович суетился вокруг стола, уже понимая, что вроде живец оказался гожий и что, похоже, клюнуло. Теперь подавай Бог терпенья и сноровки выдержать все до конца и на этот раз.

За первой, как и следовало ожидать, легко пошла вторая. Первача Петр Федорович принес отменного. Таким бы самого дорогого гостя встречать. Получалось, что вот он и пожаловал.

– Что-то ты, председатель, мало пьешь, – заметил, опорожнив третью рюмку, оперуполномоченный. – Задумал что? А? Думаешь spoить меня? От дела отвести? – И прищурился, как будто увидев вдруг прицел своего нагана, который ребристой затертой рукояткой с вороненым стальным колечком выглядывал из кобуры.

– Да что вы, товарищ Флягин, и в мыслях такого не держу. Дело есть дело. Каждый из нас делает свое дело. На благо советской родине. Для фронта стараемся. Все для фронта, все для победы. Солдат-то в окопе

должен быть сыт, обут, одет.

– Это оно так, Кондратий Герсимович. Да только у меня по поводу работы вашего хозяйства в направлении обеспечения, так сказать, фронта иные данные.

Ладно, пусть выговорится. Тут перечить нельзя. Слушать, соглашаться и подливать в рюмку первача. Этот вроде и не такое свиное рыло, как господин Штрекенбах. Но пережили и того, и этого, даст Бог, он как-нибудь управит без особых осложнений. Так думал Петр Федорович, закусывая соленым грибочком и не чувствуя ни вкуса груздя, ни хмеля самогонки.

– Как фамилия доярки? – спросил оперуполномоченный и по-хозяйски выбросил вперед ногу, скоблянул по полу каблуком с подковкой.

И только теперь Петр Федорович по-настоящему разглядел его сапоги. Высокие, на хорошей колодке, они плотно и фасонисто облегли ногу. Такими на складе не разживешься. Даже если там у тебя все начальство в кумовьях. Явный индпошив. И мастер, каких поискать. Такие берут за работу дорого. Только для состоятельных клиентов.

– Фамилия? – переспросил председатель.

– Да, как ее фамилия? В чьей группе падеж? Ты, кстати, выяснил все обстоятельства? Что это? Преступная халатность? Вредительство? Саботаж поставок? Все для фронта... – И оперуполномоченный вдруг в упор уставился на Петра Федоровича. – Для немцев, Петр Федорович, небось лучше тут старались?

– Мы скот угнали, – спокойно ответил председатель. – Немцам ничего не досталось. Мы директиву райкома и райисполкома исполнили в полном объеме, товарищ Флягин.

– Знаю я, знаю, как вы тут директивы исполняли.

– Исполняли честно, – стоял на своем Петр Федорович. – Когда полиция и жандармы прибыли реквизировать скот в пользу германской армии, мы, товарищ Флягин, воспрепятствовали этому с оружием в руках. И вам это хорошо известно.

Флягин вытянул и вторую ногу. Теперь оба его сапога сияли, как в витрине магазина. Магазин такой Петр Федорович видел однажды в Москве, на Остоженке. Эх, какой товар там был выставлен! Но и у Флягина сапоги не хуже. Оперуполномоченный усмехнулся.

– Странная у вас какая-то деревня. Мутный у вас народец проживает. Кого ни спросишь, ничего толком не добьешься. – Оперуполномоченный встал, допил свою рюмку и начал застегивать полушубок. – Пойдем-ка, председатель, на ферму. На месте все осмотрим. А дорогой доложишь, что удалось выяснить самому. – И вдруг спохватился: – Так как все же фамилия



той доярки?

– Бороницына. Бороницына Зинаида Петровна. – И Петр Федорович побледнел.

– Дочь, что ли? Ну и ну! Как же ты это допустил, председатель? Ты ж ее под статью подводишь!

– Да погодите вы, товарищ Флягин. При чем тут статья? Бывает такое у телят. Кормов-то не хватает. Сеном кормим да соломой. Пшенички бы да ячменю на комбикорм. Да пойло чем-нибудь сдобрить, коровушке-то. Она бы тогда и растелилась лучше, и потомство дала здоровое. Корова – она ж, товарищ Флягин, как женщина...

– Ладно, председатель, прекрати свою агитацию. Пойдем, глянем.

Э, брат, да ты больше на другого похож, подумал Петр Федорович. Господин Штрекенбах просто презирал нас, как неполноценных. И, не имея на то приказа, зла не делал. А ты под кожу лезешь. Как Кузьма Новиков. Тот тоже начинал с выпивки. Петр Федорович вспомнил бывшего полиция, и ему показалось, что от одежды оперуполномоченного Флягина пахнет точно так же, как от черной форменной шинели Кузьмы Новикова.

Пошли на ферму.

Оперуполномоченный Флягин шагал впереди. Петр Федорович смотрел на его сутулую спину, захлестнутую крест-накрест ремнями, на стальное колечко рукоятки револьвера, и его начинало мутить от того неизвестного, что уже разверзлось, как непроходимое болото, впереди. Ладно бы, если под стебло поволокнут его голову, председательскую. А если Зинаиду к ответу потянут...

Еще издали Петр Федорович увидел возле ворот сгрудившихся доярок. Среди них стояла и дочь. И он, догнав оперуполномоченного, сказал:

– Вы, товарищ Флягин, наше семейное положение знаете. Семеро по лавкам. В буквальном смысле. Пожалейте детей, товарищ Флягин. А дочкиной вины тут нет.

– Разберемся, – спокойным тоном отреагировал оперуполномоченный, и Петр Федорович сразу почувствовал, что у того во всей этой истории, закрутившейся вокруг него, председателя, Зинаиды и двух павших телят, есть какая-то мысль, какой-то интерес.

Что ж, подумал он, добра от этого прохвоста не жди, а торговаться надо. Вокруг чего ж он свой ус завивает? Вот что сперва надо вызнать. А там уже думать, куда дальше повести. Одни ушли, деревню спалили. Другие пришли. Эти хаты, конечно, палить не будут. Этим другое надобно.

Ухватки оперуполномоченного Флягина Петр Федорович уже знал. Полгода назад именно Флягин арестовывал его и возил в районную тюрьму.

Неделю просидел тогда Петр Федорович на хлебе и воде. Флягин допрашивал и днем, и ночью. Приводил каких-то людей, работавших в полицейской управе кто конюхом, кто кем. «Знаешь его?» – спрашивал он приведенного из соседней камеры. «Знаю». – «Кто?» – «Петр Федорович Бороницын». – «Кем он был во время оккупации?» – «Старостой деревни Прудки». – «Что вам известно об участии старосты Бороницына в карательной акции полицейского отряда и немецкой полевой жандармерии против жителей деревни Прудки в феврале 1942 года?» – «Ничего. Знаю только, что староста увел народ в лес». – «Откуда вам это известно?» – «Так говорили в управе». Потом привезли в Прудки и начали проводить очные ставки с жителями. Первой оперуполномоченный Флягин вызвал директора школы. «Что вам известно об участии старосты деревни Прудки Бороницына Петра Федоровича в карательной акции против жителей вышеуказанного населенного пункта зимой 1942 года?» – «Петр Федорович спасал деревню и нас от немцев и полицаев», – сказала Серафима Васильевна. «А я вас спрашиваю о другом, – нервничал оперуполномоченный. – Об участии вашего старосты в карательной акции. Каково было его участие?» – «Я и говорю, – стояла на своем Серафима Васильевна, – делил все горе вместе со всеми. Когда Курсант, командир партизанского отряда, организовал оборону Прудков, Петр Федорович стрелял по карателям из пулемета. Пулемет был установлен в нашей школе. В фундаменте дыра еще целая. Можете посмотреть. И гильзы там валяются». – «Вы, Серафима Васильевна, так уверенно говорите, будто сами вместе с вашим старостой в тот момент в карателей стреляли. Ленту пулеметную держали...» – «Я не держала. А вот муж мой держал. Рядом с председателем нашим был до последнего». – «Так вы подтверждаете участие вашего старосты в карательной акции немецкой полевой жандармерии и отряда полиции против жителей деревни Прудки в феврале 1942 года? Да или нет?» – «Товарищ Флягин, как я могу ответить на этот вопрос? Я уже сказала вам, что Петр Федорович Бороницын участвовал не в карательной акции против жителей, а в обороне жителей против карателей». – «Ах ты, хитрая баба! – кричал оперуполномоченный, потрясая своим наганом. – Все вы тут в Прудках такие! Друг за дружку! Круговая порука!» – «Я вам, товарищ Флягин, не баба, а директор школы. Прошу обращаться соответственно. У меня достаточно образования, чтобы понимать более вежливый язык и тон. К тому же я значительно старше вас. И мои двое сыновей на фронте. И муж тоже».

Но оперуполномоченный Флягин на этом не успокоился. Он вызывал людей до полуночи, пока не измучился сам. В конце концов сказал Петру

Федоровичу: «Черт с тобой. Живи. Неси самогону, да получше, почище. Помои не люблю. И грибочков солененьких. Что-то на солененькое потянуло».

Оперуполномоченный Флягин в районе был человек всесильный. Повыше первого секретаря райкома партии и председателя райисполкома. Жаловаться на него уже никуда не пойдешь. И покарать он мог такой карой, и услать туда, откуда на фронт, под пули, просились, как домой. Он умел и ломать, и улавливать, и припугивать, и вытягивать нужное хитростью и посулами. Но в Прудках не нашлось ни одного человека, который бы сказал о председателе, бывшем старосте, хотя бы одно худое слово.

Самогонку и грибы, хлеб и сало в правление принесла Зинаида. Ноги у Петра Федоровича от долгого неподвижного сидения в одиночной камере районной тюрьмы отекали так, что он не мог ходить. Вот тогда-то оперуполномоченный Флягин впервые и увидел дочку председателя. Лейтенант госбезопасности стоял у окна, курил, пуская дым в форточку, как всегда это делал в своем кабинете, и жадно следил за движениями девушки, за ее смуглыми пальцами, раскладывавшими по тарелкам кусочки сала и хлеба. Он любовался овалом ее лица и осанкой. Надо ж, какая красавица в этой глухомани живет. Вот бы такую секретаршей...

И вот судьба снова сталкивала их.

## Глава двадцать третья

– Мансур, видишь за танком «гроб» ползет?

– Вижу, командир.

– Давай, подожги его. Или хотя бы останови. Твоя задача, чтобы он остановился.

– Танк надо! Танк, командир! – недоуменно оглянулся на ротного бронебойщик. – Вон танков сколько! Три! Кто их подобьет без Мансура?

– Давай по бронетранспортеру. Подожги мне этого гада до начала открытия огня. Чтобы поднять настроение славянам.

– Понял, командир.

Воронцов вернулся в пулеметный окоп.

– Храпунов, слушай задачу. Сейчас Мансур остановит «гроб», вон тот, который идет следом за танком. Как только он «клюнет» носом, ты сразу открывай по нему огонь. Постарайся, чтобы из него мало кто ушел. – Воронцов оторвал взгляд от бинокля и оглянулся на пулеметчика.

Лицо Храпунова было бледным, как маскхалат. Сгорбившись над прицелом ДШК, он слизывал с дрожащей ладони снег и смотрел поверх щита в сторону дороги.

– Храпунов, приготовиться. – И Воронцов поднял бинокль.

Снег валил всю ночь и все утро и хорошо замаскировал окопы батальона и позиции противотанкового дивизиона. Орудия были выведены на прямую наводку. Батарея «сорокапятков» прикрывала дорогу слева, со стороны лесной сторожки и окопов Восьмой роты. Другая батарея ушла правее и гремела ломами и кувалдами с другой стороны дороги. Когда только-только прибыли на отсечные позиции, Воронцов пошел к артиллеристам. Те выглядели усталыми, издерганными, хмурыми. Увидев на своих недостроенных позициях командира стрелковой роты, стали зло переругиваться между собой. С ним разговаривали неохотно. На некоторые вопросы и вовсе не отвечали. Воронцов подошел к командиру батареи и рванул его за портупею так, что у того слетела с головы шапка:

– Слушайте, капитан, своих подчиненных будете воспитывать после боя. А сейчас скажите мне, я, как командир стрелковой роты, могу быть уверен в том, что вверенные вам ПТО выполняют задачу борьбы с танками?

– У нас для этого снарядов хрен да ни хрена! – И комбат так же резко толкнул Воронцова в грудь. – И где пункт боепитания, никто не знает.

– А за каким чертом вы тогда здесь вообще развертываетесь?! Чтобы

отстреляться за пару минут и тут же поставить орудия на передки? Или чтобы подтвердить, что у нас в полку из-за таких вот раздолбаев, как ты, царит полный бардак?

Командир батареи молчал. Тяжело дыша, он смотрел в глубину просеки, куда предстояло вести огонь.

– Вот что, капитан, я поставлю позади каждого из твоих орудий по пулемету, и если твои боги войны закопошатся в сторону тыла, прикажу стрелять на поражение!

– Ты за это еще ответишь, старлей. За каждое свое слово. Вот увидишь.

– Отвечу, капитан. Отвечу. А сейчас давай готовь своих людей к бою. По полной программе! Насчет пулеметов, имей в виду, я не пошутил. И последнее: огонь откроете по сигналу «красная ракета».

Через несколько минут, когда Воронцов со своими связными вернулся в окоп, в тыл помчались розвальни. Возница нахлестывал коня, и тот швырялся из-под копыт тяжелыми комьями.

– За снарядами погнались, – усмехнулся Добрушин. Связист слышал разговор ротного с артиллеристами с начала до конца. – Успеют ли теперь?

– Успеют.

Все произошло, как всегда в бою, быстро, в несколько минут.

Мансур Зиянбаев трижды выстрелил по бронетранспортеру. «Гроб» сразу же потянуло с дороги в сторону, и он, протянув с десяток метров по обочине, воткнулся в кювет. Из-под решетки радиатора потянуло черным дымом. В бинокль Воронцов хорошо видел, как пулеметчик развернул МГ, укрепленные на турели, и открыл огонь в сторону леса. Стрелял он наугад, потому что очередь прошла в стороне от окопа, откуда вела огонь бронебойка Зиянбаева.

– Храпунов! – крикнул Воронцов пулеметчику.

И, выровняв в руках бинокль, тут же увидел, как трасса ушла через белое поле. Стая бронебойно-зажигательных пуль завершила свою траекторию под гусеницами «гроба», из которого посыпались пехотинцы. Вторая тут же ушла следом, с небольшой поправкой, и накрыла борта бронетранспортера, пулеметчика и солдат, не успевших отбежать от разгоравшейся машины. Тем временем танк, шедший впереди колонны, развернулся, сделал доворот башни и выстрелил. Снаряд лег с недолетом. Но осколки, фырча, пролетели совсем недалеко от окопа, из которого вел огонь ДШК.

Воронцов вскинул вверх руку с ракетницей. Красная ракета стала сигналом атаки и для одних, и для других.

Бальк сидел в бронетранспортере, который двигался в голове колонны. Впереди взрывывал мотором «Т-III». Боевое охранение вернулось. Штабс-ефрейтор, командир патруля, выскочил из коляски мотоцикла и о чем-то доложил офицеру. Мотоцикл развернулся и снова умчался вперед. Танк тоже качнулся и двинулся по большаку. И в это время послышался резкий щелчок, потом другой. Водитель вскрикнул и уронил голову на спинку сиденья. Пулеметчик кинулся к турели и развернул пулемет в сторону леса. Именно там сверкнула еще одна вспышка. Бальк прижался к наклонной бронеплите. Гауптфельдфебель, командир их сводного взвода, привстал на корточках и в это время стальной сердечник бронебойной пули, выпущенной из ПТРС, пробил ему переносицу. Бальк успел подхватить на руки обмякшее тело взводного.

– Санитара сюда! – крикнул в копошащуюся массу грязных изодранных маскировочных накидок и камуфлированных курток, но не увидел ни одного лица, которое бы обернулось на его крик.

– Ему уже не помочь, – толкнул его в бок коренастый баварец Брандт, который встретил Балька у костра и который был первым человеком, с которым он познакомился после гибели своего взвода и пребывания у русских.

Бальк выпустил из рук обмякшее тело гауптфельдфебеля, переполз через него и попытался перелезть через борт. Потому что по обшивке бронетранспортера загрохотало и левый борт, у которого он лежал, буквально распахнулся десятком пробоин, в каждую из которых мог свободно пролезть палец. Очередь крупнокалиберного пулемета прошла чуть выше, потому что он в это время наклонился к убитому взводному. Его чудом не задело. Сразу несколько человек с криками и стонами упали на днище, забились, придерживая обрубки рук и ног, заливая тесное пространство кровью. Запахло дымом. Бальк понял, что бронетранспортер стоит. Не дожидаясь следующей очереди, он с силой рванул свое тело вверх, в снежное крошево. Ударился затылком о дорогу, перевернулся и вскочил на ноги. Надо было как можно дальше успеть отбежать от разгоравшегося бронетранспортера. «Гроб» есть «гроб», не зря его так прозвали. Он сделал несколько шагов к обочине, снова прыгнул. Все движения его состояли из прыжков, которые заканчивались попытками прижаться к земле, к затоптанному снегу так, чтобы все пули и осколки, сбивающие с ног его товарищей справа и слева, пролетели мимо.

Бальк уже лежал в придорожном кювете, прикрывая винтовкой голову, когда по броневым листам «гроба» забарабанила следующая очередь крупнокалиберных пуль. Те, кто остался в кузове в надежде переждать

обстрел, остались там навсегда. Вдобавок ко всему головной «Т-III» начал лихорадочно маневрировать, резко сдал назад, и под его гусеницами оказались несколько человек, выпрыгнувших из бронетранспортера сразу, как только первые пули попали в его мотор. Бальк и еще двое солдат кинулись их спасать. Бальк ухватил за руку, торчавшую из-под гусеницы. Это была еще живая рука еще живого человека. Он машинально потянул ее на себя. Упал, скользя в рыхлом сыром снегу. Потом отпустил руку. Но рука не отпускала его. Он разжал пальцы, схватил винтовку и начал изо всех сил колотить затыльником приклада в угол приплюснутой башни. Рука в это время вцепилась в его куртку и тащила к себе, под гусеницы. Гусеницы тоже дрожали, как живые, и с них осыпался снег. Вверху звякнули створки люка. Танк дернулся вперед. И рука, державшая куртку Балька, упала на снег. Пальцы разжались. Они были мертвы. Но в кровавом снегу, на дне кювета, среди искромсанной одежды, искореженных винтовок и раздавленных стальных шлемов, еще долго шевелилась живая плоть.

Бальк отпрянул в ужасе в сторону. Он кинулся в лес и залег под деревом. Расчехлил саперную лопату и начал лихорадочно выбрасывать из-под себя снег, мерзлую полусгнившую листву, обрубки моха. Дальше шла мерзлая земля. Но и она не остановила усилий Балька. Через минуту-другую он прорубил мерзлый панцирь и начал углубляться. Все складывалось не так уж плохо, подумал он, чувствуя, как его мокрое от горячего пота тело все глубже и надежней погружается в землю. Время от времени он смотрел на дорогу. Там и там лежали убитые. Кричали, швыряясь кровавым снегом, раненые. Многим из них уже нельзя было помочь, они агонизировали. Их становилось все больше. Над головой с воем пронеслась фиолетовая трасса бронебойной болванки и исчезла в глубине леса, рубя все на своем пути. В следующее мгновение сразу две такие трассы ударили в корпус головного танка. Все это время «Т-III» маневрировал на дороге и посылал снаряд за снарядом в сторону лесной сторожки, откуда вели огонь русские. Одна из бронебойных болванок со скрежетом отколошетила от башни танка и ударилась в снег буквально в трех метрах от окопа Балька. А другая снопом электросварки вспыхнула под орудийной маской. Танк сразу задымил, а через мгновение в распахнутые створки люка полыхнуло пламя. Никто из экипажа не выбрался из горячей машины. Вскоре внутри танка начал взрываться боекомплект. От взрывов, сотрясавших его изнутри, танк подпрыгивал, как будто механик-водитель его был еще жив и пытался совершить какой-то необходимый, спасительный маневр.

Иваны подкараулили их на отсечной позиции. Они успели приготовить

оборону и основательно окопаться. Колонна оказалась под огнем на марше. Никто не послушал гауптмана Фитца, что нужна разведка. Контратакой командовал офицер из танкового батальона. Он рассчитывал догнать иванов в пути и ударить им в спину. Вот к чему это привело.

Бальк так и не отыскал свой взвод. Или то, что от него осталось. Его включили в сводный взвод, дали винтовку, две горсти патронов и пару гранат. Во взводе были такие же, как и он, чудом выбравшиеся из окружения.

И тут на дороге Бальк увидел своего ротного. Старик вел группу солдат. В руках он сжимал «МП40», что-то кричал и стрелял в сторону русских окопов. Постепенно вокруг него собиралось все больше и больше солдат и все они продвигались вперед, к придорожному кювету. Там, в кювете, уже залегли пулеметчики, готовя к бою Schpandeu.

Бальку стало вдруг не по себе. Там, на той стороне дороги, командир роты гауптман Фитц и десяток солдат их роты, среди которых, возможно, есть кто-то из взвода фельдфебеля Гейнце, пытаются организовать оборону, а он здесь, в лесу, окопался и наблюдает за происходящим почти со стороны. Он подтянул к себе винтовку, лег на спину и проверил затвор и магазин. Винтовка работала исправно. Он вскочил на ноги и, делая зигзаги, чтобы стрелявшие по опушке березняка, не могли в него прицелиться, побежал к дороге.

– Сынок, ты тоже здесь, – сказал ротный, когда Бальк упал в снег рядом с гауптманом Фитцем. – А я тебя уже вычеркнул из списочного состава роты. После этого у тебя есть шансы дожить до лучших времен.

Старик клевал носом. С ним происходило что-то неладное. Больше суток не спал. Но засыпать под огнем русских пулеметов... Бальк посмотрел на ротного. Из рукава его замызганной куртки на снег стекала струйка крови.

– Герр гауптман, вы ранены? Герр гауптман?

Старик открыл глаза. Это были глаза усталого больного человека.

– Фузилер Бальк, – прохрипел ротный, – я приказываю вам занять позицию и вести огонь!

Бальк выполнил приказ гауптмана Фитца. Он расстрелял обойму, целясь над снежной кромкой. Пули одна за другой улетали в сторону леса. До русских окопов было метров сто. А может, всего пятьдесят. Белое пространство поля и не прекращающийся снегопад словно деформировали пространство, и определить более или менее точно расстояние до того или иного ориентира стало почти невозможно. Целей он не видел. Никакого движения там, в лесу, куда стрелял и он, и его товарищи, тоже не видел.



Только вспышки. Выполнив приказ, он закинул винтовку за спину, схватил ротного за ремни и потащил его к дороге. На четвереньках он выбрался из кювета. И тут с ужасом обнаружил, что пулеметы иванов плотно простреливают весь участок дороги от поворота, где горел головной танк, до второго бронетранспортера, который яростно вел огонь из турельного пулемета, поддерживая залегших в кювете. Он пополз по дну кювета и вскоре поравнялся со вторым бронетранспортером. Но здесь огонь казался еще более интенсивным. За гусеницами и колесами «гроба» лежали солдаты с нашивками незнакомой дивизии и вели огонь через его голову. Среди них были и раненые, и убитые. И никто им не помогал. Бальк пополз дальше.

Пули не могли причинить вреда ни ему, ни ротному. Они пролетали намного выше, на расстоянии вытянутой руки. А это все равно, что если бы огонь велся по позициям соседней роты. Тело гауптмана Фитца совсем обмякло, и Бальк не знал, жив ли он вообще. Если ротный умер, его все равно надо вытаскивать. Иваны могут атаковать, и тогда тело старика останется здесь, в кювете. И когда начнут разбираться, как же такое случилось, выяснится, что тело офицера бросил он, фузилер Бальк.

Бальк оглянулся и увидел, что сзади остается кровавый след. Кусочки пропитанного кровью снега лежали узкой извилистой тропинкой. Он нащупал в кармане куртки ротного медицинский пакет. Затем перевернул тело на спину. Старик охнул и что-то пробормотал. Находясь между жизнью и смертью, он продолжал командовать, управлять героическими остатками своей погибшей роты. Бальк расстегнул куртку и ощупал его грудь. Пуля вошла в плечо и вышла под лопаткой. И как он после этого еще размахивал рукой и стрелял из автомата? Видимо, кости оказались не задетыми, что позволяло раненому какое-то время не чувствовать того, что с ним произошло.

Перевязывать плечевую рану всегда непросто. Тем более здесь, лежа в кювете под огнем русских. Но Бальк все же справился с перевязкой. Он разорвал и свою упаковку, связал бинты. Он сделал укол морфия, и вскоре гауптман Фитц открыл усталые глаза. Осмотревшись, он тут же потребовал:

– Фузилер Бальк, доложите обстановку.

– Все прекрасно, герр гауптман, мы еще живы, – ответил он.

– Не будьте столь самонадеянными. Но при этом знайте, что я подал рапорт о вашем направлении на курсы подготовки унтер-офицеров. А приказ о присвоении вам звания обер-шютце, я думаю, готов. Поздравляю, обер-шютце Бальк. – И гауптман Фитц снова закрыл усталые глаза.

О том, что Бальку за спасение офицера, как минимум, положен

Железный крест II класса, гауптман Фитц говорить не стал. Довольно, а то у парня голова закружится. Он и без того его уже не бросит. Такие, как Бальк, товарищей в беде не оставляют. Кто бы мог подумать, что из дюссельдорфского студента швабских кровей получится такой отличный солдат, вполне соответствующий лучшим прусским образцам. Мерцающее сознание гауптмана Фитца стало тускнет и делать значительные паузы. Но оно успело прокрутить перед ним киноленту еще одного сюжета. Старого рубаку Артура Фитца на орудийном лафете ввозят в Арис. Родной городок встречает его тело, как встречало бы тело героя. Или фельдмаршала. Казалось, что не только жители Ариса, но и всей Восточной Пруссии выстроились вдоль дороги в несколько рядов, чтобы приветствовать своего защитника. И вдруг процессия остановилась. Фитц привстал из своего гроба, отбросив атласное покрывало и увидел обер-шютце Балька. «Что ты здесь делаешь, Бальк? И где твой Schrandeu?» – спросил он своего верного солдата. Но тот на глазах у изумленной толпы подхватил тело Фитца, ловко перебросил его через плечо и потащил в сторону пункта первой медицинской помощи, который был развернут неподалеку. При этом голова ротного время от времени колотилась о саперную лопату обер-шютце.

Снова все повторялось. Немцы контратаковали точно тем же порядком, как и полтора месяца назад. Танковая атака с густыми цепями пехоты. Без предварительной артподготовки. Без налета пикировщиков – мешала нелетная погода, низкая облачность, туман, снежные заряды. Все как тогда. С той лишь разницей, что под рукой у Воронцова не было трофейного пулемета. Да позади окопов в овраге не ждала сигнала к открытию огня минометная батарея, и младший лейтенант Малец не вычислял координаты.

ПТО в какой-то момент одновременно прекратили огонь. Заржали в березняке, прореженном взрывами танковых снарядов, кони. И Воронцов увидел, как беспокойно поглядывали в сторону артиллерийских позиций его бойцы. Но он даже не оглянулся туда. Он знал, что снаряды артиллеристам подвезли. Значит, батарея просто-напросто меняла позиции. Оставаться на прежних было безумием. Немцы давно засекли их и уже начали пристрелку. В бинокль Воронцов хорошо разглядел порядок атаки немцев. Вслед за танками шли бронетранспортеры и пехота. А позади на руках катили короткоствольные орудия артиллеристы. Эх, как бы их сейчас красиво накрыл Малец огнем своих минометов, подумал он.

Вторая волна атакующих оказалась более мощной.

ПТО на этот раз открыли огонь самостоятельно. Но роты еще молчали. Далековато. И Воронцов беспокойно трогал в нише ракетницу, проверял

патрон с красным глазком и засовывал его обратно.

Храпунов на корточках сидел на дне окопа, потягивал «сорок», оставленный ему кем-то из бойцов расчета, и сосредоточенно смотрел в угол окопа. Расчет сидел вокруг. Все посматривали то на своего первого номера, то на ротного. Наконец желтое колечко окурка с дымящимися крошками табака упало к ногам Храпунова и он придавил их сырым валенком.

– Рындин, – сказал он, – когда пойдет ракета, досчитай до трех и снимай маскировку.

Почему до трех, подумал Воронцов, в очередной раз запихивая в ракетницу патрон с красным зарядом. Видимо, у Храпунова «три» – заветное число. Три очереди – и пулемет на дно окопа.

Воронцов посмотрел на пулеметчика. Тот по-прежнему сидел на корточках. Лицо бледное, мгновенно постаревшее лет на десять. Губы едва заметно двигались, выполняли одно и то же движение в такт какой-то внутренней мысли или пытаясь произнести, осилить какое-то слово, очень важное, именно теперь, когда красная сигнальная ракета еще не взлетела.

И вдруг Воронцов понял, что в его руке сейчас судьбы восьми десятков людей, всей его роты. Он посмотрел на ракетницу, попробовал тугую рубчатую скобу взвода и осторожно отпустил ее назад. Еще можно успеть отойти. Подать команду взводным, бросить все, что может помешать быстрому отходу, и уйти в лес. А там, лесом, тропами и проселком, благополучно перебраться к Дебрикам. От Дебриков рукой подать до своих окопов. Но если они побегут отсюда, в следующее мгновение подумал он, то вряд ли удержат и свои окопы. Да и не спасет он людей, позволив им бежать сейчас, когда все уже изготовились к бою и думают только об одном. О чем? О чем можно думать, снова заговорило с ним сомнение и желание выжить, когда на тебя надвигается смерть? Только о ней. Что будет ему, если он отдаст сейчас приказ на отход? Суд? Штрафной батальон? Но рота, восемь десятков людей останутся в живых. И быть может, кто-то из них, и даже большинство, доживут до конца войны, а значит, он своим приказом сохранит их жизни для того, чтобы подарить им счастье встречи с их женами, родителями, детьми. Нет, не спасет он их бегством. И Седьмую роту погубит. Откроет фланг, и Нелюбина танки сомнут в несколько минут. Он бросит артиллеристов. А они уже вступили в бой. Кем после этого будет чувствовать себя он сам и его солдаты? Он погубит их как солдат, как мужчин, если даже сохранит жизни.

Воронцов нащупал ребристую насечку скобы и уверенным движением взвел курок ракетницы. Минутная слабость прошла. Струйка холодного

пота скользнула по позвоночнику под ремень и мгновенно высохла.

– Храпунов, – напомнил он задачу расчета ДШК, – твое дело – фланги.

– Я свое дело знаю, – спокойно ответил пулеметчик. – Мне медали ни к чему. – И Храпунов кивнул Рындину, что означало – приготовиться.

Воронцов, приподнявшись над бруствером, в последний раз окинул взглядом оборону своей роты, неровную линию окопов, белые кочки касок, выкрашенных известью или обернутых в маскировочную материю, торчащие из снега стволы винтовок и автоматов, покрепче прихватил зубами кислый ремешок и поднял над головой ракетницу.

## Глава двадцать четвертая

– Эта одежда не подойдет. Слишком будет выделяться. – Керн осматривал Ивана, как делал он это на вечерних осмотрах, когда военнопленных, возвращавшихся с завода, внимательно обыскивали, чтобы те не смогли пронести в барак посторонних вещей и предметов, включая продовольствие. Пары картофелин к приварку, брюквы или кочана капусты, куска антрацита для железной печи. Однажды Ивану удалось стащить из вагона тушку трески. Она весила около двух килограммов. Они с летчиком Олегом разрезали треску вдоль, по позвоночнику и спрятали ее под одеждой. Вначале обыскивали Олега. Ничего не нашли. Потом его. Обыскивал как раз этот, вахман Керн. Он ткнул Ивана в живот деревянной палкой и сразу почувствовал под шинелью посторонний предмет. Их всех раздели. Нашли, конечно, и вторую половину тушки трески. Лучше бы они ее съели сырой. Побоялись, что скрутит животы. Не было соли. Но лучше бы все же съели. Ивана и Олега избили палками и ногами. На трое суток заперли в карцер. Давали только воду. И то не кипятком, а просто сырую воду, пахнущую ржавым водопроводом, а может, и канализацией. Избивали их Керн и еще двое. У Ивана потом долго болел правый бок. Олег, немного разбиравшийся в медицине, сказал, что в правом боку находится печень. Керн знал, куда бить.

И вот этот лагерный экзекутор стоял перед ним.

– Одежду я принесу. А это уложите в рюкзак. Сверху рюкзак обшейте какой-нибудь старой тряпкой неопределенного цвета. Чтобы не бросалось в глаза со стороны. Вы понимаете?

– Понимаю, герр полицейский.

Вахман Керн больше не произносил имени Армана, как будто все, что они делали сейчас и что им предстояло, происходило без участия француза.

– Переводи быстро и точно, – приказал вахман Керн Шуре и строго посмотрел на нее. – Завтра утром на работы в горы уйдет колонна. Сопровождающих будет всего двое. Я и мой напарник. Напарник будет управлять лошадью, везти инструменты. Подвода, как всегда, будет двигаться в голове колонны. Когда хвост колонны поравняется с домом, последнюю шеренгу я остановлю, чтобы убрать столб, который лежит на тротуаре. Твоя задача, Иван, быстро догнать колонну и занять свободное место в одной из последних шеренг. Свободное место там будет.

– Меня могут узнать. Кто будет идти в колонне? «Остовцы» или

военнопленные?

– Никто из этой группы тебя не знает. Они прибыли вчера вечером. Из разных лагерей. Они еще не привыкли друг к другу и знают не всех. Новая партия военнопленных, пополнение с Восточного фронта.

Ивану показалось, что конец последней фразы немец произнес с иронией. Смысл фразы Иван уловил без перевода. Но Шура тут же перевела. И Иван посмотрел на вахмана спокойным взглядом человека, который ничего уже не боится и готов выполнить любое поручение, лишь бы оно вело в горы, к свободе.

– Схему маршрута я передам потом, когда перейдем реку и колонна начнет подниматься в горы. Подумай, куда ее положить. Да, вот еще что. Чтобы не подводить вашу соотечественницу, выходить нужно через двор. Я так понимаю, что она в этой истории человек случайный. Быстро перелезть через забор, когда на дороге никого не будет, и сразу догонять колонну. Через решетку лучше перелезть там, где заросли кустарника. Риск есть, но других вариантов нет. Я постараюсь сделать так, что военнопленным, занятым уборкой столба, некогда будет смотреть по сторонам. Об остальном позаботься сам. И запомни следующее: если произойдет провал, я тебя потащу в полицию сам. Понял?

– Так точно, – ответил Иван.

Иван знал, что то, что говорил немец, ведет к свободе, и поэтому принимал его слова спокойно.

– А сейчас и до утра я советую вам хорошенько отдохнуть и набраться сил. – Немец посмотрел на Шуру. – У вас есть продукты?

– Есть. Я сварю кашу, – сказала Шура.

– В свертке, который я положил у входа, кое-что есть. Кормите его хорошо. И переведите, что первые сутки по маршруту, указанному в схеме, он должен идти без остановок. Отдых будет потом, когда дойдет до перевала и встретится с проводником. Одежду я брошу во двор. Найдете ее под деревом. Когда он покинет дом, внимательно осмотри все и уничтожь следы его пребывания. Чтобы и запаха не осталось. Поняла?

Шура перевела до того места, которое касалось только ее. Иван кивнул. Все, что он услышал, вело к свободе.

Он знал, что теперь, когда, впервые за два года страданий и мытарств, после пересылок из одного лагеря в другой, реальность побега приблизилась как никогда, что он вблизи пусть пока в воображении, увидел то, на что с тоской смотрел издали, из зарешеченного окна барака, из строя таких же, как и он, бедолаг военнопленных, обреченных медленно умирать от недоедания и тяжелой работы по восемнадцать часов в сутки. И теперь,

закрывая глаза, он видел сосны, их бурую кору, корни, выступившие наружу на тропах и осыпях, и саму тропу, его тропу, по которой он пойдет, сверяясь по схеме, нарисованной Арманом. Схему конечно же будет рисовать Арман. Хотя вахман Керн об этом не сказал ни слова. За всем стоял француз Арман из «Сражающейся Франции». За всеми приготовлениями и к его побегу, и к побегу основных групп, который отложен до весны. Вот он торопливо идет по тропе в своих альпийских ботинках. Впереди сосны, сосны, сосны... Но вдруг забелело, засветлелось за соснами. Что это? Франция? Нет, не Франция. Франции Иван никогда не видел, только однажды Арман показал открытку с видом небольшого городка со шпилем католической церкви в середине среди черепичных крыш. Но впереди открывалось нечто совершенно другое. Сосны постепенно переходили в березовый лес. Березы росли не поодиночке, как в лесу, а сростками, по всему склону, полого уходящему вниз, к небольшой речушке. Сердце Ивана заколотилось, потому что он вдруг узнал, что это за речушка, вспомнил ее название. Он прошел еще немного и увидел крыши, покрытые дранкой и соломой. Подлесное! Это же его родное село! По тропе навстречу ему идет человек. В шинели, в сапогах и пилотке. И человека, идущего навстречу, он тоже узнал. И даже понял, что человек идет встречать его, Ивана Воронцова, бегущего из немецкого плена...

Он проснулся в слезах. Слезы стояли во впадинах глаз, как в проталинах. Он вздохнул и повернулся набок. И увидел, что в подвальном помещении находится не один. В двух шагах от лежанки потрескивали в топке дрова. Возле чугунной дверочки с литыми вензелями и фигурой охотника или пастуха, в полусумерках разобрать было невозможно, стояла на коленях Шура. Рядом, на круглом столике, горела свеча. Девушка стояла, замерев в неподвижной позе. Ивану даже показалось, что она молится. В Польше, когда из лагеря их, наиболее крепких физически, вывозили на различные работы вначале в Ружаны, а потом в Варшаву, он видел молящихся женщин. Среди военнопленных было много поляков, и Иван понимал, о ком молятся в храмах, а иногда и прямо на улице молодые и пожилые польки. Однажды, когда их в очередной раз гнали в Ружаны на строительство какого-то склада или казармы, возле деревни, в которой не было ни церкви, ни часовни, он увидел молящуюся девушку. Она стояла на коленях перед иконой Богородицы, прилаженной под голубцом креста так, чтобы на икону не попадал дождь и не портил ее раньше срока. Крест был высокий, выше человеческого роста. И сложен был из камня. Девушка стояла на коленях и не отрываясь смотрела на икону. На глазах ее стояли слезы. Что она пережила? Гибель отца? Брата? Жениха? О ком она

молилась? За кого просила Матерь Небесную? Колонна военнопленных прошла мимо нее молча. Никто не проронил ни слова. Лишь потом, когда вышли в поле, кто-то из пожилых сказал:

– Кто бы о нас так помолился...

Иван не выдержал и вздохнул. Вздох вырвался сам собой. Ему не хотелось тревожить Шуру. Пускай бы стояла так, у приоткрытой раскаленной дверочки, пускай бы молчала или молилась, а он бы смотрел на ее тонкую фигуру, на линию головы и шеи, на отблески огня, мерцающие на ее щеке и на пряди русых волос, выпавших из-под платка. Ему казалось, что там, у печи, стоит одна из его сестер. Может, Варя, а может, младшая, Стеша, и молится о нем. Молитва сестры о брате должна дойти до Бога. Если он есть.

– Ты молилась? – спросил он ее.

– Да, молилась, – ответила она. Она ответила не сразу. Некоторое время смотрела на него и только потом кивнула. – А ты плакал?

– Плакал. Слезы – сами собой... Как у ребенка.

– У меня тоже так бывает. Когда о маме думаю, о доме, о нашей деревне.

– Расскажи мне о своей деревне. И о брате тоже.

– О брате я тебе уже все рассказала.

– А ты расскажи еще раз.

– Еще раз? – Она заглянула в щель, в приоткрытую дверчку, на огонь, играющий на поленьях, представила, как слушала бы все, что ей рассказывали бы об Иванке, если бы нашелся такой человек, который знал его, и улыбнулась. – Хорошо, расскажу и о Курсанте.

– Ты называй его Санькой.

– Нет, так мы его не называли.

– Чудная ты девчонка. Он же, Санька, всего на четыре или пять лет старше тебя! Только ты сядь куда-нибудь. Не стой на коленях.

– Нет, мне так удобней.

– А что у тебя за книга?

– Молитвенник.

– Покажи.

Она протянула ему маленькую книжечку в красном кожаном переплете с атласной лентой закладки, вшитой в корешок. Он открыл ее на той странице, которая была заложена и вдруг швырнул молитвенник к печи.

– Это же на немецком языке! – крикнул он.

Шура молча подняла книжечку, осмотрела ее и бережно потрогала пострадавшие места.



– Этот проклятый язык... Он везде! Как я их всех ненавижу! И этот, Керн, тоже такая же сволочь, как и все!

– Но он спасает тебя.

– Спасает. Себя он спасает. Думаешь, он антифашист? Арман ему наверняка хорошо заплатил. Вот и весь секрет его участия. А ты слышала, как ловко он ограничил свой риск? Да он меня сдаст, как только запахнет жареным! Просто другого выхода нет. А ты молишься по-немецки...

– Я молюсь не по-немецки. Я перевожу. А некоторые молитвы здесь по-латыни.

– По-латыни?

– Да, это древний язык европейцев. Как у нас церковнославянский. Вот, послушай. – И Шура прочитала отрывок из молитвы. Потом, как смогла, перевела ее.

– Да, звучит иначе, чем немецкий. Больше похож на итальянский. Но итальяшки тоже заодно с Гитлером. Если я уйду в горы, я всем им отомщу. За все. За то, что они творили в лесах под Вязьмой. За рославльский концлагерь. За пушкинские казармы под Минском. За Ружаны, за палки вахманов и расстрелы на дорогах. За тухлую баланду. За издевательство и за карцеры. За то, что относились к нам, как скоту. За отца. За Нестера. За лейтенанта. У меня большой счет. Все записано. У меня счетовод строгий. – И Иван похлопал ладонью по груди.

– Немцы разные.

– Мы тоже разные. Знаю я, как эти разные в одну стаю превращаются, когда кровью пахнет. Я видел, что они творили в наших деревнях. Как вешали и насиловали. Как жгли. Как коров резали и свиней. За каждую курицу взыщу. Дай только до партизан добраться и до оружия. Я пулеметчик. Специальность редкая. Думаю, и в отряде для меня место найдется по моему основному профилю.

Шура полистала молитвенник и вдруг сказала, оглянувшись на Ивана:

– Иван, я вспомнила, как Курсант дрова пилил. То с Пелагеей на пару, то с Зинаидой. В деревне говорили, что Пелагея от него девочку родила. Она погибла. Самолет хутор обстрелял, когда она уже рожать начала. Девочка живая. А в Пелагею несколько пуль попало.

– Вот так. Значит, Санька уже ребенка родил. А я всегда считал, что у меня братень лопух по женской части. Что ж он, женился, что ли?

– Как же можно жениться на женщине, у которой есть муж?

– Ты же сказала, что ее муж погиб.

– Пропал без вести. Как и наш папка.

Иван вздохнул. Прислушался. Долго смотрел в потолок. Снова

вздыхнул:

– Вот война!.. Все перекутила, тварь проклятая. Без вести – это еще не значит, что погиб. Я ведь тоже пропавший без вести. И я, и отец, и Нестер Андреенков. Нестер погиб. Отца я сам похоронил. А я пока еще живой. Так что нельзя мне умирать. Не все пропавшие без вести мертвые.

В печи за раскаленной дверочкой потрескивало. Веяло мягким печным теплом.

– Иван, а ты своего отца во сне видишь? – спросила Шура.

– Вижу. Сегодня видел. Час назад. И раньше тоже. Он мне часто снится.

– Живого? Ты его живым видишь?

– Живым.

– И я вижу отца живым. Может, тоже где-нибудь в плену. Война кончится, все домой вернутся.

– Поскорее бы она кончалась.

– Расскажи мне о своей деревне. Ты так ничего и не рассказала.

– Деревню нашу сожгли. Вначале казаки, несколько дворов. А потом немцы. А потом снова полицейские жгли и жандармы. В первый раз Курсант и наши прудковские мужики отбили дворы, не дали жечь. Но потом... А до войны была очень красивая деревня. Дома стоят по берегам пруда и оврагов. Некоторые забрались прямо в овраг. Весной все вокруг пахнет черемухой. В августе – хлебом. Вокруг деревни – поля. А сейчас, зимой, снег хрустит так, что, если кто-то идет по большаку, его за километр слышно.

– Ты красиво умеешь рассказывать. Ты много читаешь?

– Здесь нет русских книг.

– Сколько классов ты окончила?

– Шесть. Седьмой не успела. Хозяйка не запрещает мне брать из шкафа в гостиной книги. Но они все на немецком языке.

– А наше село стоит в лесу. Среди сосен. Летом, в жару, пахнет смолой. Вода в речке прозрачная. Глянешь с берега, и видишь, как по дну пескарики ходят, прозрачными хвостиками шевелят. А вечером мать корову доит. Целое ведро молока. Процедит его через двойную марлю и разольет по горлачам. До утра оно отстаивается. Брат любил парное молоко, а я нет. Я всегда пил холодное, утрешнее. Оно мне казалось вкуснее. А парное коровой пахнет.

– Как звали вашу корову? – спросила Шура.

– Лысеня. У нее характер очень вредный. Однажды мы с Санькой уснули в полях. Мать послала коров пасти, а мы уснули. Так она с нас

кепки сняла и сжевала. Мы с братом испугались, коров пригнали и ночевать на сеновал полезли, чтобы дома не появляться. А сестры нам хлеб носили. Двое суток на сеновале прятались. А Саньку девки любят. Я это знаю.

– Он красивый. Высокий. Добрый. – Шура посмотрела на Ивана и улыбнулась. – Ты похож на него. Особенно глаза и голос. Только ростом поменьше.

– Не зря Санька пил парное молоко, – засмеялся Иван.

Шура тоже улыбнулась. Ей нравилось разговаривать с Иваном. И не потому, что, разговаривая с ним, можно было не опускать глаза, а просто нравилось. Иван рассказывал смешные истории и сам смеялся вместе с Шурой. Если бы не плен, не неволя, как бы им было хорошо!

Утром следующего дня Иван переоделся и замер в зарослях кустарника в ожидании колонны. Вскоре она появилась. Все произошло так, как говорил немец.

Иван перебросил рюкзак с одеждой и продуктами через решетку. А спустя несколько минут он уже шел в колонне, которая молчаливо двигалась в сторону моста через реку. За мостом начинался лес и дорога в горы. Где-то там была каменоломня.

Иван должен был отстать от колонны чуть раньше. Но до этого вахман Керн передаст ему схему дальнейшего маршрута. А там – горы, свобода.

## Глава двадцать пятая

Нелюбин увидел, как на другой стороне большака, в стороне окопов Восьмой роты взлетела красная ракета. Она еще не успела завершить свою траекторию, как оттуда сразу плеснули трассирующие струи. Ну, ектить, подумал он, чувствуя, как зачесались под гимнастеркой шрамы, понеслась кривая в баню... Сашка зачем-то начал чуть раньше. И тут же понял его замысел. Таиться Воронцову было уже бессмысленно, потому что батарея «сорокапятчиков» раскрыла себя еще несколько минут назад. Уже дымил в поле один танк. Другой, немного развернувшись в рыхлом снегу, будто крупный зверь, напоровшийся на рогатину, стоял неподвижно и огрызался частыми выстрелами из длинноствольного орудия, направленного в сторону батареи ПТО. Уже лежала вверх колесами «сорокапятка», которая ближе других стояла к дороге и первой открыла огонь, а значит, первой раскрыла и себя.

Начался поединок танков и противотанковых орудий, танковых экипажей и орудийных расчетов. У каждой из сторон в запасе было несколько минут, иногда секунд, несколько снарядов или один снаряд.

«Сорокапятки» стреляли подкалиберными. Точность огня при стрельбе подкалиберными снарядами была ниже. Но вероятность поражения цели, даже если попадание приходилось на наклонную часть брони, была полной. Темп огня батареи заметно упал. Наводчики прицеливались тщательно, потому что каждый очередной выстрел мог стать последним.

И вдруг Нелюбин понял, почему Сашка заторопился с открытием огня. Он намеренно раскрыл себя. Отвлек внимание. И вся вторая волна атаки хлынула на Восьмую роту и батарею ПТО, прикрывавшую лесной проселок.

– Звягин! – махнул он связному. – Дуй быстро к артиллеристам и скажи Самсонову, чтобы начинал, когда танки дойдут вон до той разбитой березы. – И Нелюбин указал биноклем в белое поле, где двигались выкрашенные в зимний камуфляж угловатые коробки немецких танков.

Звягин исчез в березняке. И через несколько минут оттуда через головы Седьмой роты, через большак, с упругим воем ушли первые трассы бронебойных и подкалиберных снарядов.

Атака во фланг ошеломила немцев. Сразу загорелось несколько танков и бронетранспортеров. Рассеялась по полю и залегла в перелеске пехота, укрываясь от ураганного огня. Но уже через несколько минут немцы

ответили сосредоточенным орудийным огнем. И Нелюбин с ужасом увидел, как одна за другой тонули в облаках дыма, копоти и горящего снега позиции противотанковой батареи старшего лейтенанта Самсонова. Вскоре он обнаружил, что стреляет всего одна «сорокапятка». Она вела огонь из глубины оврага. Трассы прочерчивали снежное пространство, беря начало в молочной дымке оврага и исчезали за лентой дороги среди маневрирующих танков и бронетранспортеров. Как бы сейчас помог им огонь гаубиц! Но где они, те гаубицы?

Приполз Звягин. Размазывая по лицу пот и копоть, доложил:

– Кондрат, хана батарее. Все – кверху колесами. И ребят всех побил, артиллеристов. Раненых в сторожку увезли. А комбат ихний, Самсонов, приказал одно орудие в овраг отвести. Без колеса. Прицел разбит. С другого сняли. Он там с двумя артиллеристами теперь один. Хорошо, что кони целы. Поставили пушку на передок, кол березовый под пустую ось подвязали и – только снег завивался! Смотри, лупит как! Они ж его оттуда не видят. У них старлей – голова! Жаль только, сразу не сообразил. Что теперь будем делать?

– Бери Чебака и Морозова и бегом к ним! В распоряжение Самсонова! Живо, Звягин! Без артиллерии нам не справиться!

– Так там же, командир, – прощай, родина...

– Исполняй, ектыть, приказ, раз даден! – рывкнул на бойца Нелюбин.

Воронцов где ползком, а где на четвереньках и короткими перебежками, пробирался на левый фланг, к большаку, во взвод старшего сержанта Численко. Следом, чертыхаясь и матерясь, тем же способом передвигались связные.

Это был самый опасный участок обороны. Сюда он сместил всех бронебойщиков, разместил их уступами, на тот случай, если немецкие танки все же прорвутся к окопам. Тогда по ним смогут продолжать вести огонь бронебойки, которые, по его приказу, окопались в березняке и у проселка позади основной линии. Возле дороги, которая вела в сторону лесной сторожки, бронебойщики нашли старые окопы и заняли их.

Воронцов прыгнул в просторный ровик, откуда вел огонь Мансур Зиянбаев. Рядом с ним из винтовки стрелял второй номер, тоже таджик. Ни имени, ни фамилии его Воронцов не помнил. Он был из недавнего пополнения.

– Патроны! – оскалился на своего заряжающего Мансур.

Тот отбросил винтовку и быстро начал заряжать магазин.

– Где взводный? – спросил Воронцов Зиянбаева.

– Там, – махнул рукой бронебойщик. Белки его глаз были красными, то

ли от невероятного напряжения, то ли от бессонной ночи, то ли ему стегануло землей по глазам. – Там взводный! У пулемета! Кузнеца убило! Иван сам за пулемет лег!

Мансур выкрикивал фразы громко, широко открывая рот. В двух шагах от бруствера Воронцов увидел воронку. Она еще дымилась. Второй номер то и дело смахивал с подбородка кровь. Мансур контужен. Воронцов сразу это заметил. Но спрашивать его об этом не стал. Кто-то должен стрелять из бронебойки. Лучше Мансура этого никто не сделает. Пока силы есть, пускай стреляет.

– Давай! Готово! – крикнул заряжающий.

Мансур снова прижал к плечу приклад и, сгруппировавшись, начал наводить длинный ствол с набалдашником пламягасителя в пространство, затянутое дымом и копотью, откуда слышались звонкие выстрелы башенных орудий, лязг танковых гусениц и крики на чужом языке. Отдача после каждого выстрела была такая, что каска бронебойщика подпрыгивала, как мячик, а шея таджика, казалось, вот-вот не выдержит.

Старший сержант Численко лежал в неглубоком тесном окопчике и короткими экономными очередями стрелял из «максима». Рядом с ним на коленях стоял связной Дикуленок и, втянув голову в плечи, так, что края выкрашенной известью каски глубоко впивались в шинельные складки, придерживал посиневшими руками матерчатую ленту. Тела сержанта Кузнецова и ефрейтора Селищева, уже остывшие и припорошенные снегом, лежали позади окопа, сложенные как для погребения. Восковые лица убитых были обращены к небу и не выражали ничего, кроме согласия с тем, что произошло, и полного равнодушия к тому, что здесь, в этом крошечном снежном поле, с одной стороны ограниченном лесом, а с другой дорогой, еще может произойти.

Воронцов окинул взглядом пустые коробки из-под патронов и сразу понял, почему Численко не стреляет длинными очередями.

– Что, Иван, последняя лента? – крикнул Воронцов, кое-как устраиваясь в тесном окопчике в ногах у пулеметчиков.

Он перекинул через угол бруствера свой автомат, прицелился в мелькающие фигурки в белом поле, кое-где измазанном густой копотью горящих танков и бронетранспортеров, испятнанном воронками и телами убитых и раненых, и нажал на спуск. Автомат задрожал в руках, хлестнул из ствола клочковатым пламенем.

– Эту мы отобьем, но если они снова попрут... – Численко оглянулся на Воронцова и вдруг зло спросил: – А где ж наши еб... минометчики, ротный? – И крылья резко вырезанных его ноздрей побелели.

– Ты давай держись тут, а я к Петрову! Поддержим тебя фланговым огнем! Понял? Держись, Иван!

– Да я что... Пока патроны есть, я к своим окопам ни одну блядь не подпущу.

Дикуленок смотрел на Воронцова не мигая. Его широко распахнутые глаза на измазанном копотью лице испуганно светились из-под глубоко нахлобученной каски, словно хотели спросить: когда же это кончится, командир?

На правом фланге, у Петрова, было потише. К болоту немцы не полезли. То ли боялись утопить танки, то ли решили вначале разрезать оборону батальона на две части, чтобы потом свернуть ее в обе стороны. И если не удержится взвод Численко, то первый взвод немцы сбросят в болото.

Воронцов перебежал проселок. Пули, одна за другой, защелкали по березовым сучьям. Это была прицельная очередь. Значит, немцы уже освоились и контролируют их пулеметным огнем. Еще немного, подведут еще несколько пулеметов и загонят славян в окопы, головы не дадут поднять.

В окопе, отрытом прямо под сосной, одиноко росшей среди низкорослого кустарника, почти целиком выстриженного пулями и осколками, пожилой боец менял диск пулемета. Воронцов узнал Темникова.

– Где взводный? – крикнул ему Воронцов.

– Убит наш лейтенант, – ответил пулеметчик. – Там он. Там... – И Темников махнул куда-то в сторону болота.

– А Радченко?

– Живой Радченко! Он тоже там!

Воронцов подполз к Темникову.

– Егорыч, дай несколько очередей туда, ближе к дороге. Второму взводу помощи. – И, оглядевшись, спросил: – А Лучников где?

– За патронами я его отправил. Патроны кончаются. Видать, где-то старшину ищет.

Ротный пункт боепитания они разместили возле лесной сторожки. Там он приказал находиться Гиршману. Неужели уехал в тыл, засосало под ложечкой у Воронцова. Снабженец херов... Застрелю, если не обеспечил подвоз боеприпасов.

Воронцов отдышался, немного успокоился и хотел было вызвать сюда, в пулеметный окоп Темникова, помкомвзвода сержанта Радченко, но ему вдруг захотелось глянуть на Петрова, попрощаться с лучшим своим

лейтенантом. Узнать, что же там произошло, как погиб Петров.

– Василий Фомич! – окликнул он связиста Добрушина, кивнул на рацию. – Оставь свою бандуру и ползи к сторожке. Разущи Гиршмана, скажи, чтобы срочно тащил патроны во второй взвод. Если людей нет, пусть сам тащит! Так и передай. И скажи командиру санроты Игнатьевой, чтобы эвакуировала раненых в тыл. Припугни ее, что мы, мол, можем не удержаться. Пусть поскорее уходят.

Если придется отходить, думал Воронцов, раненые свяжут их по рукам и по ногам. Так что лучше их вывезти заранее.

Изрубленное осколками тело лейтенанта Петрова лежало под березой. Как и других убитых, его вытащили из окопа и положили прямо на снег позади одной из ячеек.

Воронцов подполз к нему, заглянул в лицо. На фронте он привык ко всему. В том числе и к смерти в ее различных проявлениях, и к виду убитых. Но то, что он увидел, ужаснуло. Лицо лейтенанта Петрова было буквально срезано. В разбитой, раздробленной каске лежало то, что осталось. Только тело лейтенанта под забрызганным кровью балахонистым маскхалатом все так же бугрилось сгустками мышц, и огромные руки, ладонями вверх, были раскинуты вольно, как в полете. Одна в сторону, другая вверх, над головой. Растаявший снег собрался в ладонях лейтенанта лужицами мутноватой воды.

Воронцов попытался поправить его руки, но они уже окоченели. Прощай, Петров, мысленно простился Воронцов со своим взводным, в неурочный час ты нас оставляешь. Но мы еще постоим...

После того как Бальк передал раненого ротного санитарам, его тут же втолкнули в какую-то небольшую, числом около взвода, колонну разноперо одетых и вооруженных в основном винтовками людей и погнали снова к дороге. Он бежал, сжимая в руках винтовку и тупо глядя в затылок мелькавшего впереди него стального шлема, и молил об одном: только не туда, только бы не туда...

Вскоре им приказали остановиться. Разделили на две команды. Каждая из них начала быстро грузиться на бронетранспортер.

«Гроб», в который влез Бальк, оказался латаным-перелатаным ветераном, который доехал до этих гнилых болот, должно быть, от самой Франции, от линии Мажино. Механик-водитель между тем вел бронетранспортер уверенно. И вскоре они объехали позиции артиллеристов, которые из своих приземистых орудий вели огонь куда-то вперед, в прогалы между маневрирующих и горящих танков и бронетранспортеров.



Русские ПТО стреляли уже реже. Но опасность того, что очередная трасса бронебойного или, хуже того, осколочного снаряда влетит прямо в их машину, все же существовала. Более того, когда Бальк высунул голову из-за наклонной бортовой брони и посмотрел вперед, куда предстояло через минуту-другую бежать, рассыпавшись цепью, он увидел именно такую картину: две трассы, одна за другой, окатили вспышкой электросварки мотор и борт идущего впереди бронетранспортера. Он сразу остановился, задымил. Вспыхнул бензобак. Еще один взрыв сотряс бронированную машину. В снег, словно порванная гирлянда, полетели звенья гусениц и куски искореженной обшивки. А возможно, и части человеческих тел. Потому что никто из «гроба» так и не выскочил.

– Там никого не было, – сказал, перехватив его взгляд унтер-офицер, которого назначили командовать ими в предстоящей атаке. – Только водитель и пулеметчик. Больше никого.

– Я – пулеметчик. Я – пулеметчик! – уже громче, почти крича, повторил Бальк и уставился на унтера. Должно быть, в глазах его была ненависть. Но он тут же овладел собой и подумал: за что мне ненавидеть его, если он такой же, как и я, и его так же, как и меня, послали в бой, под пули иванов, которые, кажется, намертво врылись в землю по опушке леса и вдоль большака, и не собираются отходить.

– Сейчас... Сейчас... – бормотал унтер.

Похоже, и он был не в себе. И только сейчас Бальк заметил, что рука его была перевязана, а рукав шинели и френча болтался, разрезанный до локтя. Видимо, его ранение не позволяло ему оставаться в тылу, вне боя, и его, наспех перевязав и вколов дозу морфия, снова послали в бой.

Рядом с унтером сидел на корточках пожилой ефрейтор с кайзеровскими усами. Он него пахло табаком и луком. Этого, должно быть, вытащили в строй из команды «кухонных буйволов»<sup>[6]</sup>. «Кайзер», по сравнению с унтером, выглядел молодцом. Он держал во рту незажженную трубку с коротким чубуком и, чтобы сохранить равновесие, умело упирался прикладом карабина в железное днище кузова. У «Кайзера», несмотря ни на что, был такой вид, что он готов выполнить любой приказ и только ждал, когда тот приказ прозвучит.

Так оно и произошло. Бронетранспортер вдруг резко затормозил. Всех бросило к правому борту и вперед. Только «Кайзер» остался стоять на своей «треноге», словно ничего не произошло. Раздался сигнальный свисток. Унтер первым встал на ноги и тут же получил осколок в лицо. Свисток выпал из его распахнутого рта, на мгновение застывшего в гримасе недоумения. Пока Бальк скользил взглядом по лицу убитого

командира, а потом по обреза борта, прокуренные усы «Кайзера» уже мелькнули в проеме. Следующим из «гроба» выскочил Бальк и побежал по черному снегу в ту сторону, куда двигалось все. Дважды он перешагивал через тела, лежавшие в снегу среди подрубленных пулями кустарников. Одно из них показалось Бальку еще живым. Но какое до этого было дело ему и всем им, идущим сейчас на смерть?

Бальк вытащил из подсумка обойму и зарядил винтовку. Уже надо было стрелять. Окопы русских виднелись впереди метрах в ста или даже ближе. Над пологими шапками брустверов полыхали частые вспышки. Бальк вскинул винтовку и раз за разом сделал несколько выстрелов. Вскоре магазин опустел. Он зарядил новую обойму. И ее расстрелял, сделав вперед всего несколько шагов.

В русских окопах запылало клочковатое пламя, и стая пуль ударила по цепи. Трое или четверо справа и слева сразу упали. И только один из упавших нашел в себе силы поползти назад, в тыл.

– Черт! У иванов крупнокалиберный пулемет! – закричал солдат, идущий рядом с Бальком.

– От него нигде не спрячешься!

– Нам здесь конец!

– Вперед! – рывкнул вдруг идущий впереди и окинул их свирепым взглядом.

Бальк узнал в нем «Кайзера». Этот «кухонный буйвол», похоже, когда-то был храбрым солдатом. Должно быть, он воевал в этих болотах еще во время Великой войны. Он здесь как у себя дома. Ему на все наплевать. Пуля, ему предназначенная, давно сгнила в земле. Она давно утонула в болоте. И поэтому он не боится ничего. А может, и пуля, предназначенная ему, Бальку, тоже пролетела мимо, и теперь ему не грозит ничего. Как говорят русские, пуля – дура...

Бальк заметил взгляд «Кайзера», на мгновение остановившийся на нем, и прокуренные усы тыловики шевельнулись в подобии улыбки. «Кайзер» как будто подбадривал его, словно говорил: умереть, дружище, в этом аду не самое страшное для солдата. *Мы рождены, чтобы умереть.*

Звягин с двумя бойцами из первого взвода быстро миновали изрубленный снарядами березняк. Там и тут валялись искореженные части от «сорокапятков». По глубоко прорезанному следу они выбрались к оврагу. Отпрянули в сторону, когда очередная трасса бронебойного или подкалиберного снаряда, сверкнув нескольких шагах от них, словно разгоняясь в узком коридоре оврага, вырвалась в поле.

Орудие стояло прямо на земле. Единственное уцелевшее колесо было

снято. На колесе, как усталый сторож, сидел артиллерист, в кровавых бинтах, голый по пояс и, покачиваясь взад-вперед, сосредоточенно смотрел перед собой. Он что-то повторял, какое-то слово. «Сорокапятка», лишенная колес, с поднятым нижним бронещитком, сидела низко, словно наполовину врытая в землю.

Возле прицела на коленях в снегу стоял капитан Самсонов. Он нагнулся к прицелу, замер, подкрутил маховички. Выстрел! Комбат повернул свое изможденное лицо и посмотрел на прибывших.

– Что вам тут надо, пехота? – И матерно выругался. – Драпаете?! Идите в свои окопы.

– Нас к вам послали, – тут же нашелся Звягин. – На подмогу.

– Кто?

– Ротный наш. Старший лейтенант Нелюбин. Кондратий Герасимович.

– А, председатель... – И капитан Самсонов улыбнулся мучительной улыбкой. – Видите, ствол перегрели. Может заклинить.

– Капитан-то, похоже, сильно контужен, – тихо сказал Морозов. – С таким мы тут навоюем...

– Приказ слышал? – Звягин перекинул ремень автомата через голову. – Нам приказано быть тут.

Капитан Самсонов уткнулся лбом в прицел и закрыл глаза. Похоже, он спал. Но сон его длился не больше минуты. Он посмотрел на сержанта, единственного уцелевшего из всей батареи артиллериста, и сказал негромко, обыденно, как будто впереди, перед линией пехотных окопов, не было никаких танков:

– Банников, подкалиберный.

– А ну-ка, ребята, тащите сюда все, что найдете, – приказал им Банников и кивнул в сторону вырубленного снарядами березняка.

Бойцы кинулись перетаскивать ящики со снарядами с разрушенных артиллерийских позиций.

– А теперь прицел – на осколочный! Банников, фугасный!

Сержант тут же дослал в казенник снаряд. Выстрел! Гильза, обметанная пороховой копотью, со звоном вылетела между станин.

– Фугасный!

Выстрел!

Они продолжали стрелять. Бойцы подносили снаряды. Банников быстро заряжал. Комбат Самсонов наводил и стрелял. Из ушей его текла кровь. Иногда он убирал ее рукавом и ругался.

Раненый, голый по пояс, перетянутый бинтами поперек торса, все так же сидел на колесе, покачивался взад-вперед и повторял одно и то же.

Над оврагом с воем проносились снаряды, рвались вверх. Осколки на излете шлепались в снег, шипели и ворочались, как живые, быстро меняя цвет окалины. Видимо, их позицию все же засекли. Но закинуть сюда снаряд не могли.

– Капитан! Танки на позициях! – закричал сержант.

– Вижу! Подкалиберный!

Они сделали еще несколько выстрелов. Капитан Самсонов вытер рукавом кровь с шеи и сказал:

– Банников, поднеси мне поближе остальные снаряды. Бери лейтенанта и уходи. За лейтенанта – головой... Понял? Вы – тоже. Спасибо за службу. Председателю передайте... – Комбат обвел их тяжелым взглядом и устало махнул рукой.

## Глава двадцать шестая

– Ну, показывайте, где ваша дохлятина? – И оперуполномоченный Флягин уставился хмельным пронзительным взглядом на Зинаиду.

Лейтенанта госбезопасности Флягина, районного оперуполномоченного НКВД, Зинаида видела во второй раз. И тогда, в правлении, когда ей пришлось прислуживать ему, и теперь, когда он грозным хозяином перешагнул порог коровника, Флягин живо напомнил ей Кузьму Новикова. Давно зарыт где-то на андреенском кладбище и проклят прудковцами полицей Кузька Новиков, а жизнь вот как поворачивается, что и не хочешь, а вспомнишь, постылого.

– Так их уже давно собаки растаскали, – сказал Петр Федорович.

В голосе председателя Флягин уловил растерянность и, как человек опытный в таких делах, решил тут же за этот кончик и ухватиться.

– Молчать! – вскинул он руку. – Я спрашиваю Зинаиду Петровну. Как я понял, именно в группе Зинаиды Петровны допущен массовый падеж скота?

– Какой же это массовый падеж, товарищ оперуполномоченный. Ветеринар нам нужен. Вот что. Тогда молочные телятадохнуть не будут. – Зинаида смотрела на него широко распахнутыми глазами, и в них не было страха.

– Подождите, давайте разберемся по порядку. Телята пали. Но трупов их нет. Где же они? – И оперуполномоченный Флягин снова уставился на Зинаиду. На этот раз он осматривал ее всю, с ног до головы. И внимательные доярки, стоявшие поодаль, это сразу заметили и смекнули, зачем приехал к ним на ферму этот человек в хороших сапогах и шинели из темно-синего добротного сукна.

Неужели кто донес? Неужели в деревне завелся доносчик? В горле у Петра Федоровича от этой мысли пересохло. Жили себе, жили, всякую власть терпели... Телят-то Степанята забрали. Вот куда они подевались. И это все на ферме знают. Пришел, поскрипел деревяшкой Дмитрий Иванович Степаненков, сказал: «Не закапывайте, бабы. Я заберу. Мяса тут нет. А булдыжки с капустой до весны варить будем». Погрузил на саночки и увез. Голод не тетка. Каково жилось этой семье, все знали. Петр Федорович вечером, когда стемнело, завез им полмешка пшеницы. Занес в сенцы, сунул в угол, прикрыл какой-то старой ветошью. Дверь из дома отворилась, вышел хозяин. Посмотрел на председателя, на мешок и сразу

все понял. «Детям, Митюшка. Детям. Чтобы на наши могилки не плевали». – «Спасибо, Петр Федорович».

А если Флягин пронюхал и про пшеницу...

– А может, Зинаида Петровна, телят вы намеренно?.. Акт о падеже есть, а к нему – ни рогов, ни копыт.

– Да что вы такое говорите! Вон, спросите у кого хотите! Все подтвердят! – И Зинаида так посмотрела на оперуполномоченного, что другой бы на его месте либо обозлился, либо сменил тон.

Флягин уже в открытую любовался ею. Ишь, как разругалась, на свежем-то воздухе. Кровь с молоком! Погоди, погоди...

Он составил протокол. Заставил Зинаиду расписаться. А через два часа, выпив в правлении еще несколько рюмок первача, уехал.

Зинаида не находила себе места. Приуныл и Петр Федорович.

– Ничего, доча, ничего, – говорил он ей. – Все образуется. Все пройдет. Никаких улик против нас у него нет. А жилы потянет. Такой человек. Но тут держаться надо. На своем стоять.

Через несколько дней оперуполномоченный Флягин приехал снова. Зашел в правление, ни с кем не здороваясь, прошел в кабинет председателя и сказал ему:

– Собирайся.

Продержал Петра Федоровича до вечера. Снова те же вопросы: оккупация, лес, партизаны, Курсант, казаки... Петр Федорович подписал протокол допроса и вышел на морозный воздух. Возле фонарного столба увидел Гнедого, запряженного в председательские легкие сани с кошевой и дочь, стоявшую под фонарем.

– Ну что, тятя? – спросила она.

– А все то же.

Домой в Прудки они приехали за полночь. Петр Федорович попросил постелить ему на печи. А утром не встал. Заболел.

На ферме к Зинаиде подошла Степанида Ермаченкова и сказала:

– Погубишь ты отца. Да и у нас председателя лучше, чем Петр Федорович, не будет.

– Ты о чем? – насторожилась Зинаида.

– А то ты сама не понимаешь? Флягин этот коршуном на тебя смотрит. Со стороны даже видно. Живет-то он в райцентре, люди говорят, бобылем, без бабы. Слышь, Зинаида?

– Ну и что? У меня муж есть.

– Муж... Муж-то у тебя, Зина, незаконный. Да и у всех у нас мужья есть. Только где они? А детей растить надо. Кормить, одевать. Ты подумай.

Курсанту твоему никто не скажет. Ты наш народ знаешь. А я тебе подскажу, что надо сделать, чтобы ничего этот Флягин тебе не оставил...

– Да ну тебя, тетка Степанида, – отмахнулась Зинаида. – Я и думать об этом не хочу. Кто ж я такая тогда буду?

– Ну, гляди. Флягин просто так не отстанет. Затаскает отца. Сживет со свету. Вот увидишь.

Зинаида шла домой, и слезы примерзали к ее щекам. Кому пожаловаться? С кем посоветоваться? Анны Витальевны нет. Саша далеко. А Флягин, вон он, на пороге...

## Глава двадцать седьмая

Воронцов понял, что им не удержаться, в тот момент, когда за их спинами замолчала последняя «сорокапятка».

Сразу два танка вышли на линию окопов первого взвода. Один с ходу раздавил пулеметный расчет, качнулся, вминая в мерзлую землю бруствер вместе с «максимом», и повернул в сторону артиллерийских позиций, где, казалось, уже никого не было. Второй начал утюжить окопы взвода старшего сержанта Численко, именно в том месте, где Воронцов в последний раз видел взводного. Но к прорвавшемуся танку с разных сторон метнулись несколько человек и забросали его гранатами. Танк завертелся на месте, разматывая ленту перебитой гусеницы. На его корму летели все новые и новые гранаты.

Перед третьим взводом атака немцев застопорилась. Два танка попали на мины. Один горел. Другой, потеряв гусеницу и несколько катков, стоял метрах в пятидесяти от линии окопов и вел огонь из башенного пулемета. Его добивали бронебойщики. Крупнокалиберные пули чиркали, вспыхивали на боковой броне, развернутой к ним под углом.

Веретеницына и санитары стаскивали раненых в лес. Там самых тяжелых тут же перегружали в широкие сани и увозили в сторону деревни. Те, кто мог идти, шли и ковыляли по лесному проселку своим ходом.

Она перевязывала раненого в живот. Боец оказался совсем молоденький, лет девятнадцати. Несколько осколков, раздробив ребра, вошли под углом и, видимо, глубоко. Раненый на глазах угасал. Он уже не стонал от боли, словно находясь в некоем ином состоянии, когда умирающему уже не страшно.

– Этого – срочно грузите вперед, – приказала она пожилому санитару, который только что вернулся из Дебриков.

Она быстро написала на клочке бумаги время ранения, сунула сопроводительную записку за отворот шинели и наклонилась над следующим.

Раненых было много. Они уже не успевали вывозить самых тяжелых. Чем дольше длился бой, тем больше их поступало и тем серьезнее были ранения. Рядом работала полковая санитарная рота. Там распоряжалась старший лейтенант Игнатьева. Вначале поступавших из окопов раненых они складывали в сторожке. Потом прибежал какой-то лейтенант, что-то сказал, и людей начали эвакуировать в тыл. Кое-кого из своих старшина



Веретеницына успела отправить на их транспорте. Санных повозок вначале казалось много. Но потом, когда они, одна за другой, исчезли за ельником и полянка перед сторожкой опустела, она вдруг поняла: чтобы вывезти всех, нужно еще хотя бы трое-четверо саней.

И в это время со стороны дороги, откуда постоянно приносили раненых, закричали:

- Прорвались!
- Танки!
- Разбегайся кто куда может!

Веретеницына схватила лежавшую в снегу брезентовую сумку с красным крестом, сунула в нее «вальтер» с двумя запасными обоймами.

Этот небольшой трофейный пистолет был для нее не оружием – памятью. Когда лейтенант Сливко вытащил из полевой сумки и протянул ей трофейный офицерский «вальтер», она увидела, какой он красивый, и поцеловала Сливко. Но пистолет она приняла не как оружие, а как сувенир, как вещь, которая вряд ли когда-либо пригодится. Ей было просто приятно получать от него все, как часть его самого. И все, полученное от него, она хранила. «Зачем он мне? – сказала она тогда. – Я ведь и стрелять-то не умею». Стрелять она умела. И стреляла неплохо. И свою дорогу на фронт начала не с курсов санинструкторов. Курсы были потом. Ускоренный выпуск. А вначале ходила в городской тир и училась стрелять из всех видов оружия, которое было у тренера. Но Сливко она сказала нарочно, чтобы тот поучил ее правильно держать пистолет, как заряжать, куда нажимать, какую пипочку куда перевести, чтобы поставить на предохранитель. И Сливко учил. Обхватывал ее своими огромными руками, прижимал к рукоятке «вальтера» ее ладони, осторожно засовывал под предохранительную скобу спуска ее указательный палец, который она вначале нарочно держала вытянутым. Говорил: «Вот так, вот так... Молодец. Смелее. У тебя получается очень хорошо. Ты прилежная ученица». И она таяла в его руках, как мартовский снег.

Никогда потом, после Сливко, она не стреляла из этого пистолета. Однажды Гиршман сказал: «Давай твою игрушку. Почисти. Оружие должно быть в чистоте и в смазке». – И нахально посмотрел ей в глаза. Но она оттолкнула его и сказала: «Пошел ты!.. Думаешь, если пьянствую с тобой, то и все остальное тоже твое?»

Она прислушалась. Там, в глубине дороги, действительно на какое-то время все затихло. Стрельба и крики сместились правее. Потом лопнуло несколько гранат, но уже значительно ближе. А вскоре послышался гул танковых моторов. От этих звуков по телу пробежала дрожь. Веретеницына

сразу почувствовала себя беспомощной. Раненые тоже все поняли и затихли. Но оцепенение, охватившее Веретеницыну, длилось всего мгновение.

По дороге бежал солдат и размахивал винтовкой:

– Уходите! Уходите в лес! Ротный приказал – в лес!

Веретеницына узнала в бегущем бойца из первого взвода. Фамилия его, кажется, Колобков или Колобаев. Боец подбежал ближе, оглянулся.

– Меня к вам старший лейтенант Воронцов прислал! – запыхавшись, торопливо говорил он, перекидывая ремень винтовки через голову, по-кавалерийски. – Приказал всех, кто остался, эвакуировать в лес. Давайте, товарищ старшина. Я теперь с вами. Так приказал ротный.

Она знала, что старший лейтенант Воронцов не бросит ее.

– Значит, он жив? – переспросила она.

– Жив! Жив! – Боец снова оглянулся и сказал: – И я вот, выходит, жив. А Степина убило. Ивакина, Кускова, Громова тоже. Всех троих – одним снарядом. Сколько ж там народу побил! – И, спохватившись, вытянулся перед Веретеницыной и вскинул грязную ладонь к обреза каски:

– Гвардии рядовой первого стрелкового взвода Колобаев! Прибыл в ваше распоряжение!

Ездовые не возвращались. Прибыло двое саней санитарной роты. Старший лейтенант Игнатова и санитары быстро погрузили на них раненых. Веретеницына успела подтащить двоих своих, одного положила на свободное место, а другого свалила прямо на раненых, когда сани уже двинулись и ездовой начал выворачивать на проселок.

– Что же вы делаете! – услышала Веретеницына возмущенный голос начальника санроты.

– Я делаю то, что должна делать, – не оборачиваясь, сказала Веретеницына и зашагала в ельник, где лежали остальные.

Снег повалил еще сильнее. Даже звуки боя, доносившиеся со стороны большака, стали глуше, тише и как будто отдалились.

Они взваливали раненых на березовые волокуши, связанные поперек ремнями, и утаскивали их в ельник, подальше от проселка, от сторожки. Раненых было четверо. На санях места им не хватило. Если бы вернулся хотя бы один из санитаров, Веретеницына смогла бы отправить последних. Двоих она уже отправила. А этих четверых как-нибудь, друг на дружку, вместили бы на одни сани. Но никто из ее санитаров не возвращался. И ждать их было уже бессмысленно и опасно.

Волокуши, сделанные из молоденьких берез, были легкими, гибкими, удобными. Справляться с ними можно было и в одиночку. Снег не

особенно налипал на них. И они с Колобаевым быстро перетащили раненых в глубину ельника. Потом Колобаев куда-то исчез. Вскоре появился. Сказал:

– Старшина, там впереди – овраг. Давай – туда. Там безопасней.

А позади вдоль проселка и вокруг сторожки уже рвались снаряды.

Веретеницына перекинула через плечо мокрый ремень лямки и потащила волокушу дальше. Впереди покачивалась широкая спина Колобаева, его каска, замотанная куском белой материи. Воронцов прислал ей надежного солдата, с беспокойством за судьбу ротного подумала о нем.

Что толкало ее к нему, к старшему лейтенанту Воронцову, она и сама не понимала. Может, просто та самая бабья тоска по мужчине, который, хотя бы изредка, но бывал бы рядом. Может, попытка погасить отчаяние, которое не отпускало ее после гибели Сливко. А может, война. Которая все спишет. Но скорее всего, и то, и другое, и третье. И то, что Воронцов прислал ей такого расторопного солдата, наполняло ее чувством, которое было больше, чем благодарность.

Лямка волокуши больно врезалась ей в плечо. Она подсунула под нее шапку. Коса упала с затылка и моталась спереди, как ненужная. Раненый лежал смирно, глядя в небо немигающими глазами. Она несколько раз уже оглядывалась на него. Потом высвободила лямку, бросилась к раненому.

– Ты что, братик? Ты ж живой! – И она провела ладонью перед его глазами.

Но раненый и на этот раз не смигнул.

– Живой, сестрица, – ответил он.

– А что ж ты так меня пугаешь?

– На божий свет наглядеться хочу. На то, как снег на землю падает.

– Насмотреться он хочет... – засмеялась она сквозь дрожь. – Насмотришься еще. У тебя ранение не страшное. Вот подлечат в госпитале, и еще в роту к нам вернешься. Как же мы без тебя, братик, воевать будем? Ничего у нас не получится без тебя.

Она знала, что с тяжелыми надо разговаривать. Так им легче переносить боль. И легче прощаться с жизнью. За эти месяцы пребывания на передовой старшина медицинской службы Веретеницына многим спасла жизнь, но многим и закрыла глаза.

Они скатились в овраг. Веретеницыну спасали стеганные штаны и валенки.

Колобаев утоптал под елкой снег, обломал нижние лапки. Ворох лапок застелил плащ-палаткой. Сложили раненых. Плотно придвинули их друг к другу и сверху накрыли одеялами.

- Колобаев, ты оставайся тут. Винтовка у тебя исправная?
- Исправная.
- А я пойду схожу в сторожку.
- Зачем?
- Посмотрю, кто там остался. Может, найду там что. Сани у них были.

Гляну. Вдруг бросили что...

Колобаев поморщился. Она почувствовала, что солдат не хочет оставаться один с ранеными.

- А вдруг, кто из них помирать станет?
- Я скоро приду.

Она переложила «вальтер» из сумки за отворот полушубка и пошла по своему следу назад.

В момент прорыва немецких танков и пехоты в полосе обороны Восьмой роты капитан Солодовников находился левее большака на НП Шестой роты.

Перед окопами Шестой роты лежало открытое поле. Именно здесь ожидалась танковая атака немцев. Но они пошли узким клином вдоль большака.

– Прорыв на участке Восьмой, товарищ Первый, – доложил Солодовников в штаб полка.

Доклад принял майор Соловцов. Начштаба какое-то время молчал. Известие о прорыве немцев справа от большака, в узкой горловине, где их не ждали, видимо, ошеломило штаб полка. Но уже через мгновение комбат услышал голос майора Лавренова:

– Солодовников, ты там не паникуй. Кого там утюжат? Нелюбина или Воронцова?

– Воронцова.

– Помоги ему, чем можешь. А я сейчас к вам подброшу дивизион гвардейских минометов. Твоя задача – обеспечить точными данными. Чтобы они там не добились твоих рот. Понял?

– Так точно, понял.

Это было не все, что хотел сообщить комбат-3 командиру полка. И тот, на конце провода, видимо, почувствовал его напряженное молчание в трубку.

- Что там еще?
- Старший лейтенант Игнатьева пропала.
- Как пропала?

– Лейтенант Чеховский, назначенный старшим обоза, доложил, что Вера Ивановна с тремя медсестрами и группой раненых остались в лесной

сторожке. Район сторожки полчаса назад занят немцами.

– Черт знает что! – В голосе майора Лавренова чувствовалось раздражение, но не более того.

Что это, – подумал Солодовников, – самообладание? Или что-то иное?

– Ну, вы там, на месте, организуйте, что ли, поиск. Вы слышите меня, капитан?

– Слышу прекрасно.

– Пошлите надежных людей. Разведчиков. Пусть попытаются что-то сделать. Але! Але! Вы слышите меня?

– Слышу.

– А прорвавшихся немцев вы отсекайте! Отсекайте их к чертовой матери и загоните в лес! У них не может быть много танков!

– У них много танков, товарищ Первый.

– Сколько?

– Атаку начинали шестнадцать танков и одиннадцать бронетранспортеров. Шесть танков и восемь бронетранспортеров подбито и сожжено.

– Ну вот! Очень хорошо дерутся твои гвардейцы, капитан. Список особо отличившихся после боя представьте в штаб полка. Все. Конец связи.

Список отличившихся, поморщился капитан Солодовников. Большая часть отличившихся не доживут до конца этого боя. И он положил отяжелевшую трубку на рычаг полевого телефона.

«Кайзер» бежал впереди. Бальк видел его спину, затылок стального шлема, иногда крючок прокуренного уса, будто вылепленного из глины. Горящий бронетранспортер они обошли стороной. Ну его к черту. Хорошо, что они успели выбраться из него. «Гроб» притягивал к себе все снаряды и пули. Без него было как-то спокойнее. Жаль только, не успел выбраться водитель. Но тут уж – кому какая судьба.

Правее уже видны были окопы русских. Трое иванов волокли на санках тяжелый пулемет. Они двигались в сторону березняка, видимо, к запасной позиции, боясь, что их вот-вот забросают гранатами. И в это время «Кайзер» выхватил из-за ремня длинную «толкушку», отвинтил колпачок и поймал вывалившийся вытяжной шнур с фарфоровым шариком. Граната полетела в сторону пулеметного расчета иванов. Бальк видел, как те шарахнулись в стороны от своего тяжелого ДШК. Взрыв! «Кайзер» сразу изменил направление движения. Он перепрыгнул пустой окоп русских и метнулся догонять раненого пулеметчика, видимо, решил достать его штыком. Бальк бежал следом. Он старался не отставать от «папаши», который оказался очень проворным и выносливым, несмотря на свой

возраст.

Здесь, на позициях русских, начиналась уже другая война. Бальк нащупал висевший на ремне штык-нож, выхватил из ножен и быстрым движением защелкнул его на стволе своего «маузера». Винтовка сразу стала тяжелее. Но теперь не страшно, если какой-нибудь иван выскочит ему навстречу.

Рядом с черным пятном гранатного разрыва Бальк увидел тела двоих пулеметчиков. Третий куда-то исчез. Исчез и «Кайзер». Левее двигался вдоль цепочки одиночных окопов мощный «Т-IV» и поливал перед собой огнем из всех пулеметов. Со всех сторон в него летели гранаты. Но пока никакого существенного вреда ему не причиняли. Балька догнала группа солдат с нашивками танкового полка. Группой командовал унтер-офицер громадного роста. Нет, с ними Бальку идти не хотелось. Он поискал глазами «Кайзера». Скрюченная фигура «папаши» мелькала в березняке, вернее, в частоколе, который остался от перелеска после нескольких минут боя. Бальк метнулся к нему.

– Туда, ребята! – указал винтовкой «Кайзер» в сторону проселка, по которому гуськом продвигалась группа громадного унтера.

Теперь обстановка немного прояснилась. Линию обороны русских они прорвали и продвигаются в сторону Дебриков, той самой деревни, которую их взвод накануне оставил. Нет, не оставил, подумал с болью Бальк. Взвод, почти всем составом, остался там.

Вскоре впереди показалась сторожка. Здесь была оборудована запасная позиция. Теперь кругом виднелись воронки и кровавые бинты. Под соснами затоптанный снег и все те же обрывки бинтов и кровавой одежды. Русские, видимо, устроили здесь пункт сбора раненых.

Группа громадного унтера сразу охватила сторожку. Один из солдат вытащил гранату. Но унтер сделал знак рукой, и тот сунул длинную ручку гранаты обратно за ремень.

Веретеницына бежала по своему следу. Тяжелая санитарная сумка была по бедру. Но бросать ее она побоялась. В ней оставались кое-какие медикаменты, пакет с сухарями и, самое главное, письма от мамы и брата. Брат воевал в 46-й армии на 3-м Украинском. Мама жила в Коломне. Связка писем была талисманом старшины медицинской службы Веретеницыной. Она никогда не расставалась с ней. Ей казалось, что, пока письма от мамы и брата с нею, ничего плохого не может случиться ни с мамой, ни с братом, ни с нею самой.

Когда до проселка осталось метров пятьдесят и за ельником Веретеницына увидела крышу сторожки, в стороне большака загремело.

Частая винтовочная стрельба свидетельствовала о том, что противники находятся друг с другом в непосредственном огневом контакте и расстояние между ними, скорее всего, уменьшается.

Волокуши хорошо маскировали их следы. И Веретеницына свернула правее. К сторожке она вышла по целику. Вытащила из-за пазухи «вальтер», передернула затвор и начала медленно приближаться к крыльцу. Распахнулась дверь, и в проеме показалась фигура старшего лейтенанта Игнатъевой. Веретеницына ее знала. Несколько раз встречались в госпитале.

– Повозки не вернулась? – спросила Игнатьева.

– Нет. Вам надо уходить. Сейчас здесь будут немцы.

– Пройдите сюда. – И Игнатьева жестом руки пригласила ее войти.

Веретеницына вбежала в сторожку. Запах крови, пота, медикаментов и ужаса ударил в ноздри. На полу лежали раненые. В сторожке было тепло, натоплено. У окна, склонившись над эмалированным тазом с водой, стояла медсестра в накинутом на плечи полушубке. Вторая перетаскивала раненого с забинтованной головой, видимо, пытаясь пристроить его поближе к натопленной печи.

– Надо уходить! Уходить! Уходить! – закричала Веретеницына и схватила первого попавшегося раненого.

Он лежал ближе всех к двери. Он застонал. Посмотрел на старшину испуганными страдающими глазами и обеими руками ухватил ее за плечи. Она поняла, что он ее не отпустит. В распах полушубка с лейтенантскими погонами виднелось голое тело, плотно запеленутое свежими бинтами.

– Уходить, товарищ старший лейтенант!

– Куда я от них?..

Но Веретеницына, казалось, не слышала ее. Она потащила раненого лейтенанта к дверному проему. Тот, пытаясь помочь ей и себе, судорожно двигал ногами.

– Санки! Какие-нибудь санки есть?

Санки она увидела возле стены. Положила на них лейтенанта, укутала его шинелью, валявшейся возле порога, и впряглась в пеньковые лямки.

Я перетащу их всех в лес, лихорадочно думала она. В лес. Игнатьева просто испугалась. Растерялась и не знает, что делать. Никто из тыла сюда уже больше не вернется. И поэтому надо действовать самим. Пока есть время. А старший лейтенант просто растерялась.

Лишь только она успела затащить сани в ельник, на проселке захрустел снег под ногами десятка бегущих людей. Веретеницына протащила сани еще метров пятнадцать и присела на корточки. Надо было

отдохнуть и осмотреться. Направление движения она не потеряла, шла правильно. Там, впереди, овраг, где ждут ее Колобаев и раненые. Она привстала и увидела мелькающие за ельником немецкие каски. Послышалась отрывистая команда на немецком языке. Она схватила пеньковую веревку и потащила сани в глубину леса.



## Глава двадцать восьмая

Кирдяй снова поджидал ее у дороги. Будто знал, когда Зинаида будет возвращаться с коровника домой. Издали махнул белой бумажкой. То, что это было не письмо, Зинаида поняла сразу. Извещение! Сердце ее сдавило так, что она охнула и опустилась на корточки. Потом взяла себя в руки и пошла навстречу почтальону.

Кирдяй улыбался, что-то балагурил. Она выхватила из его руки казенную бумагу с синим штемпелем, и от души отлегло.

Это было извещение из районного отдела НКВД за подписью тов. Флягина: гр-ке такой-то, явиться туда-то, такого-то числа во столько часов.

Никому она не показала извещение.

Через два дня запрягла Гнедого и поехала в райцентр.

Флягин сидел на стуле с высокой спинкой, обитой черным дерматином. Ей подвинул табуретку, стоявшую в углу. Обошел сзади и потянул воздух. В кабинете пахло неприятно. Черт возьми, подумал он, неужели уборщица, эта деревенская дура, снова закрыла в его кабинете кота? Но пахло не кошачьим пометом, а чем-то более отвратительным. И вдруг он понял, что пахнет от нее, от той, которой он любовался и которую ждал, рисуя в воображении самые соблазнительные и смелые картины.

Флягин мгновенно все понял. Вначале появилось чувство неловкости. Потом захлестнула обида. Потом злость. Все это перемешалось подобно запаху, исходившему от девушки, которая с невинным видом сидела на табуретке в его кабинете и ждала своей участи. Он сунул стопку чистых листов приготовленной бумаги в стол. Спросил, усмехнувшись:

– Так вы спасались от немцев?

– Так мы спасались от немцев, – ответила Зинаида.

– Ладно. Поговорим в другой раз. Свободна.

Она шла по узкому коридору, чувствуя, как страх разжимает свои железные когти и ей свободнее становится дышать и думать. Когда подала отмеченный Флягиным пропуск дежурному милиционеру у входа, поняла, что густая краска заливает ее лицо и шею. Милиционер взял пропуск и напряженно посмотрел ей вслед.

Она ликовала.

## Глава двадцать девятая

Воронцов лежал в снегу на краю болота, короткими очередями вел огонь по мелькающим среди берез фигуркам немецких пехотинцев.

Немцы разрезали роту на две части. Основной удар пришелся на второй взвод, и взвод был раздавлен, уничтожен почти целиком в первые же минуты боя.

Рядом, настроив шептало на одиночный огонь, стрелял пулеметчик Темников.

– Что, ротный, прижали нас к болоту! – крикнул Темников.

Пожилой пулеметчик ждал не просто его ответа, а решения. Его, командира роты, немедленного решения, которое избавит их, оттесненных к болоту во время прорыва танков и теперь оказавшихся в безнадёжной ситуации. Все понимали, что патронов хватит еще на несколько минут.

– Всем переместиться на левый фланг! – крикнул он и привстал на локте. И в это время пуля содрала с березки кору и скользнула под его шинель. Удара он не почувствовал. Значит, прошла мимо. Он пошевелился. Нет, ни боли, ни немоги он не ощущал.

Солдаты закопошились, начали переползать поближе к нему и к Темникову.

– Видать, пора переодеваться в чистое, – невеселым нервным смешком засмеялся помкомвзвода Радченко.

– Пора, – сказал Воронцов и достал из полевой сумки трофейный «парабеллум».

В диске автомата оставалось всего несколько патронов, на одну хорошую очередь. Воронцов берег их на тот случай, если немцы, тоже залегшие за березняком, вздумают подняться. А может, и хорошо, что они поднимутся? Тогда станет видно, куда надо прорываться. Да и встречный огонь будет не таким прицельным и сосредоточенным. Танки и основная часть пехоты ушли в сторону Дебриков. А тут немцы оставили тех, кто должен их добить или принудить к сдаче.

– Слушай мою команду! – Воронцов встал на колени, перекинул через голову ремень ППШ, сдвинул его за спину и достал из кобуры второй пистолет. – Сейчас пойдем на прорыв! Прорываемся по тому же маршруту, по которому двигались сюда! Группироваться вокруг меня и Радченко! Раненых не бросать! Приготовить гранаты!

Он выбрасывал в серое пространство отрывистые фразы и видел, как

напряженно, с надеждой слушают его бойцы. И, оглядываясь на эти осунувшиеся от усталости лица, на мгновение вспомнил прорыв под Жарами, два года назад, когда он со своим взводом выходил с остатками 33-й армии к Юхнову. Все было точно так же. Но тогда их окружили со всех сторон. Теперь же за спиной дымилось гнилым туманом незамерзших озер болото. Когда танки смяли второй взвод, несколько человек бросились выламывать шесты и ринулись в болото. Вскоре, один за другим, они исчезли в дымящейся топи. По поверхности гнилого озера плавали одни шесты, и их уже покрывал снег.

– Туда! Пройди по следу и подай знак, если там кто есть! – И «Кайзер» качнул стволом винтовки в сторону молодого ельника, куда уходил свежий санный след.

Бальк взял на изготовку, пригнулся и нырнул в ельник. Он бежал по снегу, как куница, догоняющая белку. Где-то там, за деревьями, спасалась бегством его добыча. Он чувствовал, что вот-вот настигнет ее, и это прибавляло сил, азарта и осторожности. Когда след поворачивал, он останавливался, отводил штыком еловую лапку и выглядывал за поворот. Наконец впереди, совсем рядом, послышались шаги. Бальк придавил приклад к плечу. Огляделся. «Кайзер» остался где-то далеко позади, на дороге. Несколько раз он окликал Балька, но Бальк молчал, чтобы не обнаружить себя.

– Стоять! – выкрикнул он по-русски, выступив из-за белой колонны ели.

Штык его «маузера» качнулся на уровне головы сидевшего в снегу ивана. Палец лежал на спусковом крючке. Можно было стрелять. Тем более что в плен брать раненых...

Один из иванов, тот, который сидел в снегу, был не ранен, более того, это оказалась женщина. Бальк это понял уже в следующее мгновение. Толстая коса темно-русых волос вывалилась из-под сбившейся на затылок шапки из белого каракуля и лежала на снегу, когда русская наклонилась к раненому, лежавшему на санках. Раненый, похоже, был без сознания, а возможно, уже мертв. Но Бальк лишь скользнул по нему взглядом, его интересовала женщина. Он узнал ее.

– Оленуха! – сказал он.

В следующее мгновение Оленуха выхватила из-за отворота полушубка небольшой офицерский «вальтер» и направила его в Балька. Бальк опустил винтовку и сделал Оленухе знак, чтобы она сделала то же. Рука ее задрожала, но «вальтер» она не опустила.

– Не стреляй, не стреляй, не надо, – заговорил он по-русски.

Раненый на санках шевельнулся, открыл глаза. Этот иван, укутанный в плотный кокон бинтов, смотрел на Балька с ненавистью. Его правая рука лихорадочно ощупывала ближнее пространство, и Бальк понял эти движения.

– Не стреляй. Не надо, Fraulein.

Стрельба в стороне сторожки редела и скоро затихла. Это означало, что с иванами там покончили. Снова послышался окрик «Кайзера». Бальк оглянулся, приложил палец к губам и начал пятиться за белую пирамиду ели. По лицу Оленухи Бальк понял, что она не выстрелит. Тот миг, когда она могла нажать на спуск, миновал.

Нелюбин видел, как немецкие танки прорывались на участке Восьмой роты. Видел, как последнее орудие противотанковой батареи через головы первого взвода часто било во фланг. Но немцы уже прорвались, вслед за танками через окопы хлынула пехота и начала растекаться по флангам. Он понял, что, выйдя во фланг, немцы тут же примутся «свертывать» оборону батальона дальше. Воронцову уже не помочь, и он приказал взводу лейтенанта Мороза развернуться фронтом к прорыву и медленно откатываться к окопам взвода лейтенанта Гудилина.

Первый взвод отошел вовремя. Спустя несколько минут участок прорыва был накрыт мощным залпом реактивных минометов. Нелюбин опустил бинокль и почувствовал, что руки его млеют. Теперь стало очевидным, что там, на участке обороны Восьмой, не уцелел никто.

Когда коренастая фигура лейтенанта Мороза замелькала среди берез, Нелюбин вздохнул с облегчением.

Спустя некоторое время прибыл на взмыленной низкорослой лошаденке явно не верховой стати связной из штаба батальона и передал приказ комбата на отход. Роте предписывалось отступать южнее Дебриков направлением на восток.

Но боковое боевое охранение Нелюбин выслал по другому маршруту – вдоль проселка, мимо лесной сторожки и далее на Дебрики – с приказом разыскать старшего лейтенанта Воронцова и вызволить его из окружения, живого или мертвого.

Тяжелые снаряды реактивных минометов начали распахивать поле и березняк, где горели танки и где зачищала последние окопы Восьмой роты немецкая пехота в тот самый момент, когда Воронцов вскочил на ноги и поднял над головой «парабеллум». Основной удар пришелся на поворот дороги и участок проселка, который прикрывала батарея ПТО. Немцев там, кроме санитарных команд и ремонтников, которые к тому времени подогнали тягачи и начали вытаскивать на дорогу подбитую технику,

пригодную для восстановления, не было. Однако залп «катюш» так придавил к земле немцев, атаковавших остатки первого взвода, что прорвавшиеся без единого выстрела миновали участок, отделявший их от леса, который еще минуту назад простреливался плотным пулеметным огнем. Следующий залп «катюш» смешал с землей и снежной пылью пункт первой медицинской помощи немцев и тылы. В черных разрывах и серой снежной пыли, перемешанной с кордитовой копотью, потонул дорожный поворот и все, что было вокруг дороги.

Воронцов бежал, перепрыгивая через тела убитых и раненых, через обрывки одежды и мерзлые глыбы вырванной наружу земли. Откуда-то справа, из дымящейся глубокой воронки, вынырнул старший сержант Численко, что-то крикнул, но не Воронцову, а кому-то еще, и побежал рядом.

– Ротный, справа! – снова услышал Воронцов его голос и следом длинную автоматную очередь.

Там, параллельным маршрутом, продвигалась небольшая группа немецких пехотинцев. Воронцов увидел, как упали двое из них, срезанные очередью старшего сержанта. Уходить левее было уже поздно. Попробуйся они уклониться в сторону, немцы тут же опомнятся и откроют огонь, и тогда мелкий березняк прорывающихся не спасет. И Воронцов повернул прямо на них.

Немцев было не больше шести-семи человек. Двое из них тут же остановились, развернулись и выставили вперед винтовки, решив встретить их на штыки. Воронцов вскинул «парабеллум» и сделал по два выстрела из каждого. Один немец, уронив в снег карабин, начал заваливаться вправо. Второй сделал несколько шагов вперед, навстречу Воронцову, но его тут же сбоку прикладом в висок, сбил Численко. Воронцов выстрелил в мелькающие впереди спины. Они были совсем рядом, шагах в десяти-двенадцати. Он стрелял сразу из двух пистолетов, как учил его когда-то Владимир Максимович. Немцы, видя, что прорывающихся слишком много и им их не остановить, распались по березняку. Двое упали. Их тут же добили прикладами и ножами. Пулеметчик Темников частыми одиночными выстрелами проводил скрывшихся в березняке правее, где дымились воронки, оставленные реактивными снарядами.

Воронцов оглянулся. Никого вроде не потеряли. Даже не ранен никто. Выберемся, выберемся, заколотилась у него под горлом надежда. Он сунул «ТТ» в кобуру и застегнул ее.

– Туда! – указал он «парабеллумом» по просеке, заросшей

кустарником. Видимо, это была лощина, которая там, впереди, возможно, переходила в овраг.

Они пробежали с километр и провалились в снег в неглубоком овражке, укрытом елями.

– Пять минут отдыха, – распорядился он и окинул взглядом всех, кто добежал до этого оврага: пулеметчик Темников, сержант Радченко, Иван Численко, Зиянбаев, Дикуленок, которого он считал погибшим.

Вот и вся рота, скрипнул он зубами и отвернулся.

– Мансур, – окликнул он бронебойщика. – Где лейтенант Одинцов?

– Не знаю, командир. Накрыло нас. Вначале танки. Потом «катюши». Откуда, командир, у них наши «катюши»? Скажи, откуда?

Воронцов встал на колени, вытащил из «парабеллума» полупустую обойму и дозарядил ее.

– Проверить оружие, – сказал он и встал.

Прошли еще километра два. Сержант Радченко, шедший впереди шагах в двадцати, махнул им автоматом и сел на корточки. Они попадали в снег, заняв круговую оборону. Через минуту Радченко вернулся.

– Впереди глубокий овраг, – тихо сказал он. – Там кто-то есть. Разговаривают. И махоркой пахнет.

У Воронцова мелькнула радостная надежда, что кому-то из роты удалось уйти раньше их, и теперь они отсиживаются в лесу, в овраге.

– Пойдем, посмотрим, – сказал он сержанту и толкнул в плечо старшего сержанта Численко. – Иван, остаешься за меня.

Воронцов подполз к обрыву оврага, высунулся и увидел качнувшийся ствол винтовки, а за ним голову Колобаева. Хорошо, что тот его тоже узнал сразу. Опустил винтовку и оскалился, то ли пытаясь улыбнуться, то ли заплакать.

– Колобаев? Где старшина Веретеницына?

– Там. – И Колобаев устало рухнул в снег. – А мы думали, все нам, лабешка. Вы за нами пришли, товарищ старший лейтенант?

Воронцов съехал по склону оврага вниз, подошел к Веретеницыной. Она смотрела на него с такой радостью, что он и сам не выдержал, улыбнулся. И сказал:

– Ну вот, Веретеницына...

Воронцов хотел было сказать своему ротному санинструктору какие-то хорошие слова, подбодрить ее, поблагодарить за службу. Увидев раненых, волокуши и сани, приставленные к ольхе, он все сразу понял. Но слова застревали в горле. Он понял, что они могут прозвучать в эту минуту нелепо. А потому он стал перед старшиной Веретеницыной на колени и

обнял ее. Она уткнулась лицом в его шею и зарыдала. Страх мгновенно схлынул с ее плеч, как тяжелый снег с сосенки, и на душе стало так легко и столько сил она в себе сразу почувствовала, что тут же кинулась поправлять одеяла, которыми были укрыты раненые. И все время взглядывала на своего ротного, и веря, и не веря, что он снова рядом.

Зимние сумерки приходят рано. В хмурый день и вечер тянутся долго, тоскливо и незаметно переходят в ночь. Уходить они решили ночью, когда хорошенько стемнеет и когда немцы уберутся с дорог и наблюдательных пунктов в теплое жилье, в натопленные землянки и блиндажи, когда на улице и в окопах останутся только часовые. Но, прежде чем уйти, Воронцов принял решение навестить в лесную сторожку. Веретеницына рассказала ему о старшем лейтенанте Игнатьевой, медсестрах и раненых, оставшихся там. Рассказала она и о странном немце, который догнал ее в ельнике, а потом исчез.

– Это тот самый, которому я вправляла вывих плеча, – сказала она.

– Который дал тебе кличку?

– Ну да, – улыбнулась она и вдруг спросила: – А ты правда рад, что я жива?

– Конечно, рад. Зачем об этом спрашивать?

– Мне – надо.

Она достала из санитарной сумки «вальтер» и протянула ему:

– Посмотри, я правильно поставила на предохранитель?

– Правильно. – И он вернул нагретый ее телом пистолет. Воронцов знал, чей это трофей и кто подарил его санинструктору Веретеницыной.

– Как я в него не выстрелила? Я же помню, что жала на курок. Может, рука замерзла?

– У него очень легкий спуск. Ты об этом немце никому не рассказывай. Поняла?

– Поняла. А кто он такой? Откуда вы его привели?

– Из лесу.

Веретеницына посмотрела на него так, как минуту назад, и сказала:

– Ладно. Я все поняла.

Солдаты тем временем делали волокуши, чтобы забрать сразу всех.

Часовой, стоявший вверху, за огромной елью, подал сигнал. Сразу все рассыпались среди деревьев. Защелкали затворы. Наступила тишина.

– Стой! Кто идет? – послышался окрик часового.

– Седьмая рота! – отозвался лес.

Так по следу группы Воронцова на овраг вышло боевое охранение Седьмой роты. Пятеро бойцов с сержантом во главе.

Время от времени Веретеницына осматривала раненых. Поднимала одеяла, ощупывала повязки, разговаривала с теми, кто был в сознании и не спал. Особенно беспокоил ее раненый артиллерист, тот самый лейтенант, которого она притащила на сани из сторожки.

– Кто это? – спросил ее Воронцов, видя, как заботливо она около него вьется.

– Не знаю. Артиллерист. Из батареи «сорокапятков». На брата моего сильно похож. И ростом такой же. – Она погладила лоб и щеки лейтенанта. Тот спал.

– Странная ты, Веретеницына.

– Чем же я странная? – И она напряглась, выпрямив спину.

– Да я и сам не знаю. В тыл тебе надо. – И вдруг осмелел и в упор посмотрел ей в глаза. – Да замуж. Да детей рожать.

Она улыбнулась так, будто давно ждала этих слов от него. И сказала тихо, чтобы услышал только он:

– Надо.

И заныло сердце Воронцова. Посмотрел он в густеющие сумерки оврага, а там, в темных ольхах, среди сиреневых разводов снега, стоит Зинаида. Он закрыл глаза, вновь открыл – там уже никого не было. Он посмотрел на часы:

– Все, Веретеницына, мы уходим. Если все пройдет хорошо, вернемся сюда. А если что не так, вас поведет Радченко. Никого из раненых не бросать.

– Не для того их сюда перетаскивала.

Через несколько минут они ушли. Численко, Темников, Дикуленок, Зиянбаев и еще двое из Седьмой роты. Воронцов всем приказал взять автоматы, зарядить полные диски. Гранат набрали всего четыре. Две оставили сержанту Радченко. На всякий случай.

Они сделали порядочный крюк и зашли к сторожке с восточной стороны. Еще издали увидели дымок над крышей. Он хорошо виднелся на черном фоне елей и сосен. Возле крыльца стояла лошадь, запряженная в розвальни с кошевой. Всмотревшись, Воронцов признал свою Кубанку. Неужто вернулся кто-то из санитаров? Но как он мог пробиться через немецкие посты? В стороне от деревни по-прежнему гремело и вспыхивало. Там шел бой.

Когда подошли ближе, увидели часового. Немец. Он ходил по кругу, обходя сторожку вокруг. Курил. Доносился запах эрзац-табака, который, так же как и махорочный дым, ни с чем не спутаешь.

– Кто пойдет? – И Воронцов вытащил из-за голенища немецкий



офицерский кортик.

Этот кортик подарил ему Иванок во время последней их встречи.

Из темноты вышли двое. Воронцов оглянулся и протянул кортик Зиянбаеву:

– Мансур, только чтобы тихо.

– Понял, командир.

Часовой сделал круг, вернулся и снова скрылся за углом сторожки. Следом за ним скользнула тень бронебойщика. Через минуту тот вышел из-за угла и махнул рукой.

Они оцепили сторожку. Воронцов подошел к Кубанке. Лошадь вскинула уздечку, потянулась к нему и сдержанно заржала, будто понимая эту непростую минуту. Он погладил ее. Подошел Численко, шепнул:

– Пора.

Единственное окно сторожки оказалось занавешенным изнутри. У окна Воронцов оставил двоих. Остальные оцепили крыльцо. Воронцов толкнул рукой дверь. Она подалась. Тихо, без скрипа отворилась в глубину жарко натопленного помещения, освещенного тусклой карбидной лампой. Следом за Воронцовым шли Численко и Темников. Втроем они ввалились в сторожку и закричали, оцетинившись автоматами:

– Hande hoch!

Посредине сторожки за столом сидели четверо немцев в черных комбинезонах с нашивками танковых войск. Пятый тут же вскочил с полатей и кинулся к автомату. Короткая очередь Численко споткнула его, не успел он сделать и двух шагов.

И тут Воронцов услышал тихие всхлипы. Плакала женщина. Постепенно ее всхлипы начали перерастать в рыдания.

– Вот поганцы, – сказал Темников и, оглянувшись на Воронцова, переступил с ноги на ногу.

– В расход их всех, Сашка! – закричал вдруг Численко. – Давай сразу их тут и положим!

– Егорыч, возьми одеяло, прикрой ее. – Воронцов ногой прикрыл дверь.

Темников подошел к полатам, срезал веревки, которыми были привязаны кисти рук женщины, накинуд на нее одеяло и начал искать ее одежду.

– Товарищ старший лейтенант, во что ж мы ее оденем? Не вижу я ее одежды.

– Где ее одежда? – спросил Воронцов и ткнул стволом автомата унтер-фельдфебеля. – Ну, живо!

Немец был пьян. Недопитый ром стоял в бутылках напротив каждого из них. Видно, пили прямо из горлышка.

Немец вскинул голову. Он не хотел повиноваться. Воронцов это сразу почувствовал. Упругая злая волна подхватила, он вскинул автомат и прикладом ударил унтер-фельдфебеля в лицо. Податливо хрустнуло, как будто лопнул перезревшая тыква. Немец упал навзничь, отброшенный ударом в угол сторожки.

Следующим он выбрал молодого белокурого танкиста с Железным крестом на груди. Он задал ему тот же вопрос. Немец некоторое время оцепенело смотрел на него, потом тихо произнес по-русски, с сильным акцентом:

– Сейчас, сейчас...

Только теперь, когда Воронцов увидел на гимнастерке в руках у белокурого знакомые узкие погоны старшего лейтенанта медицинской службы, он понял, кто лежал на полатах. Он выхватил из рук немца гимнастерку, юбку, белье, передал их Темникову и сказал:

– К стене! Всем – к стене!

Танкисты все сразу поняли. Двое тут же встали из-за стола и стали у стены. Белокурый побледнел, замотал головой:

– Герр офицер, я не был с ней! Я не делал этого! Герр офицер! Это против моих принципов! Я никогда не позволял себе так обращаться с женщинами! Поверьте!

– Что он говорит? – спросил Численко.

– Что он не участвовал в этом.

– Врет.

– Егорыч, помоги доктору одеться.

Только раз Воронцов позволил себе оглянуться на Игнатьеву. Она застегивала ремень. Темников помогал ей неловкими движениями. Губы пулеметчика дрожали.

– Раненых они расстреляли, – сказала Игнатова. – Всех. Там, под ольхами.

– С вами был еще кто-нибудь из медперсонала? – спросил Воронцов.

Она узнала его. Он это понял по взгляду, которым она скользнула по нему и тут же отвернулась к окну.

– Да. Две медсестры. Я отпустила их. Еще до того, как они пришли сюда. Девочки успели убежать в лес.

– Егорыч, иди, распряги Кубанку. Там, в кошевке я видел седло. Оседлай.

Темников увел Игнатьеву на улицу. Дверь затворил за собой плотно.

– Становись и ты, – кивнул Воронцов автоматом белокурому. – Будь мужчиной. Это ведь твой экипаж?

– Да. Мы вместе уже три года. – Голос у белокурого дрожал. – Я не дотрагивался до женщины! Клянусь!

Воронцов разговаривал с ним по-немецки, и, видимо, то обстоятельство, что враг говорил с ним на родном языке, оставляло какую-то надежду.

– А кто расстреливал пленных?

Плечи белокурого сразу обмякли, и он шагнул к стене.

Стреляные гильзы катались под ногами, как горох. Сторожка сразу наполнилась запахом порохового дыма.

Они вышли из сторожки, плотно притворив за собою дверь.

– Вера Ивановна, где расстреляли артиллеристов? – спросил Воронцов Игнатьеву.

Она сидела в санях, укутанная одеялами. И Воронцов подумал, как хорошо было бы взять с собою и сани.

– Там. – Она указала в сторону черных ольх.

Убитых уже засыпало снегом.

– Мансур, Дикуленок, идите и осмотрите всех. Возможно, есть живые.

Они вернулись через минуту.

– Их убили выстрелами в голову, – доложил Зиянбаев. – Живых нет.

У танкистов был всего один автомат. Но у каждого на поясе висела кобура с пистолетом.

– Иди жратву заberi, – сказал Численко Дикуленку. – Оружие тоже.

Вскоре тот вернулся с вещмешком в руках и двумя красноармейскими шинелями.

Снегопад не прекращался. Стало еще теплее. Снег лепился на деревья огромными шапками и время от времени рушился вниз. Они шли гуськом. Раненых тащили на волокушах. Пулеметчик Темников вел под уздцы Кубанку. На лошади, укутанная в одеяла, сидела старший лейтенант медицинской службы Игнатьева. Воронцов слышал, как она время от времени всхлипывала.

Как хорошо, думал Воронцов, когда-нибудь проснуться утром и узнать, что война уже кончилась. Но как она может кончиться, если враг еще здесь, в их лесах и полях, на их дорогах? Проснуться и узнать... Воронцов очнулся оттого, что ударился плечом в дерево. Дерево как будто намеренно остановило его на полпути. Он расстегнул сырой ремешок каски и поднял голову. Дерево было высоким и очень напоминало березу, которая стояла на Варшавском шоссе у поворота на его родное село Подлесное. Он

даже потрогал его и понюхал кору. Она пахла так же, как и березы его родины.

На рассвете их окликнул патруль.

– Свои, – ответил усталым голосом Воронцов.

– Стоять! – снова предупредили их из-за сосен. – Свои сейчас в землянках спят. Назовите пароль!

– А ну, иди сюда, недоносок костромской! – закричал Численко. – Я тебе такой пароль назову, что век будешь чесаться!

– Откуда ты знаешь, что я костромской? – снова окликнула их серая хмарь подлеска, но уже несколько другим тоном.

– Да потому что я сам костромской и твои чухломские лапти чую за версту!

– Ладно, земляк, проходи, – засмеялась хмарь.

Так они вышли на позиции обороны соседнего батальона.

Но еще два километра они тащили свои волокуши. В медсанбате сдали раненых. Вошли в первую попавшуюся хату. Предусмотрительный Темников принес несколько охапок сена со двора. И улеглись. Перед сном Воронцов сказал:

– Предупреждаю по поводу старшего лейтенанта Игнатьевой. То, что видели и что слышали, забудьте. Никаких разговоров. Ничего не было. Мы нашли ее в лесу. Все слышали?

– Все понятно, командир.

– Забыли.

– А где же старшина? – спросил кто-то.

– Веретеницыной я приказал остаться с нею, – ответил он.

Проваливаясь в сон, Воронцов слышал над головой то ли шум ветра в сосновых ветвях, то ли шорох снега, падающего с небес. «Спиртику хочешь?» – шептал снег, холодя его щеки и губы. Спиртику бы он сейчас выпил. Но сил не было уже даже на то, чтобы сказать: «Да». Или хотя бы утвердительно кивнуть в ответ.

Ему снилась Зинаида. Она смотрела на него глазами старшего лейтенанта медицинской службы Игнатьевой. Воронцов проснулся в холодном поту, и первой мыслью его было пойти проверить посты. Но он вспомнил, что спит не в траншее и даже не в землянке. И уснул опять.

Утром их разыскал посыльный из штаба полка.

– Вы командир Восьмой роты третьего батальона?

– Да, – продирая глаза, кивнул Воронцов, уже по глазам и выражению лица сержанта связи догадываясь о том, что он сейчас скажет.

– Старший лейтенант Воронцов?

- Да.
  - Вас срочно в штаб полка.
- Все начиналось сначала.

11.02.10.  
г. Таруса.

---

---

<b>notes</b>
--------------

**1**

Звание фенрих, существовавшее в вермахте, в РККА аналога не имело. Среднее между старшим сержантом и старшиной.

**Manner** (*мужики*) . – Обращение, принятое на фронте у солдат вермахта.

Здесь и далее цитируются стихи Н. С. Гумилева.



Прятки (фр.) .

Карл-Теодор Палатинат – правитель Баварии и Палатината. Родился в Дрогенсбосе близ Брюсселя. В 1742 г. унаследовал электоральный Палатинат, затем Баварию. Основал Академию наук, увеличил музейные коллекции, покровительствовал искусствам. Значительно улучшил архитектуру Мюнхена. Начал перестройку старых фортификационных сооружений столицы Баварии. Воевал с вторгнувшимися в пределы Палатината и Баварии французскими республиканскими войсками. Умер в 1799 г. и похоронен в склепе Театинской церкви в Мюнхене.

«Кухонными буйволами» в вермахте называли поваров полевых кухонь.